

ЛАСЛО КРАСНАХОРКАИ

МЕЛАН

ХОЛМИЯ

СО

ПРОТИВ

ЛЕНИЯ

РОМАН

CoRpus

ОТ ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНОГО БУКЕРА —  
РОМАН, ПОСЛУЖИВШИЙ ОСНОВОЙ ЗНАМЕНИТОГО  
ФИЛЬМА БЕЛЫ ТАРРА “ГАРМОНИИ ВЕРКМЕЙСТЕРА”

18+



[t.me/marketologmanager](https://t.me/marketologmanager)

**Ласло Краснахоркаи**

**Меланхолия сопротивления**

Переводчик книги благодарит фонд «Венгерский дом переводчиков»  
за оказанную поддержку

© László Krasznahorkai, 1989

© В. Середа, перевод на русский язык, 2020

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Издательство CORPUS®

\* \* \*

Течет, но не меняется.

# Чрезвычайная ситуация

## *Завязка*

Поскольку поезд, соединявший между собой продрогшие поселения Южного Алфельда от Тисы и почти до Карпат, так и не прибыл, несмотря на путаные объяснения беспомощно околачивающегося у путей железнодорожника и все более твердые обещания начальника станции, время от времени взмыленно выбегающего на перрон («Опять он куда-то запропастился...» – со злорадной ухмылкой отмахивался путеец), то вместо него был подан состав из двух дряхлых, годящихся только для так называемых экстренных случаев жестких вагонов и дохлого престарелого паровозика 424-й серии, который пускай и на полтора часа позже, чем то предписывал не особенно соблюдавшийся, а на этот импровизированный состав и вовсе не распространявшийся график, но все же отправился, дабы местные жители, принимавшие пропажу тщетно ожидаемого с запада поезда с явным равнодушием и боязливой покорностью, могли все же добраться до своей цели, что находилась километрах в пятидесяти отсюда, в самом конце боковой ветки. Подобные вещи уже не особенно удивляли людей, потому что сложившаяся ситуация, разумеется, сказывалась на транспортном сообщении точно так же, как и на всем остальном: под вопросом оказался привычный порядок вещей, автоматизм самых обыкновенных действий нарушился под влиянием неостановимого и всепоглощающего хаоса, будущее стало казаться страшным, прошлое – неисповедимым, а ход повседневной жизни – настолько непредсказуемым, что люди смирились с тем, что произойти может все что угодно, что завтра, к примеру, перестанут открываться двери, а пшеница начнет расти вглубь земли, ибо пока что были заметны только симптомы убийственного распада, причина же оставалась непостижимой и недоступной, так что нельзя было и придумать ничего другого, кроме как безоглядно бросаться на то, что еще можно захватить, как люди и сделали в данном случае на деревенской железнодорожной платформе, бросившись на штурм

тяжело открывавшихся от мороза дверей в надежде занять по праву им причитающиеся, но количественно ограниченные места. В этой бессмысленной битве (ибо в конце концов мест хватило на всех) пришлось поучаствовать и возвращавшейся из обычной зимней поездки к родне госпоже Пфлаум, которая, после того как ей наконец удалось, растолкав стоявших у нее на пути людей и с неожиданной для ее хрупкой комплекции силой сдержав напиравших сзади, занять место у окна, хотя и против движения поезда, еще долго не могла отличить негодование, вызванное неимоверной давкой, от того колеблющегося между яростью и тревогой чувства, что со своим, бесполезным теперь, билетом в вагон первого класса ей придется дышать вонью чесночной колбасы, сивушной палинки и дешевого едкого табака в угрожающем окружении орущих, отрыгивающих «простых крестьян», мучаясь при этом единственным кардинальным вопросом, возникающим в подобных, по нынешним временам и вообще-то рискованных, путешествиях, а именно: удастся ли ей добраться до дома? Ее старшие сестры, жившие в полной изоляции и в силу возраста тяжелые на подъем, никогда не простили бы ей, не навести она их, как обычно, в начале зимы, так что на это опасное предприятие она решилась исключительно из-за них, хотя, как и все, понимала, что вокруг нее что-то радикально переменялось и что самым мудрым в таких обстоятельствах было бы не подвергать себя никакому риску. Однако мудро вести себя и трезво судить о том, что может произойти, было отнюдь не просто, ибо казалось, будто в самом составе воздуха, вечном и неизменном, внезапно произошел какой-то фундаментальный, однако не обнаруживаемый сдвиг, а работавший до сих пор с непостижимой безукоризненностью анонимный принцип, который, как принято говорить, движет миром и единственным наблюдаемым проявлением которого как раз и является этот мир, вдруг как бы начал утрачивать силу, и именно из-за этого даже мучительное сознание несомненной опасности было не столь ужасным, как всеобщее предчувствие того, что в ближайшее время может произойти что угодно, и именно это «что угодно», это ощущение ослабления невидимого закона тревожило людей все больше и гораздо сильнее каких бы то ни было личных несчастий, лишая их возможности хладнокровно оценивать факты. Разобраться во все более устрашающих и в последние месяцы все более частых чрезвычайных

событиях было невозможно не только потому, что новости, слухи, сплетни и личные впечатления никак не вязались друг с другом (к примеру сказать, очень трудно было установить какую-то рациональную связь между необычно рано, с наступлением ноября, ударившими морозами, загадочными семейными трагедиями, следующими одна за другой железнодорожными авариями и доходящими из далекой столицы тревожными слухами о множасьих детских бандах и осквернениях памятников), но также и потому, что сама по себе ни одна из таких новостей уже ничего не значила, ибо казалось, что все это просто предвестия того, что все большее число людей называло «надвигающейся катастрофой». Госпожа Пфлаум даже слышала, что в народе заговорили о необычных изменениях в поведении животных, и хотя вытекающие отсюда предположения о дальнейшем ходе событий можно было пока что отбросить как безответственные страшилки, было ясно, что в отличие от тех, кому этот кромешный хаос был, по убеждению госпожи Пфлаум, только на руку, люди порядочные не осмелятся и нос высунуть на улицу, ведь там, где «ни с того ни с сего!» пропадают вдруг поезда, продолжала она свои размышления, «не будут считаться ни с чем». Так что она приготовилась к тому, что в сравнении с путешествием туда, совершенным под некоторой защитой билета в вагон первого класса, путь домой будет вовсе не столь комфортным, ведь на этой «кошмарной развалине», думала она нервно, может произойти даже самое страшное, и поэтому госпожа Пфлаум – которая больше всего хотела бы стать сейчас невидимкой – сидела в мало-помалу утихавшем гвалте, вызванном борьбой за места, с выпрямленной спиной, подевчоночьи сдвинув колени, с холодным и несколько даже презрительным выражением лица, и пока она напряженно разглядывала в оконном стекле размытые отражения зловещих лиц, ее чувства металась между отчаянием и тоской, ибо она то думала о пугающем расстоянии, еще отделявшем ее от оставленного дома, то вспоминала его уют: милые чаепития в обществе госпожи Мадаи и госпожи Нусбек, их былые прогулки по воскресеньям под развесистыми деревьями Монастырской аллеи и, наконец, этот светлый благословенный порядок в доме с его мягкими ковриками и изящной мебелью, ухоженными цветами и славными безделушками, порядок, который, как она понимала, был островком в океане

непредсказуемости, когда те чаепития и прогулки остались только в воспоминаниях и единственным прибежищем и спасением для таких вот женщин, расположенных проводить свои дни в мире и спокойствии, был их дом. С недоумением и даже с некоторым презрением, смешанным с завистью, наблюдала она за тем, как шумные попутчики – с виду неотесанные обитатели окрестных хуторов и сел – быстро приспособивались даже к таким стесненным обстоятельствам: вокруг нее, так, словно ничего особенного не случилось, зашуршали промасленные свертки с провизией, зачпокали пробки и посыпались на замызганный пол пивные крышки, и из разных концов послышалось «оскорбляющее любого, кто обладает чувством прекрасного», но, как она полагала, «совершенно обычное среди простых людей» чавканье; наискосок от нее четверо самых шумных уже затеяли карточную игру, и только она в этом все нарастающем человеческом гуле сидела на подстеленной под шубу газете по-прежнему напряженная, молчаливая, решительно отвернувшись к окну и так обреченно, с упрямой недоверчивостью прижимала к груди ридикюль с фермуарной застежкой, что не сразу заметила, как паровоз впереди состава, прорезав двумя красными лучами мрак морозного зимнего вечера, неуверенно тронулся с места. Но радостный гул, в котором она, хотя тоже вздохнула, не принимала участия, и последовавший взрыв всеобщего оживления оттого, что после долгого ожидания на морозе с ними что-то наконец происходит, продолжались недолго, потому что состав, отъехав от погрузившейся в тишину деревенской платформы не больше ста метров, несколько раз неуклюже дернулся и, как будто внезапно кто-то отменил приказ о его отправлении, снова остановился; раздавшиеся при этом вопли разочарования вскоре сменились озадаченно-раздраженным смехом, а когда они поняли, что теперь так и будет, что придется смириться с тем, что их путешествие – по всей видимости, в результате хаоса, вызванного их же, отправленным вне всякого расписания поездом, – будет тоскливой чередой постоянных рывков и остановок, то впали в какую-то радостную бесчувственность, в то тягостное опьянение вынужденного безразличия, когда в попытках освободиться от страха перед реальными потрясениями человек объясняет неконтролируемую анархию происходящего чьими-то оплошностями, на раздражающее повторение которых можно отвечать только пошлым глумлением.

Несмотря на то что похабный тон непрекращающихся шуточек («Вот бы я в таком темпе супружницу ублажал!..»), разумеется, возмущал ее тонкие чувства, поток этих лихих, одна отборней другой, скабрзностей, постепенно, впрочем, мельчавший, в какой-то мере раскрепощающе действовал и на госпожу Пфлаум, которая иногда, услышав особенно меткое замечание – неизменно сопровождаемое взрывами хохота, тоже по-своему заразительного, – и сама не могла полностью подавить застенчивую улыбку. Осторожно, украдкой она временами отваживалась теперь даже бросать молниеносные взгляды, правда, не на ближайших соседей, а на сидевших поодаль, и в этой нервной атмосфере шутовского веселья – когда мужчины, хлопающие себя по ляжкам, и неопределенного возраста бабы, смеющиеся во весь рот, хотя по-прежнему и пугали, но уже не казались такими страшными, как поначалу, – она пыталась унять растревоженное воображение и убедить себя в том, что не следует ей придавать значения скрытым угрозам, исходившим, как ей казалось, от этой злобной оравы отвратительных монстров, и что если она в своей ледяной бесприютности поддастся недобрым предчувствиям, то домой доберется – коль вообще доберется – совершенно измученной этим состоянием неустанной бдительности. По правде сказать, такие надежды на счастливый исход не имели под собой решительно никаких оснований, но госпожа Пфлаум уже не могла устоять перед ложными соблазнами оптимизма: хотя поезд в ожидании сигнала к отправлению опять уже долгое время стоял в чистом поле, она успокаивала себя, мол, «все-таки продвигаемся помаленьку», а еще нервное нетерпение, вызываемое все более частым скрежетом тормозов и последующими бессмысленными стоянками, ослаблялось тем, что в приятном тепле от включенного, по-видимому, еще перед отправлением отопления она наконец-то смогла выпростаться из шубы и уже не боялась, что непременно простудится по прибытии, выйдя на пронизывающий ледяной ветер. Поправив за спиной складки шубы, она опустила себе на колени искусственного меха горжетку, после чего обхватила руками раздувшийся от втиснутого в него шерстяного шарфа ридикюль и, сохраняя прямую осанку, снова глянула на окно – и тут, в зеркале грязного стекла, вдруг обнаружила, что сидящий напротив нее «необычно молчаливый», потягивающий вонючую палинку небритый мужчина («Вожделенно!!») пялится на ее – теперь,

под прикрытием только блузки и легкого жакета, возможно, слишком заметную – крепкую грудь. «Так и знала!» – стремительно отвернулась она и, хотя всю ее охватил жар, сделала вид, будто ничего не заметила. В течение долгих минут она неподвижно сидела, уставившись в законную темноту, а затем, когда ей не удалось на основе секундного впечатления вспомнить внешность мужчины (память сохранила только небритое лицо, «какое-то грязное» драповое пальто и тот неприятный и откровенно бесстыжий взгляд, который еще потрясет ее...), она очень медленно – полагая, что уже ничем не рискует – отвела взгляд от стекла, но почти тут же отдернула голову, потому что не просто заметила, что «этот тип» продолжает «свое непотребство», но и встретилась с ним глазами. От скованной позы ее плечи, шея, затылок одеревенели, но теперь она даже при желании не смогла бы смотреть куда-то в другое место, ибо чувствовала, что, куда бы ни повернулась, ею «тотчас же овладел бы» этот жуткий немигающий взгляд, который, за исключением ограниченного темного пятна окна, беспрепятственно властвовал во всех уголках вагона. «Как давно он глазеет?» – резанул госпожу Пфлаум вопрос, и от мысли, что гнусно ощупывающее ее мужское внимание, возможно, «преследовало ее» с того времени, когда поезд еще только отошел от станции, его взгляд, понятый ею в первое же мгновение, показался еще более ужасающим. В этой паре глаз, в их «липучей похоти», видна была некая пресыщенность, «даже хуже того, – содрогнулась она, – они как бы пылают холодным презрением!» Хотя госпожа Пфлаум «вообще-то» не считала себя старухой, она все же понимала, что была уже не в том возрасте, когда такое – вульгарное, прямо скажем – внимание к ней могло считаться естественным, и потому наряду с отвращением к этому мужчине (ибо как еще можно отнестись к человеку, питающему страсть к пожилым дамам?) ее охватил испуг: а вдруг этот провонявший сивухой мерзавец только к тому и стремится, чтобы унижить ее, осмеять, опозорить и затем отшвырнуть «как тряпку». Тут поезд, раз-другой резко дернувшись, припустил быстрее, колеса яростно застучали по рельсам, и ею овладело давно забытое, смутное чувство стыда, вспыхнувшее оттого, что ее полные тяжелые груди... жгуче заныли... под все еще устремленным на нее наглым бесцеремонным взглядом. Ее руки, которыми можно было бы по крайней мере прикрыть их, отказывались подчиняться: словно связанная, не имеющая возможности что-то

сделать со своей наготой, она чувствовала себя все более беззащитной, все более обнаженной и в бессилии понимала, что чем больше она стремилась... скрыть... свои женские прелести, тем сильнее они бросались в глаза. Тут картежники с громкими воплями завершили очередную партию, и в этом взрыве эмоций, нарушившем парализующую монотонность враждебного гула – и словно бы давшем толчок к раскрепощению ее скованной воли, – госпоже Пфлаум наверняка удалось бы преодолеть несчастное оцепенение, не случись в это время нечто еще более неприятное, будто нарочно, в отчаянии подумала госпожа Пфлаум, чтобы увенчать ее муки. Дело в том, что, когда она в инстинктивном смущении – как бы невольно сопротивляясь – осторожно нагнула голову, чтобы как-то прикрыть свои груди, и спина ее сгорбилась, а плечи подались вперед, то, к ее ужасу, по-видимому, из-за необычной позы, у нее на спине расстегнулся бюстгальтер. Ошеломленная, она подняла лицо и, кажется, даже не удивилась, заметив, что ее визави все так же пристально пялится на нее; в этот момент мужчина – будто зная, какой с ней случился конфуз – заговорщицки подмигнул ей. Госпожа Пфлаум догадывалась, что может дальше произойти, но это, можно сказать, роковое бедствие настолько смутило ее, что она не могла шелохнуться и под беспорядочный грохот все ускоряющегося состава вынуждена была, так же беспомощно, с пылающим от стыда лицом, терпеливо сносить взгляд злорадных и вместе с тем высокомерно самоуверенных глаз, прикованных к ее грудям, освободившимся из плена бюстгальтера и весело подпрыгивающим в такт сотрясающемуся вагону. Она не осмелилась снова поднять глаза, но и без этого знала: сейчас за ее мучениями наблюдает уже не только этот попутчик, но и все «отвратительное мужичье»; она так и видела, как к ней поворачиваются уродливые, алчно ухмыляющиеся рожи... и эта унижительная пытка, наверное, продолжалась бы без конца, если бы в их вагон, вынырнув из хвостового, не вошел прыщавый, с мальчишеским лицом молодой кондуктор; его звонкий ломающийся голос («Приготовьте билетки!») наконец-то освободил ее из капкана неловкости, она выхватила из ридикюля билет и сложила руки под грудью. Поезд снова остановился, на этот раз где положено, и когда она – чтобы не приходилось разглядывать и правда пугающие лица попутчиков – машинально прочитала над слабо освещенной

платформой название деревни, то едва не вскрикнула облегченно, ибо из хорошо ей известного расписания, которое перед каждой поездкой она, тем не менее, тщательно изучала, госпожа Пфлаум знала, что через несколько минут они доберутся до областного центра, где она («Неприменно сойдет! Сойдет!» – уверяла она себя) наверняка сможет освободиться от своего преследователя. С судорожным волнением наблюдала она за кондуктором, приближавшимся слишком медленно из-за града насмешливых вопросов относительно опоздания, и хотя она собиралась сразу, едва он дойдет до нее, попросить о помощи, вид мальчишки, напуганного галдевшими вокруг него крестьянами, настолько не соответствовал образу официального лица, от которого можно ждать защиты, что, когда он остановился рядом, госпожа Пфлаум в замешательстве смогла лишь спросить, где находится туалет. «Как где? – нервно откликнулся юноша и прокомпостировал ее билет. – Где обычно. Один в начале, другой в конце вагона». – «Да, конечно!» – с виноватым жестом пробормотала она, тут же вскочила и, прижимая к себе ридикюль, швыряемая из стороны в сторону, так как поезд в эту минуту тронулся, направилась по проходу в конец вагона, и к тому времени, когда спохватилась, что оставила свою шубу на крючке у окна, она, тяжело дыша, стояла уже в загаженном туалете, привалившись спиной к запертой изнутри двери. Она знала, что действовать нужно быстро, и все же ей понадобилось не меньше минуты, чтобы отбросить мысль о необходимости кинуться назад (спасать дорогую шубу!) и собраться с силами: с трудом удерживаясь на ногах в непрестанно болтавшемся поезде, она быстро сняла жакет, вынырнула из блузки и, зажав между колен ридикюль, блузку и жакет, задрала до шеи розовую комбинацию. Дрожащими в нервной спешке руками она спустила бретельки, перевернула бюстгальтер и, увидев, что застежка («слава богу!») цела, облегченно вздохнула; застегнув на себе бюстгальтер, она принялась впопыхах одеваться, когда у нее за спиной, снаружи, кто-то осторожно, однако достаточно громко постучал в дверь. Было в этом стуке нечто, некий оттенок бесцеремонности, что понятным образом – в особенности в свете всего, что она только что пережила – напугало ее, но затем, подумав, что страх этот все же не более чем плод разыгравшейся фантазии, она попросту возмутилась тем, что кто-то ее торопит; а потому, продолжая прерванное движение, бросила беглый взгляд в замызганное зеркало и

уже потянулась было к ручке двери, собираясь выйти, когда нетерпеливый стук повторился и немного спустя чей-то голос сказал: «Это я». Она в страхе отдернула руку, и в момент, когда до нее дошло, кто это мог быть, даже сильнее, чем ощущение безвыходности, ее поразило отчаянное недоумение: в сдавленно-хриплом мужском голосе не ощущалось и тени агрессии, злости, насилия, в нем скорее слышалось скучающее понукание, мол, давай уже, открывай. В течение нескольких мгновений оба молчали, будто каждый ожидал объяснений от другого, и госпожа Пфлаум только тогда поняла, жертвой какого чудовищного недоразумения она стала, когда преследователь, потеряв терпение, раздраженно ударил по ручке и прокричал: «Ну так как?! Динамо крутить – умеем, а как насчет перепиха?!» Она в ужасе уставилась на дверь. Ошарашенная несправедливым обвинением и неприкрытым похабством, она не сразу сообразила... как это невероятно... ведь она... на самом-то деле... все время сопротивлялась, а этот небритый тип с самого начала думал, что она с ним флиртует... все случившееся постепенно дошло до нее: и сброшенную с плеч шубу... и конфуз с бюстгальтером... и расспросы насчет туалета... этот «развратный монстр» понимал как предложение с ее стороны, как свидетельство ее однозначной готовности, иными словами, как постыдную череду дешевых приемов соблазнения, и теперь ей пришлось столкнуться не только с возмутительным посягательством на ее честь и порядочность, но и с тем, что этот ничтожный, провонявший сивухой подонок обращался с ней, как с какой-нибудь «уличной девкой». Чувство уязвленности, охватившее ее, оказалось даже болезненнее, чем незащитность, и поэтому, а еще потому, что была больше не в состоянии оставаться в этой западне, она, решительно изогнувшись, срывающимся от волнения голосом закричала: «Убирайтесь! Или я позову на помощь!» На что мужчина после непродолжительного молчания ударил кулаком в дверь и с ледяным презрением, таким, что у госпожи Пфлаум по спине побежали мурашки, прошипел: «Старая шлюха, ты свою бабушку так развлекай! Не хочется руки марать, а то взломал бы сортир и утопил бы тебя в унитазе!» За окном туалета замелькали окраинные огни областного центра, колеса поезда застучали на стрелках, и, чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться за ручку двери. Она слышала удаляющиеся шаги, грохот двери, ведущей из тамбура

внутри вагона, и поскольку стало понятно, что мужчина с тем же ледяным безразличием, с каким он атаковал ее, теперь окончательно удалился, она, все еще дрожа от волнения, разразилась слезами. И хотя в действительности минули лишь мгновения, ей показалось, будто прошла целая вечность до того, как она, по-прежнему сотрясаемая истерическими рыданиями, вдруг увидела себя с высоты, увидела в окне крохотного, словно спичечный коробок, вагона, застывшего в густой темноте под громадным шатром беспросветного неба, свое маленькое лицо: сокрушенное, потерянное и несчастное. Ибо, хотя из похабных, странных, с остервенением сказанных слов ей было совершенно ясно, что нового унижения можно не опасаться, мысль о том, что она спаслась, наполняла ее такой же тревогой, как и само нападение, ведь она не имела ни малейшего представления, почему – несмотря на то что до этого все ее действия и намерения оборачивались против нее – на сей раз она неожиданно обрела свободу. Не могла же она поверить, что преследователя обратил в бегство ее отчаянный, дрожащий от страха голос, ведь с начала и до конца она чувствовала себя жалкой жертвой неумолимой воли этого человека, больше того – простодушной, ничего не подозревающей жертвой враждебного мира, от ледящей стужи которого, подумалось ей, возможно, и нет никакой защиты. Как убитая, с таким чувством, будто она все же была опозорена этим небритым типом, стояла она, швыряемая из стороны в сторону, в провонявшем мочой туалете, и из бесформенно клубящегося в душе необъяснимого страха, из неясности, как отгородиться от этой всеобщей угрозы, рождалась только невыносимая горечь: как же так, как это несправедливо, что именно она, «всю жизнь желавшая только мира и не обидевшая даже мухи», станет в этой истории не молчаливым свидетелем, а безвинной жертвой; но вместе с тем она была вынуждена признать, что все это уже не имеет решительно никакого значения: апеллировать не к кому, протестовать бесполезно и едва ли можно надеяться, что есть способ остановить разгулявшуюся стихию. После всех пересудов и ужасающих слухов ей пришлось убедиться на собственном опыте, что и правда «все идет к одному», и она понимала, что закончилось – если закончилось – только это конкретное происшествие с нею, но «в мире, где происходят такие вещи», обуздать безумное разложение невозможно. За дверью послышался беспокойный гомон готовящихся

к выходу пассажиров, и действительно, поезд стал сбавлять скорость; содрогнувшись от мысли, что оставила без присмотра шубу, она распахнула дверь и, очутившись в толпе пассажиров (которые, не считаясь с тем, что толкаться при выходе не имело смысла, давились в тамбуре так же остервенело, как и при входе), спотыкаясь о чемоданы и сумки, стала пробиваться к своему месту. Шуба висела там же, где и была, но пристежной воротник из искусственного меха она нашла не сразу, и пока размышляла, не брала ли его с собой в туалет, пока лихорадочно искала его поблизости, обратила внимание, что в возбужденной толпе не видно ее обидчика: наверняка он покинет вагон в числе первых, подумала она успокоенно. Поезд остановился, но вагон, после выхода пассажиров сделавшийся просторней, тут же заполнился новой, еще более многочисленной, причем молчаливой и от этого еще более пугающей оравой, и мало того, что мрачный вид этой орды подсказывал, что на оставшихся двадцати километрах пути для беспокойства у нее будут все основания, так еще в довершение ко всему ей пришлось горько разочароваться и в надеждах на избавление от небритого типа. Дело в том, что когда, надев шубу и накинув на плечи горжетку, выуженную в конце концов из-под деревянной скамьи, она двинулась по проходу, чтобы перейти в другой, как думалось ей, более безопасный, вагон, то не поверила своим глазам: впереди на спинку одного из сидений было небрежно наброшено («Как будто он его для меня здесь оставил...») знакомое драповое пальто. Она застыла на месте, затем быстро проследовала вперед, до конца вагона и, перейдя в другой, где ей пришлось проталкиваться через такую же молчаливую толпу, нашла, опять в середине вагона, свободное место против движения поезда и сокрушенно села. Довольно долго, готовая вот-вот вскочить, она не сводила глаз с двери, хотя уже и сама не знала, кого она так боится и откуда на этот раз ей угрожает опасность, а затем, видя, что ничего не происходит (поезд по-прежнему стоял без движения), попыталась собраться с остатками сил, чтобы возможное продолжение кошмарного приключения не застало ее врасплох. На нее навалилась усталость, в сапогах с лечебными стельками горели ноги, а ноющие плечи, казалось, вот-вот отвалятся, однако спокойно вздохнуть, хотя бы немного расслабиться она все еще не могла – только слегка, сделав несколько круговых движений, размяла одеревеневшие мышцы шеи и, склонившись над пудреницей,

машинальными жестами привела в порядок заплаканное лицо. «Все прошло, теперь уж бояться нечего», – говорила она себе, вместе с тем сознавая: ей не то что надеяться не на что – даже на спинку скамьи поудобней откинуться невозможно, не рискуя подвергнуть себя чему-то непредсказуемому. Ибо этот вагон, как и первый, в основном, кроме нескольких пассажиров, продолживших путешествие, оккупировала та «неприятного вида орда», которая так напугала ее, когда она двинулась сюда со старого места, так что если она и могла на что-то надеяться, то разве на то, что ее как-нибудь защитят те три места вокруг нее – во всем вагоне последние, – которые еще оставались свободными. Достаточно долго шанс такой сохранялся, ибо примерно с минуту (в течение которой дважды гудел паровоз) новые пассажиры в вагон не входили, однако внезапно во главе последней волны пассажиров, отдуваясь и громко пыхтя, с огромным узлом, с корзиной и несколькими набитыми до отказа пакетами, в дверях появилась закутанная в шаль толстая баба и, покрутив головой («Ну чистая курица...» – заметила про себя госпожа Пфлаум), решительно двинулась в ее сторону, чтобы тут же, кряхтя и крякая, агрессивно, с видом, не терпящим никаких возражений, воцариться сразу на трех свободных сиденьях, бесцельными своими пожитками как бы отгородив себя, а заодно и госпожу Пфлаум, от напиравшей сзади презренной публики. Разумеется, госпоже Пфлаум и в голову не пришло возмущаться; подавив в себе ярость, она решила, что, может, оно и лучше, что свободная зона вокруг нее не досталась по крайней мере молчаливой ораве новоприбывших, однако чувством этим она утешалась недолго, так как ее отвратительная попутчица (вопреки единственному желанию госпожи Пфлаум, чтобы ее оставили в покое), ослабив под подбородком шаль, тут же затеяла разговор. «Хорошо хоть топят? А?» Услышав ее каркающий голос, увидав в треугольном обрамлении шали пару колючих злых глаз, она сразу решила, что если уж невозможно прогнать или бросить здесь эту попутчицу, то лучше всего просто не обращать на нее внимания, и, отвернувшись, стала демонстративно смотреть в окно. Но баба, презрительно зыркнув вокруг себя, ничуть не смутилась. «Я думаю, вы не возражаете, что я с вами заговорила? За разговором-то время быстрее пролетит, али нет? Далече путь держите? Сама-то я до конечной. К сыну». Госпожа Пфлаум неохотно глянула на нее, но потом, рассудив, что чем дальше

она будет игнорировать эту женщину, тем хуже будет для нее самой, кивнула словно бы в знак согласия. «Потому как, – оживилась тут баба, – у моего внучонка-то день рождения, вот и еду. Он мне еще на Пасху сказал, касатик-то мой. Ты, говорит, приедешь, мамка? Это он так меня зовет: мамка. Вот я и еду». Госпожа Пфлаум натянуто улыбнулась, но тут же и пожалела об этом, потому что соседку буквально прорвало, и рот ее больше не закрывался. «А ведь кабы он знал, касатик-то, что бабке в такие-то годы ох тяжело как!.. Простоять день-деньской на ногах, вот на этих, больных, варикозных, на рынке, диво ли, что устанешь к вечеру?.. Потому как торгую я, понимаете? Огородик имеется, ну а пенсия курам на смех, разве хватит ее? Уж не знаю, откуда у остальных-то все эти мирсидесы, богатства всякие! Но я вам скажу, если вам интересно. Оттуда, что жульничают да воруют! Мир кривой стал, неправильный, и Бог от него отмахнулся! А тут еще эта погода! Кошмар! Ну скажите, к чему это приведет? Да что же это творится? По радио говорят – будто семнадцать градусов. В смысле ниже нуля! А еще ведь конец ноября только. Хотите знать, чем все это кончится? Я вам скажу. Перемерзнем все до весны! Как пить дать. Потому что угля-то нету. Интересно, чем занимаются эти лодыри, все эти горняки-шахтеры. Вы не знаете? Вот и я не знаю!» От этого словоизвержения у госпожи Пфлаум уже раскалывалась голова, но как бы ни было тяжело ей все это выдерживать, ни прервать, ни заставить женщину замолчать она не могла, а потому, поняв, что та и не ожидает, чтобы к ней прислушивались, удовлетворяясь редкими кивками, она подолгу разглядывала медленно проплывавшие за окном огни, пытаясь привести в порядок растревоженные мысли; поезд уже отошел от областного вокзала, но вытеснить из сознания того человека так и не получалось, забытое на сиденье драповое пальто беспокоило ее даже больше, чем пугающая толпа зловеще молчавших, уставившихся куда-то перед собой людей. «Что-то спугнуло его? – размышляла она. – Захмелел? Или это умышленно?..» Чтобы не мучиться больше догадками, она решила рискнуть и проверить, там ли еще пальто, и, не обращая внимания на соседку, двинулась, распихивая стоявших в проходе, в конец вагона, перебралась по железному мостику межвагонного перехода и с величайшей осторожностью заглянула в щель слегка приоткрытой двери. Предчувствие, побудившее ее прояснить неожиданное исчезновение небритого человека, не

обмануло ее: к величайшему ее ужасу, этот тип, спиной к ней, сидел в битком набитом вагоне, сидел там, где до этого она видела его пальто, и, запрокинув голову, лакал из горлышка палинку. Чтобы он или кто-либо из немых попутчиков не заметил ее (ибо тогда сам Господь не смоеет с нее обвинения, что она и до этого сама нарывалась на неприятности), госпожа Пфлаум затаив дыхание вернулась в задний вагон, где с изумлением обнаружила, что, пока ее не было, какой-то мужик в бараньей шапке нахально устроился на ее месте и поэтому ей, единственной даме, придется теперь продолжать поездку стоя в проходе; а еще ей в этот момент подумалось: как же глупо было с ее стороны только из-за того, что этот тип в драповом пальто на минуту исчез из виду, тешить себя иллюзией, что она наконец от него избавилась. Вышел ли он в туалет или выскочил на платформу («Без пальто?!») за новой бутылкой вонючего пойла, теперь это большого значения не имело; не было у нее опасений и в том отношении, что он может что-нибудь учинить с ней здесь, потому что сама по себе толпа – если только не обернется против нее («Мало ли, вдруг на шубу мою позарятся, на горжетку или на ридикюль!..») – и необходимость проталкиваться через набитый вагон гарантировали ей некоторую защиту; вместе с тем разочарование подсказывало госпоже Пфлаум, что теперь ей следует приготовиться к самому страшному, что только можно представить, к тому, что в результате какого-то жуткого невезения («...неизбежного и непостижимого рока?») ей вообще не удастся освободиться от этого человека. И это было сколь невероятно, столь и чудовищно, ибо теперь, когда непосредственная угроза уже миновала, она, мысленно возвращаясь к случившемуся, сознавала, что самым страшным было не то, что он хотел ее изнасиловать (хотя ведь «об этом даже подумать страшно!..»), а то, что он производил впечатление человека, «не знающего ни бога, ни дьявола», который не испугается ничего, даже адского пламени, и который, если понадобится, («без колебаний!») пойдет на все. Она снова увидела перед собой эту пару ледяных глаз, это грубое, заросшее щетиной лицо, увидела его зловещее подмигивание, услышала невыразительный насмешливый голос, произносящий: «Это я», – и отчетливо поняла, что столкнулась не с заурядным сексуальным маньяком, нет, она только что избежала столкновения с непонятной злобой, готовой крушить все вокруг, способной только ломать то, что

цело, потому что сами понятия мира, порядка, будущего для таких негодяев невыносимы. «Вы, милочка, – услышала она каркающий голос торговки, которая направила нескончаемый поток своей болтовни на новоиспеченного соседа, – не шибко здоровы, как я погляжу. А меня вот пока что Бог миловал. Ну, возраст, оно конечно, и все, что к нему прилагается. Да зубы опять же. Вон, видите, – наклонившись к соседу в бараньей шапке, разинула она рот и указательным пальцем оттянула потрескавшуюся губу, – все зубы времечко съело. Но я им не дам во рту у меня колупаться! Знаю я этих докторов! Уж дошамкаю как-нибудь до могилы, верно я говорю? Нет, на мне они наживаться не будут, чтоб им сдохнуть всем, паразитам! Вы представляете, – вытащила она из полиэтиленового пакета игрушечного пластмассового солдатика, – сколько с меня за эту вот ерунду содрали? Вы не поверите – тридцать один форинт! За ерунду! Что в ней есть-то? Ну винтовка, ну красная звездочка. И хватило наглости тридцать один форинт слупить! Ну так ведь нынче, – убрала она игрушку в пакет, – детям только такая дрянь и нужна. Ну что я могла поделать? Пришлось взять. Со скрипом зубовным. Куда деваться?» Госпожа Пфлаум с отвращением отвернулась и посмотрела в окно, но потом, в момент, когда раздался глухой удар, ее взгляд метнулся назад, и тогда она уже не могла ни пошевелиться, ни отвести глаза. Она не знала, ударили ли торговку чем-то или голым кулаком, как не могла в наступившей тишине понять, за что, собственно, ударили. Ее быстрый произвольный взгляд успел только ухватить, как торговка отшатывается назад... голова ее валится набок... тело, словно бы подпираемое со всех сторон баулами, сохраняет свое положение, а подавшийся вперед крестьянин в бараньей шапке («Этот захватчик...») с невозмутимым лицом не спеша откидывается на сиденье. Даже когда у людей на глазах раздавливают назойливую муху, это обычно вызывает некоторый ропот, а здесь, после того что случилось, никто не проронил ни звука, никто ничего не сказал, все продолжали стоять или сидеть безразлично и неподвижно. «Это что, молчаливое одобрение? Или мне это померещилось?» – уставилась перед собой госпожа Пфлаум, но тут же отбросила мысль о галлюцинации, потому что все виденное и слышанное говорило только о том, что этот человек в самом деле ударил женщину. Ему просто надоела ее болтовня, и без дальних слов он хряснул ее по лицу, именно так это было, стучало у

нее в мозгу, вне всяких сомнений, но вместе с тем случившееся было столь ужасно, что она замерла как мертвая, обливаясь холодным потом. Эта женщина потеряла сознание, думала она, а мужик в папахе даже не шелохнется, точно так же, как все остальные здесь, боже праведный, куда я попала, что за изверги меня окружают? Окаменев от беспомощности, она видела только окно и свое отражение в грязном стекле, а затем, когда поезд, по какой-то причине надолго остановившийся, снова тронулся, измученная мельтешением смутных видений, с гудящей головой стала наблюдать за проплывающим за окном пустынным пейзажем и тяжелым массивом темного неба, едва отличимым от земли даже при свете полной луны. Однако ничто, ни земля, ни небо, не говорили ей ни о чем, и очнулась она лишь тогда, когда поезд уже почти прибыл, когда он пересек ведущее в город шоссе с даже не опущенным на переезде шлагбаумом; выйдя в тамбур, она встала у двери и, козырьком приложив к глазам руку, разглядела мрачного вида коровники местного хозяйства с нависшей над ними тяжелой водонапорной башней. С самого ее детства эта картина – шлагбаум на переезде и длинные плоские здания, окутанные идущими от скота теплыми испарениями – первой возвещала о том, что она благополучно прибыла домой, однако теперь, хотя повод был особенно веский, ведь ей удалось избежать небывалой беды, она даже не вспомнила, как, бывало, жарко билось ее сердце всякий раз, когда она ехала домой после визита к родне или когда – дважды в год – вместе с членами распавшейся с тех пор семьи возвращалась из областного центра после спектакля обожаемой ею оперетты, ибо если в прежние времена город с его дружественным теплом служил как бы естественным бастионом, охраняющим ее дом, то в последние два-три месяца, в особенности же сейчас, когда ее оглушило кошмарное откровение, что мир полон небритых типов в драповых пальто, от бывшего интимного города не осталось ничего, кроме холодного лабиринта пустынных улиц, где даже окна, как и люди за ними, слепо смотрят перед собой, а гнетущую тишину нарушает лишь злобный лай перебрехивающихся собак. Она наблюдала за приближающимися огнями, и когда состав уже миновал машинный двор пригородного хозяйства, чтобы продолжить движение вдоль едва выступающей из тьмы вереницы пирамидальных тополей, с тревогой на сердце стала отыскивать в дальнем слабом мерцании освещенных зданий и уличных

фонарей трехэтажный дом, скрывавший ее квартиру, – да, с тревогой, потому что щемящее облегчение оттого, что она уже почти дома, быстро сменилось паникой: ведь было件нятно, что из-за без малого двухчасового опоздания поезда рассчитывать на вечерний автобус уже нельзя, так что путь от вокзала до дома ей придется проделать пешком («И одной...») – не говоря уж о том, что, прежде чем размышлять, как поступить *потом*, ей нужно было сначала решить проблему, как выйти из поезда. За окном замелькали крохотные садовые участки с запертыми хибарами, затем из темноты на мгновение показались мост через замерзший канал и старая мельница рядом с ним; но с этими местами у госпожи Пфлаум ассоциировалось сейчас не освобождение, а мучительные этапы предстоящих ей испытаний: ее угнетало сознание, что, хотя дом уже рядом и до свободы рукой подать, откуда-то сзади, из-за спины в любой момент на нее может обрушиться нечто непостижимое. Пот градом катился по всему ее телу. Она в страхе смотрела на просторный двор лесопилки со штабелями досок, на убогую будку обходчика, на дремлющий в тупике старый паровоз и на слабый свет, просачивающийся сквозь решетчатую стеклянную стену вагоноремонтного цеха. За ее спиной по-прежнему не было никакого движения, она стояла в тамбуре одна. Взявшись за ледяную ручку двери, она замерла в нерешительности: если откроет дверь слишком рано, ее могут вытолкнуть, а если промедлит, на нее налетит «эта орава убийц». Поравнявшись с бесконечно длинным, неподвижно стоявшим товарняком, поезд замедлил ход и наконец со скрипом затормозил. Дверь распахнулась, она чуть ли не выпрыгнула из вагона, под ногами, между шпалами, скрипел острый гравий, за спиной слышался топот идущих, но вот она вышла уже на пристанционную площадь. Никто на нее не напал, но по какой-то зловещей случайности, словно бы связанной с ее прибытием, поблизости и, как выяснилось позднее, во всем городе вдруг погасли уличные фонари. Глядя только себе под ноги, чтобы не споткнуться впотьмах, она поспешила к автобусной остановке, надеясь, что, может, автобус все же дождался поезда или что можно успеть еще на какой-нибудь поздний рейс, однако мало того, что, в соответствии с вывешенным у входа на станцию расписанием, последний автобус, по-видимому, ушел вскоре после предполагаемого прибытия поезда, но и само это расписание было крест-накрест перечеркнуто двумя жирными

линиями... Ее попытки опередить других оказались напрасными, ибо, пока она изучала автобусное расписание, а затем собиралась с силами, чтобы двинуться с места, на площади вырос целый лес из бараньих шапок, засаленных крестьянских шляп и треухов; в голове ее промелькнул ужасный вопрос: а что, собственно, все эти люди здесь делают? – а еще у нее возникло чувство, будто того страшного человека, почти вытесненного из памяти набившейся в задний вагон молчаливой публикой, того самого, в драповом пальто, она заметила слева, напротив, среди тех, кто сейчас околачивался на площади; он, как будто чего-то искал, оглянулся по сторонам, резко развернулся и, как ей показалось, исчез. Все это произошло так быстро, а она находилась от незнакомца так далеко (не говоря о том, что в мерцающей тьме вряд ли было возможно отличить наваждение от реальности), что госпожа Пфлаум не могла бы сказать с абсолютной уверенностью, что это был именно он, однако уже сама мысль об этом так напугала ее, что она, расталкивая зловещую массу праздно стоявших людей, чуть ли не бегом кинулась по широкому проспекту, ведущему к центру города, в сторону дома. Но как бы то ни было, она даже не изумилась, ибо при всей абсурдности этой мысли (хотя разве не было абсурдом все это путешествие?!) еще в поезде, когда, обманутая в своих надеждах, она снова его увидела, что-то подсказывало ей, что история с этим небритым типом – с этим извергом, пытавшимся ее изнасиловать – еще не закончилась, и теперь, когда надо было бояться не только того, что ее атакуют сзади «эти бандиты», но и он («Если только это был в самом деле он... а не привидение...») мог вынырнуть ей навстречу из любой подворотни, она сбавила шаг, переставляя ноги так неуверенно, словно не могла решить, что в этом отчаянном положении целесообразней: броситься назад или бежать вперед. Смутный четырехугольник пристанционной площади остался уже позади, миновала она и угол Зеленой улицы, что вела к детской клинике, и нигде под каштанами на широком, прямом как стрела проспекте ей не встретилось ни души (а ведь такая встреча, особенно со знакомым, была бы сейчас спасением); кроме звуков собственного дыхания и шагов да гула бьющего в лицо ветра до слуха ее доносился только тихий настойчивый рокот какого-то отдаленного, неузнаваемого механизма, смутно напоминавшего допотопную механическую пилу. При полном отсутствии уличного освещения, в

гнетущей безжизненной тишине она, продолжая сопротивляться власти тех обстоятельств, которые, казалось, были нарочно созданы для того, чтобы испытать ее выдержку, постепенно стала ощущать себя в роли брошенной на произвол судьбы жертвы, потому что, куда бы она ни смотрела в поисках света, просачивающегося из квартир, все вокруг выглядело так, как обычно выглядят осажденные города, чьи жители, сочтя дальнейшие усилия бесполезными и ненужными, предпочли не выказывать рискованных признаков человеческого присутствия, уповая на то, что после сдачи улиц и площадей они смогут еще отсидеться за толстыми стенами своих жилищ. Продвигаясь по неровной поверхности тротуара, покрытого мерзлым мусором, она дошла до знакомой витрины магазина «Ортопед», что торговал изделиями местных кустарей-башмачников, и, прежде чем миновать следующий перекресток, больше по привычке (ибо из-за нехватки бензина почти весь автотранспорт встал еще до ее поездки к родне) заглянула в темный зев улицы Шандора Эрдейи, которую местные жители – в связи с тем, что она проходила вдоль высокой, с колючкой по верху стены Судебной палаты (вкупе с тюрьмой) – называли просто Судейской. В глубине улицы, у водоразборной колонки, она увидела группу немых теней, и ей показалось, что там кого-то били. Она в ужасе бросилась бежать и, время от времени оглядываясь на массивное здание Судебной палаты (вкупе с тюрьмой), не сбавляла темпа, пока не убедилась, что ее не преследуют. Никто не гнался за ней, и ничто не нарушало кладбищенской тишины пустынного города, кроме уже упомянутого и все явственней различимого рокота, и в этой пугающе насыщенной немоте – когда ниоткуда не доносилось ни стоны, ни глухого удара и почти гробовой тишине отвечало безмолвие совершавшегося у водоразборной колонки злодеяния (ибо чем еще это могло быть?) – уже не казалось странным, что вокруг нет ни живой души, ведь в обычных условиях, несмотря на почти карантинную замкнутость города, она непременно встретила бы одного-двух прохожих если не где-нибудь, то хотя бы здесь, в этой части проспекта барона Венкхейма, примыкающей уже чуть ли не к самому центру. Подгоняемая дурными предчувствиями, она поспешила дальше, и вскоре ей стало казаться, что она пребывает в кошмарном сне, а затем, приблизившись к источнику теперь уже совершенно отчетливо различимого рокота и внезапно заметив сквозь

вязь каштановых веток неповоротливую махину, она решила, что от усталости и пережитых мучений просто бредит, – ведь то, что она увидела, в первую же секунду представилось ей не просто ошеломляющим, но совершенно невыносимым. Недалеко от нее, посередине широкой проезжей части, в зимней ночи одиноко двигался непонятный объект – если можно было назвать движением тот обескураживающе черепаший темп, в котором, буквально сражаясь за каждый сантиметр, тащилась в сторону центра эта дьявольская конструкция: казалось, она не катилась по мостовой, борясь с налетающим на нее порывистым ветром, а продиралась сквозь вязкую и густую, упорно противодействующую ей массу. Фургон со стенками из гофрированной синей жести, напоминающий огромный железнодорожный вагон, с какими-то ярко-желтыми каракулями на борту (а также темно-коричневой непонятной фигурой посередине), был гораздо длиннее и выше – с изумлением констатировала она, – чем большие турецкие фуры, которые некогда проезжали через их город, и к тому же этот умопомрачительный фургон, влекомый надрывающимся допотопным, чихающим гарью и истекающим маслом трактором, распространял вокруг одуряющий запах рыбы. Поравнявшись с прицепом, она с любопытством, пересилившим даже страх, замедлила шаг, но тщетно разглядывала с близкого расстояния намалеванные явно неопытной рукой нелепые иноземные письмена («...славянские... или турецкие?..»), их смысл остался ей недоступен, а потому она так и не смогла понять, для чего этот трейлер нужен и что он делает тут у них, в самом центре пустынного, продуваемого ветрами, коченеющего на морозе города, и как он вообще оказался здесь, ведь с такой черепашей скоростью ему даже из соседней деревни пришлось бы тащиться годами, а представить, что его доставили по железной дороге (хотя вроде иначе и невозможно), было тоже довольно трудно. Она снова прибавила шагу, и когда, уже обогнав этот жуткий транспорт, оглянулась назад, то увидела со скучающим видом сидевшего в застекленной кабине трактора крепкого волосатого мужчину в одной майке, со свисающей изо рта сигаретой, который, заметив на тротуаре госпожу Пфлаум, соорудил насмешливое лицо и, приподняв над баранкой правую руку, как бы поприветствовал изумленную женщину. Все это было более чем невероятно (в довершение всего полураздетому великану за рулем, как будто в

кабине перетопили, было явно жарко), и госпожа Пфлаум, поспешно отдаляясь от трейлера, то и дело оглядывалась, и он уже представлялся ей каким-то экзотическим монстром, который медленно, но неумолимо полз вперед под темными окнами ничего не подозревающих обывателей, захватывая все на своем пути и рождая предчувствие, что и то, что не будет захвачено, уже не останется тем, чем было до этого. С этого момента она и правда почувствовала себя в плену кошмарного, бросающего в холодный пот сна, только очнуться от этого сна было невозможно: дело в том, что она отчетливо понимала, что это, вне всяких сомнений, реальность; а еще до нее дошло, что все эти леденящие душу события, участницей или свидетельницей которых она стала (эта необъяснимая фантомная фура, избиеение на улице Шандора Эрдейи, погашенное словно бы специально уличное освещение, этот сброд на пристанционной площади и, самое страшное, этот тип в драповом пальто с ледяным немигающим взглядом, из-под власти которого невозможно освободиться), словом, все это – не просто случайные порождения ее вечно чего-то пугающейся фантазии, вовсе нет, между ними есть несомненная связь, какие-то точные и на что-то нацеленные отношения. Она напрягала все силы, чтобы развеять свои бредовые допущения, и надеялась, что, быть может, появлению этой толпы и странного сооружения на колесах, этой вспышке уличного насилия или хотя бы непонятному отключению электричества все же найдется какое-то пускай страшное, но понятное объяснение, ибо даже и в этой, непостижимой уму ситуации она не могла примириться с мыслью, что вместе с порядком и безопасностью из города может исчезнуть вообще все разумное. И надо же было такому случиться, надежды ее оправдались: если об отключении фонарей на данный момент было еще ничего неизвестно, то назначение странной машины прояснилось довольно быстро. Госпожа Пфлаум миновала дом Дёрдя Эстера, человека крайне уважаемого в городе, оставила позади загадочный гул, исходивший из парка, в глубине которого скрывался старый Летний театр, и дошла до маленькой лютеранской церкви, рядом с которой ее взгляд упал на афишную тумбу; она тут же остановилась, подошла ближе и, не веря глазам своим, несколько раз перечитала текст, словно бы намалеванный каким-нибудь хулиганом из подворотни, хотя было вполне достаточно пробежать его один раз, ибо афиша, наклепленная

поверх остальных, совершенно свежая, как было понятно по выступившему по краям клею, содержала простое и ясное объяснение.

**СЕНСАЦИЯ! НЕБЫВАЛЫЙ АТРАКЦИОН!**

---

**САМЫЙ ГИГАНТСКИЙ В МИРЕ**

**СИНИЙ КИТ**

---

**И ДРУГИЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ**

**ТАЙНЫ ПРИРОДЫ**

---

НА ПЛОЩАДИ КОШУТА (СПРАВА ОТ РЫНКА)

**1-ГО! 2-ГО! И 3-ГО! ДЕКАБРЯ**

ПОСЛЕ ОШЕЛОМИТЕЛЬНОГО ТУРНЕ ПО ЕВРОПЕ!!!

---

ВХОДНАЯ ПЛАТА **50 ФОРИНТОФ** (СОЛДАТАМ И ДЕТЯМ – СКИТКА!)

---

**СЕНСАЦИЯ! НЕБЫВАЛЫЙ АТРАКЦИОН!**

Ей казалось, что если удастся в конце концов прояснить хотя бы какой-то фрагмент всей этой чертовщины, то это поможет ей сориентироваться в событиях, а стало быть (разумеется: «Не дай бог, чтобы это понадобилось!..»), защитить себя «в случае катастрофы», но там, у афиши, от этой забрезжившей ясности чувство тревоги только усилилось, ведь если до этого ее угнетало то, что ни в чем, что она

испытала как жертва или свидетельница, невозможно было найти ни крупинцы разума, то теперь – как будто это «забрезжившее» («Величайший в мире синий кит и другие сенсационные тайны природы») тут же и ослепило ее – она вынуждена была задуматься, не скрывается ли за всем этим какой-то решительный, но обезумевший разум. Какой цирк? Здесь, сейчас?! Когда под ногами земля шатается и неизвестно, что будет завтра? Допустить сюда этот жуткий трейлер с разлагающейся падалью? Кому вздумается развлекаться в обстановке такой анархии? Что за идиотская шутка? Что за абсурдная, беспощадная мысль?! Или, может быть... дело именно в том... что уже все равно?.. И кто-то решил развлечься «в этом светопреставлении»?!

Она отпрянула от афишной тумбы и пересекла улицу. На этой ее стороне из некоторых окон в трехэтажных домах сеялся слабый свет. Она прижала к себе ридикюль и слегка наклонилась навстречу ветру. Дойдя до последнего подъезда, быстро оглянулась, открыла ключом входную дверь и заперла ее за собой. Перила на лестнице были ледяными. Обожаемая всеми пальма – единственное радостное пятно на площадке, – как она и предвидела до отъезда, безвозвратно замерзла. В парадном стояла гнетущая тишина. Ну вот и приехала. В дверной щели, выше ручки, виднелась записка. Заглянув в нее, она раздраженно поморщилась, вошла в квартиру, заперла дверь на оба замка и быстро набросила цепочку. «Слава богу! Я дома», – прислонилась она к двери и закрыла глаза. Квартира, можно сказать, была ее главным детищем, заслуженным плодом многолетних и неустанных трудов. Пять лет назад, когда ей пришлось проститься и со вторым своим мужем, скоропостижно скончавшимся (от удара), и когда, вскоре после этого, невыносимой стала и совместная жизнь с сыном от первого мужа – молодым человеком, «вечно где-то болтавшимся, неведомо с кем водившимся и даже не думавшим исправляться», каковые наклонности он явно унаследовал от своего порочного забулдыги отца, – и когда он, сын, наконец-то съехал с квартиры, она не только сумела смириться с непоправимым, но даже почувствовала какое-то облегчение, ибо как бы ни было ей тяжело перенести утраты (потерю двух мужей, а также – поскольку он больше не существовал для нее – и сына), она все же ясно видела: теперь перед ней, до пятидесяти восьми лет вечно «как дура прислуживавшей другим», не осталось уже препятствий к тому, чтобы жить только для

себя. А посему она обменяла – с немалой выгодой – семейный дом, теперь ставший слишком большим для нее, на «славную» маленькую квартирку в центре города («С домофоном!») и впервые в жизни, окруженная, как положено дважды вдове, почтением со стороны знакомых и их максимальной тактичностью в том, что касалось известного в городе «образа жизни» единственного ее сына, в счастливом волнении (ведь кроме одежды да простыней и пододеяльников, у нее отродясь не было личной собственности) предалась несказанной радости обладания. Полы она застелила мягкими «персидскими» ковриками из синтетики, на окна купила тюлевые шторы и веселенькие занавески, затем, избавившись от старых шкафов, тяжелых и неудобных, водрузила в гостиной стенку с сервантом, а на кухне – вняв разумным советам весьма популярного в городе журнала «Культура быта» – набор современной комфортной мебели; в квартире был сделан косметический ремонт, выброшены доставшиеся от прежних владельцев громоздкие газовые конвекторы и полностью переоборудована ванная. Не зная устали развернула она, как одобительно отозвалась ее соседка госпожа Вираг, кипучую деятельность, однако по-настоящему оказалась в своей стихии после того, как, покончив с основными делами, начала наводить в своем «маленьком гнездышке» красоту. Голова ее была полна идей, воображение не знало границ, и после ежедневных походов по магазинам она возвращалась то с зеркалом для передней в кованой раме, то с практичным приспособлением для шинковки лука, то с элегантною платяной щеткой с инкрустированной в ручку панорамой города. Однако несмотря на это, через два года после печального расставания с сыном – он покинул дом в слезах, ей насилу удалось вытолкать его из квартиры, и еще долго («Днями!») ее мучило какое-то смутное нехорошее чувство, – так вот, несмотря на то что в результате двухлетней лихорадочной деятельности в доме уже почти не осталось незанятого пространства, она все еще испытывала тревожное ощущение, что в ее жизни чего-то катастрофически не хватает. Она срочно пополнила коллекцию милых фарфоровых статуэток в витрине, но потом поняла, что и они не в состоянии удовлетворительно заполнить брешь; она ломала голову, оглядывалась по сторонам, даже советовалась с соседкой, пока как-то под вечер (удобно устроившись в кресле за вязанием очередной салфеточки) госпожа Пфлаум, обведя

глазами целующихся лебедей, цыганок с гитарами, плачущих карапузов и фарфоровых девчушек, со счастливо-мечтательным видом откинувшихся на спину, внезапно не поняла, чего ей «по-настоящему» не хватает. Цветов. У нее, правда, были два фикуса и один чахлый аспарагус (перевезенные еще со старой квартиры), но они ни в малейшей степени не годились на роль достойных предметов ее, как она это назвала, неожиданно пробудившихся «материнских чувств». И поскольку среди ее знакомых было много «ценителей флоры», уже вскоре она стала обладательницей множества замечательных черенков, луковиц и взрослых растений, причем дело продвигалось так споро, что за несколько лет, проведенных ею в кругу таких увлеченных цветоводов, как доктор Провазник, госпожа Мадаи и конечно же госпожа Махо, не только все подоконники были заставлены ухоженными карликовыми пальмами, филодендронами и сансевиериями, но пришлось даже заказать в Румынском квартале, у тамошних кузнецов, целых три металлических стеллажа, потому что иначе было уже невозможно разместить все эти бальзамины, пилеи и разнообразные кактусы в ее – благодаря этому цветочному изобилию ставшей, как ей казалось, «безумно уютной» – квартирке. И может ли быть, чтобы все это – мягкие коврики и веселые занавесочки, комфортная мебель и зеркало, слайсер для лука и платяная щетка, ее замечательные цветы и чувство покоя, безмятежности и благодатного постоянства – так вот запросто пошло прахом?! Она чувствовала себя совершенно измученной. Записка, которую она держала в левой руке, выскользнула из пальцев и спланировала на пол. Она подняла глаза на часы над кухонной дверью, на которых секундная стрелка резво прыгала с деления на деление, и хотя вроде бы было ясно, что опасность ей больше не угрожает, она все же не чувствовала вокруг себя покоя, в котором сейчас так нуждалась: в голове ее беспорядочно роились мысли, и было неясно, что сейчас важнее всего, поэтому – сняв шубу и сапоги, помассировав опухшие ноги и сунув их в теплые меховые тапочки – она сначала бросила внимательный взгляд из окна на пустынную главную улицу (но там: «Ни души, даже крадущейся тени не видно... только этот цирковой фургон с его невыносимым рокотом...»), затем, чтобы удостовериться, что все на месте, стала один за другим открывать шкафы и наконец даже мытье рук прервала, решив, что может упустить самое важное, если сию же минуту не

проверит, хорошо ли закрыты замки входной двери. К этому времени она несколько успокоилась, подняла записку и, прочитав, яростно швырнула ее в мусорный контейнер на кухне (в записке четырежды, одна под другой, повторялась фраза: «Мама, я заходил к тебе», – причем первые три строки были перечеркнуты), потом вернулась в гостиную, включила отопление и, чтобы положить конец этой нервной суете, принялась методично осматривать комнатные растения, решив, что если найдет их в полном порядке, то ей и правда можно будет вздохнуть с облегчением. Причин разочароваться в милейшей соседке, которой она поручила иногда немного проветривать комнаты, а главное, присматривать за ее замечательными цветами, у госпожи Пфлаум не было: земля в горшках была, как положено, влажная, и ее «простоватая, что на уме, то и на языке, но, в сущности, добросердечная и порядочная подруга» не поленилась даже обмахнуть пыль с листьев прихотливых пальм. «Этой Розике просто цены нет!» – вздохнула она растроганно, представив себе дородную фигуру неутомимой соседки, и, расположившись в одном из ядовито-зеленых кресел, вновь обозрела нетронутое убранство своей квартиры. Все в идеальном порядке, констатировала она и почувствовала, что пол, потолок и стены с цветочным накатом ограждают ее с такой несомненной определенностью, что все предыдущие злключения можно считать просто дурным сном, игрой нездоровой фантазии и перевозбужденных нервов. О да, все это могло быть химерой, ведь она, много лет живя в мелких радостях и заботах об осенней заготовке солений-варений и о весенней генеральной уборке, о вечернем вязании и об увлеченном уходе за комнатными растениями, привыкла уже наблюдать за бурлящим снаружи безумным водоворотом в благословенном отдалении от событий, которые, оставаясь за кругом ее интимного мира, представлялись ей чем-то туманно-неопределенным, бесформенным наподобие пара; точно так же полученные во время поездки тяжелые впечатления в эти минуты – когда она снова сидела под до сих пор безупречной защитой дверей, как бы закрыв на замок весь мир – постепенно теряли черты реальности, и перед ней опускалась полупрозрачная кисея, сквозь которую различимы были только размытые контуры горлающих в поезде пассажиров, одетого в драповое пальто мужчины с леденящим взглядом и завалившейся набок торговки, тени, мечущиеся над

избиваемым в тишине несчастным, нечеткое пятно необычного цирка, жирный крест на пожелтевшем автобусном расписании и еще туманней – она сама, в отчаянии тыкающаяся туда-сюда, словно в лабиринте, в поисках дороги к дому. Очертания непосредственного окружения становились все более четкими, а картины пережитого за последние часы – все более призрачными, но они нестерпимо быстро мелькали перед ее глазами: и воняющий мочой туалет, и промасленный щебень меж рельсами, и рука циркача, приветствующая ее из кабины трактора. Здесь, в окружении мебели и цветов, все более уверенная в своей неуязвимости, она уже не страшилась нападения и чувствовала, что освободилась от мук напряженного состояния постоянной готовности, однако от общего, неопределенного беспокойства, липкой массой обволакивающего все ее существо, избавиться не могла. Она чувствовала себя изможденной, как, наверное, еще никогда в жизни, и решила немедленно лечь в постель. За считанные минуты она приняла душ и простирнула белье, после чего, набросив на плотную ночную рубашку теплый халат, направилась в кладовую, чтобы, раз уж она не в силах накрыть к ужину «как положено», хотя бы полакомиться перед сном компотом. В кладовой, расположенной по оси – то есть, так сказать, в сердце – квартиры, сообразно с чрезвычайным характером ситуации, были сосредоточены немислимые запасы провизии: с потолка, в окружении связок красного перца, свешивались окорока, колбасы и копченое сало, а внизу в строгом порядке выстроились мешки с сахаром, мукой, солью, рисом в количестве, достаточном для строительства небольшой баррикады; выше, по двум сторонам кладовой, были сосредоточены запасы кофе, мака, грецких орехов, всяческих специй, картофеля, лука, и все эти продовольственные редуты, все это изобилие, свидетельствующее о большой дальновидности хозяйки квартиры, на противоположной от входа стене кладовой венчали – примерно так же, как венчал квартиру лес радующих глаз цветов – полки с шеренгами улыбчивых банок с компотами и вареньями. Здесь было все, что только можно было законсервировать с начала лета, от фруктов в сиропе и всевозможных солений до томатного соуса и грецких орехов в меде; как обычно окинув взглядом батарею сверкающих банок, она после некоторых колебаний остановила свой выбор на вишневом компоте с ромом, с которым вернулась в гостиную, и прежде чем снова

расположиться в ядовито-зеленом кресле, скорее машинально, нежели из любопытства, включила телевизор. Удобно откинувшись, она положила гудящие ноги на низенький пуфик и, уже наслаждаясь теплом, освеженная душем, с величайшей радостью констатировала, что опять дают оперетту, а раз так, то, наверное, можно надеяться, что дом, в который она вернулась, вновь станет местом покоя и благодати. Ибо она понимала, что большой мир и она – вещи настолько же разные и несоизмеримые, насколько несоизмеримыми, по любимому выражению ее сына, свихнувшегося на звездах, являются свет и зрение; она понимала также, что одно дело – те, кто, подобно ей, сидят в своих тихих гнездышках, в своих скромных оазисах благоразумия и порядочности и могут лишь с трепетом думать о том, что творится снаружи, и совсем другое – необузданный сброд варварской породы, к которой принадлежит и небритый тип, эти как раз ориентируются в мире с инстинктивной уверенностью; но ведь она против этого мира не восставала, всегда принимала его необъяснимые законы, была счастлива его мелкими радостями, а стало быть, убеждала она себя, вправе рассчитывать, что судьба над ней смилуется, что удары обойдут ее стороной. Что судьба пощадит этот крохотный островок жизни, не позволит, подыскивала госпожа Пфлаум слова, чтобы ее, которая всем желала только добра и мира, так вот запросто взяли и бросили на всеобщее растерзание. Дивная мелодия оперетты («Графиня Марица!..») – с радостным волнением узнала она) наполнила гостиную очарованием и тонкими ароматами, как будто сюда вдруг ворвался свежий весенний ветер, и когда за потоком чарующих звуков ей снова привиделась вульгарная публика резервного поезда, она чувствовала уже не страх, а презрение – именно то, что чувствовала в начале своего путешествия, когда впервые увидела в грязном вагоне этих людей. Два разряда этой вульгарной публики, «чавкающие забулдыги» и «молчаливые изверги», слились для нее в одну массу, и она наконец почувствовала, что способна смотреть на них свысока, поднявшись, невзирая на душевную скорбь – как сейчас воспаряет над земными кошмарами неукротимая музыка, – выше гнетущих переживаний. Потому что вполне возможно, осмелев предположила она и, глядя на телеэкран, раздавила во рту очередную сочную вишенку, что до поры до времени, под покровом ночи, на своих хуторах, в своих жутких притонах этот сброд будет править бал, но затем, когда их бесчинства

станут уже нетерпимыми, им придется обратиться туда, откуда явились, – ведь их место там, думала госпожа Пфлаум, за пределами нашего справедливого и благополучного мира, навсегда и бесповоротно. Ну а пока правосудие не свершилось, убеждала она себя, пусть творится здесь ад кромешный, ей до этого дела нет, разбой и бесчинства, чинимые этими висельниками, этими негодяями, *никак ее не касаются*; пока они буйствуют в городе, решила госпожа Пфлаум, она носа из дома не высунет, закроет глаза на происходящее и никто о ней даже не услышит, пока этот ужас не кончится, пока снова не выглянет солнце и пока повседневной их жизнью не будут вновь править взаимное понимание и чувство меры. Замечтавшись, приободрившаяся госпожа Пфлаум наблюдала триумфальный финал, в котором граф Тасило и графиня Марица, одолев все преграды, наконец-то находят путь к сердцу друг друга, но в тот самый момент, когда она с увлажнившимися глазами приготовилась насладиться апофеозом заключительной сцены, кто-то вдруг позвонил в домофон. Схватившись за сердце, она в ужасе содрогнулась («Он нашел меня! Выследил!..»), затем подняла глаза на часы («Ерунда! Это бред!») и направилась к двери. Это не могли быть подруги или соседки, ведь в городе, до этого – из приличий, а в последнее время еще и от страха, было не принято навещать друг друга после семи часов вечера, поэтому, отогнав от себя мысль о призрачной фигуре в драповом пальто, она решила, что знает, кто это может быть. Увы, с тех пор как сын ее съехал на квартиру к Харрерам, он чуть ли не каждую третью ночь заявлялся к ней, чтобы часами изводить своими пьяными бреднями о небе и звездах или, что в последнее время случалось чаще, со слезами на глазах преподнести – краденые, по убеждению разочарованной матери – цветы в знак раскаяния за «всю бесконечную боль, которую он невольно ей причинил». Она просила его – и тогда, когда он покидал ее дом, и тысячу раз потом, – чтобы не приходил, не тревожил ее, чтобы оставил ее в покое, чтобы ноги его в доме не было, потому что она его не желает видеть, и действительно так и было: она его не хотела видеть, хватит с нее, промучилась двадцать семь лет, когда что ни день, что ни час со стыда готова была сгореть оттого, что у нее такой сын. Своим сердобольным друзьям она признавалась, что испробовала все, что только могла придумать. Ну почему, вопрошала она, почему мать должна расплачиваться за то, что ее ребенок не

желает вести себя подобающим образом. Разве мало она настрадалась из-за Валушки-старшего, ее первого мужа, которого погубил алкоголь, а теперь еще с сыном мучиться, без устали плакалась она всем своим знакомым. Они ей советовали, и она к их советам нередко прислушивалась, «просто-напросто не пускать на порог сумасбродного отпрыска, пока тот не откажется от дурных привычек», но это, вынуждена была признать госпожа Пфлаум, тоже не помогало, а лишь «надрывало материнское сердце». И тщетно она запрещала ему навещать ее, пока не укрепит в должной мере волю – ее-то как раз сыну и не хватало – к правильному образу жизни, Валушка-младший, продолжая бродяжничать, вновь и вновь, приблизительно раз в три дня, заявлялся к ней, чтобы с сияющим лицом заверить мать, что воля его уже «достаточно укрепилась». Устав от безнадежной борьбы, от сознания, что сын ее в своей неисправимой глупости даже не понимает, чего от него хочет мать, она обычно сразу гнала его прочь, что собиралась сделать и на этот раз, однако, сняв трубку домофона, вместо до боли знакомого заикания («Это... я... мама...») услышала воркующий женский голос. «Кто-кто??» – изумленная, переспросила госпожа Пфлаум и на секунду отдернула трубку от уха. «Пирошка, милая, это я! Госпожа Эстер!» – «Вы?! Здесь?! В такой час?!» – изумилась она и растерянно потеревила на себе халат. Эта дамочка была из разряда тех, с кем госпожа Пфлаум – как, впрочем, и все остальные достойные люди в городе – старалась «держаться дистанцию»; поскольку никаких особенных отношений между ними не было и за исключением неизбежных, но, конечно, прохладных поклонов на улице они за год обменивались разве что парой слов о погоде, ее визит был более чем неожиданным. Госпожа Эстер оставалась постоянной темой женских пересудов не только из-за «скандального прошлого, нравственной неустойчивости и неясного на данный момент семейного положения», но еще и по той причине, что она, самым нахальным образом манкируя приличным обществом, то эпатировала его своими бесцеремонно-надменными выходками и безвкусной одеждой, которая сидела на ее бочкообразной фигуре, «как на корове седло», то возбуждала к себе неприязнь своей лицемерной лестью и притворством, не снисшимся даже хамелеону. К тому же несколько месяцев назад, когда, воспользовавшись начавшимися беспорядками и отсутствием должной бдительности – а также

поддержкой начальника полиции, своего сожителя, – она провозгласила себя председателем Женского комитета, госпожа Эстер еще выше задрала нос и с трясущимся от гордости и злорадства вторым подбородком, со своей «тошнотворно елейной улыбочкой на потасканной роже», как метко охарактеризовала ее одна из соседок, под видом ознакомительных визитов пролезла даже в такие семьи, куда прежде ее не пустили бы на порог. Таким образом, легко было догадаться, что эта персона и на сей раз задумала нечто подобное, поэтому госпожа Пфлаум отправилась вниз, к входной двери, с твердым намерением сперва как следует отчитать пришлицу за ее неотесанность («Похоже, эта нахалка понятия не имеет, когда можно являться в приличный дом!»), а затем, в качестве первого, так сказать символического, шага к вынужденному затворничеству, дать непрошеной гостье от ворот поворот. Но все случилось иначе.

Все случилось иначе, да оно и понятно, ведь госпожа Эстер прекрасно знала, с кем имеет дело, поэтому ей, которая – как нашептывал на ушко своей пассии ее друг полицмейстер – «уже в плане роста и веса... не говоря обо всем другом», была «просто недюжинной дамой», не составило труда с врожденным начальственным чувством и решимостью, не терпящей непокорности в принципе, смять сопротивление госпожи Пфлаум; изображая саму любезность – «о моя дорогая... милейшая...» – она по-мужски басовитым голосом заявила, мол, она понимает, что пожаловала в неурочный час, но им непременно нужно поговорить с хозяйкой по «неотложному личному делу», и, воспользовавшись кратким и вполне предсказуемым замешательством госпожи Пфлаум, попросту отодвинула ее вместе с дверью в сторону, вихрем взбежала по лестнице и, по привычке слегка пригнувшись («Чего доброго еще шандарахнешься лбом...»), ввалилась в квартиру, после чего, дабы пока отвлечь внимание от своей неотложной цели, сделала несколько сдержанных замечаний о «замечательной планировке», об «интересной расцветке» ковровой дорожки в прихожей и об «изысканном стильном убранстве», которое про себя она уже окрестила «мещанской пошлятиной», когда, вешая пальто на вешалку, окинула обстановку квартиры несколькими молниеносными оценивающими взглядами. Разумеется, трудно с уверенностью сказать, что выражение «отвлечь внимание» достаточно точно отражало

истинную природу ее намерений, ибо для достижения ее настоящей цели – а она заключалась в том, чтобы, ввиду срочности дела, еще до конца дня провести около четверти часа с госпожой Пфлаум, дабы наутро при встрече с ее сыном Валушкой можно было сослаться на этот визит – сие обстоятельство, по правде сказать, значения не имело; и все же она не остановилась на самом простом в этой ситуации способе (а именно без промедления опуститься в одно из этих уродливых кресел и завести разговор о «наблюдаемом повсеместно в стране кипучем желании служить делу всеобщего обновления и, в частности, о пылком энтузиазме, что охватил их крепнувший с каждым днем городской Женский комитет»...), причем не остановилась на нем потому, что, хотя госпожа Эстер и рассчитывала на нечто подобное, это «затхлое гнездышко» сибаритства, праздности и разнеженности поразило ее настолько, что, благоразумно подавив в себе отвращение, она решила сперва со всей возможной дотошностью обследовать оборонительные сооружения хозяйки. В сопровождении раскрасневшейся, огорошенной, не смевшей и рта раскрыть госпожи Пфлаум, которая едва успевала подхватывать сметаемые со своих мест безделушки, она обошла до отказа забитую всяческой дребеденью квартиру, с притворным одобрением (ибо «выкладывать карты на стол было еще преждевременно») приговаривая густым контральто, мол, «ну да, никаких сомнений: только женщина наполняет смыслом безжизненные предметы, равно как она же, и только она, способна придать дому обаяние уникальности», при этом внутри – в глубине души! – она едва сдерживалась, чтобы не сцапать и не раздавить, как цыпленка, какую-нибудь отвратительную финтифлюшку, ибо, черт подери, именно эта жаркая, душная, липкая мешанина из настенных кармашков для мелочей, кружевных салфеточек, пепельниц в виде лебедя, шелковистых псевдоперсидских ковриков, легких тюлевых занавесочек и пары-тройки сентиментальных книжонок в застекленной витрине ярче всего демонстрировала ей, до чего довела наш мир наглость и вездесущность «сытой праздности и дряблого слабоволия». Она все осмотрела и оценила, не упустив из виду ни одной мелочи, и как бы для пущей самозакалки с горьким мучительным наслаждением втянула в себя приправленный дезодорантами воздух: тот смрад, тот самый тошнотворный запах «чистеньких кукольных домиков», который за версту выдает, что в них

обитают жалкие существа, и от которого госпожа Эстер – как после своего избрания с саркастическим негодованием признавалась она полицмейстеру вслед за очередным ознакомительным визитом – уже с порога («Всегда!») испытывала «огромное желание блевануть». Независимо от того, был ли это только сарказм или действительное физическое страдание, ее друг несколько не сомневался, что психика госпожи Эстер подвергалась невиданным испытаниям, потому что с тех пор, как «волей очухавшейся общественности» она, в знак признания ее многолетней деятельности в роли хормейстера местной мужской капеллы (унизительность каковой должности смягчало лишь право самой формировать «эксклюзивный репертуар» из военных маршей, трудовых песен и гимнов весне), вознеслась на пост председателя Женского комитета и стала его железным лидером, ей приходилось изо дня в день («Часами!») пропадать в таких вот квартирах, причем, как казалось ей, только для того, чтобы в очередной раз убедиться: то, о чем она догадывалась и до этого, теперь уже несомненный факт. Ибо она хорошо поняла, что именно здесь, в этой затхлой атмосфере, среди этих засахарившихся варений и жарких перин, среди ковров с аккуратно расчесанными кистями и зачехленных кресел, увязают все добрые начинания; что именно в мертвом болоте, населенном любителями оперетты, этими обывателями в теплых домашних тапочках, которые возомнили себя сливками местного общества и просто плюют на здоровые массы трудящихся, увязают все деятельные порывы; она понимала, чем можно объяснить, что провозглашенная по ее председательской инициативе грандиозная кампания за чистоту, невзирая на многомесячные энергичные усилия, прискорбным образом все еще пребывала в зачаточной стадии. Честно сказать, на что-то другое она особенно не рассчитывала, а потому и не удивилась, когда оказалось, что это прокисшее от самодовольства бесподобное сборище паразитов холодно отвергает ее тщательно взвешенные аргументы, ибо за всеми их неуклюжими отговорками (как то: «Конкурс чистоты? В декабре? Может, лучше весной, под генеральную уборку...») госпожа Эстер безошибочно угадывала истинную причину их несговорчивости, понимала, что их болезненная бездеятельность и позорное малодушие имеют причиной дурацкий, хотя с их точки зрения вполне оправданный, страх, предвидящий во всеобщем обновлении всеобщий упадок, а в новаторстве победителей

– зловещие признаки торжества хаоса, и – совершенно верно – силу, которая, вместо того чтобы защищать, беспощадно крушит то, что признано безвозвратно мертвым, и на месте безликой скуки сводящегося только к приобретательству эгоизма утверждает «высокую страсть коллективного действия». Нечего и говорить, что в этой оригинальной трактовке чрезвычайных и исключительных событий последнего времени – за исключением ее друга, начальника полиции, и еще пары-тройки нормальных людей – никто в городе ее не поддерживал, и все же: сие нимало ее не смущало, не заставляло задуматься, ибо что-то подсказывало ей, что «победы, которая подтвердит ее правоту, ждать осталось недолго». Разумеется, на вопрос, а в чем, собственно, должна заключаться эта победа, ответить одной простой фразой (или двумя) она не могла, но вера в победу была так сильна, что, какой бы упрямой и многочисленной ни казалась эта «масса никчемных любителей теплых тапочек», она не то что нисколько их не боялась, но вообще не считалась с ними, а все потому, что ее настоящим противником был – и именно потому общественная борьба стала для нее и личной – не кто иной, как Дёрдь Эстер, ее формальный муж, человек, считавшийся большим чудачком и настоящим затворником, в действительности же патологический лодырь, окруженный всеобщим почтением, смешанным со страхом, который – хотя и не мог, в отличие от нее, «похвалиться общественной деятельностью» – слыл в городе своего рода живой достопримечательностью. Вот уже много лет он валялся в кровати, раз в неделю («Не чаще!») выглядывая в окно. Для госпожи Эстер он был не только «неодолимой, чудовищной, адской помехой», но вместе с тем и единственным шансом на то, чтобы не быть окончательно изгнанной из круга самых влиятельных граждан города, – иными словами, ловушкой, идеальной и безупречной, не оставляющей никаких надежд, ловушкой, из которой не вырвешься и которую не разрушишь. Ибо, как и всегда, Эстер был ключевой фигурой, самым важным звеном в цепи ее грандиозных планов – именно он, который несколько лет назад, вскоре после того, как, сославшись на «ишиас», удалился на пенсию с поста директора местной Музыкальной школы, с безграничным цинизмом заявил ей, что «в ее супружеских услугах он больше не нуждается», и уже на следующий день она вынуждена была на скромные сбережения снять квартиру неподалеку от рыночной

площади... то есть именно этот вот человек, который к тому же – из мести, зачем же еще, – дабы пресечь раз и навсегда их и без того редкие общие выступления, отказался даже от руководства городским оркестром, сославшись при этом (как ей рассказывали) на то, что его, Эстера, отныне интересуется одна лишь музыка, ее суть, и ничем другим он заниматься не собирается, между тем как она-то знает, насколько фальшиво бренчит он на специально расстроенном непонятно зачем рояле, да и то лишь когда захиревшее в вечном безделье тело выбирается из-под чудовищной груды одеял и пледов. Когда она вспоминала о бесконечной череде унижений, перенесенных ею за прошедшие годы, то больше всего на свете ей хотелось схватить топор и изрубить на куски наглеца прямо в его кровати, но именно этого она не могла позволить себе ни в коем случае, ибо вынуждена была признать, что не сможет без Эстера подчинить себе город, и что бы она ни задумывала, всякий раз ключевой фигурой был он. Объясняя раздельное проживание тем, что, мол, муж нуждается для работы в покое и одиночестве, она была вынуждена поддерживать видимость сохранения брака и решительно подавлять в себе мысль о разводе, кстати, страстно желанном, больше того, она даже пошла на то, чтобы при посредничестве любимца и восторженного почитателя господина Эстера, безнадёжного дурачка Валушки, слабоумного сына госпожи Пфлаум от первого брака, – втайне от мужа, но, так сказать, на глазах у города – собственноручно стирать ему грязное белье (его «засранные кальсоны!»). Ситуация выглядела, несомненно, сложной, однако госпожа Эстер не унывала: хотя она не могла решить, что для нее важнее, личная месть или «борьба за общее благо», чего она больше хочет, расквитаться с Эстером («За все!») или же все-таки укрепить свое шаткое положение, одно она знала твердо: столь плачевное состояние дел не будет длиться вечно и однажды, возможно, даже в недалеком будущем, в ореоле заслуженной власти и славы она наконец сможет раздавить этого жалкого негодяя, который («намеренно!») выставлял ее на посмешище и отравлял ей жизнь. Что именно так и произойдет, она верила не без оснований, ибо (помимо того, что «все будет так, ибо иначе не может быть!») председательский пост не только предоставлял ей возможности для «ответственных и свободных действий», но и являлся обнадеживающим предвестием ослабления ее зависимости от мужа, – не говоря уже о том, что с тех пор, как она

догадалась, каким образом можно сагитировать упирающихся сограждан на первую масштабную акцию Комитета и вместе с тем опять привязать к себе Эстера, ее самонадеянность, недостатка в которой она не испытывала и прежде, обрела невиданные масштабы; госпожа Эстер не сомневалась: она на верном пути, ведущем прямо к цели, и ничто не сможет остановить ее... Ибо замысел ее был безупречен и, «как все гениальное, прост», вот только, как это обычно бывает, не так-то легко было найти то единственное решение, которое вело к успеху, ведь она уже в самом начале, затеявая эту кампанию, ясно видела, что сломить безразличие и сопротивление горожан можно, только «подключив к делу» Эстера; если удастся привлечь его к этой работе и поставить во главе начинания, то пустой смехотворный девиз «ЧИСТЫЙ ДВОР, ОПРЯТНЫЙ ДОМ» обреченной на неудачу кампании тут же станет трамплином масштабного и реального массового движения. Да, но как это сделать? Вот в чем заключался вопрос. Ей потребовались недели, да что там недели – месяцы, пока, перебрав множество бесполезных идей от простых уговоров до грубого принуждения, она не нашла тот единственный способ, который должен был увенчаться успехом; зато потом, когда уже было ясно, что ей понадобятся только «этот добряк Валушка» да охладевшая к нему и оттого еще сильнее им обожаемая его мамаша – госпожа Пфлаум, на госпожу Эстер снизошло такое спокойствие, поколебать которое уже не могло ничто, и теперь, когда с дымящейся сигаретой в руке она сидела перед низенькой («...но еще вон какой грудастой!») хозяйкой среди мягких ковриков и до блеска надраенной мебели, ее даже несколько забавляло, что всякий раз, когда на пол шлепался очередной столбик пепла – а также когда она, одобрительно кивая, отправляла в рот вишенку иззабытого на столе компота, – госпожа Пфлаум вспыхивала «чуть ли не настоящим пламенем». Она с радостью сознавала, что эта беспомощная ярость хозяйки («А ведь она боится!») – довольная, констатировала госпожа Эстер) действует на нее успокаивающе, и, оглядываясь в загроможденной растениями комнате, уже чувствовала себя, как если бы находилась где-нибудь на лугу, на ниве, в диких зарослях, и снова воркующим голосом – теперь уж действительно чтобы развлечься – заметила с похвалой: «Это верно. Перенести природу в собственный дом – мечта каждого горожанина. Все мы так думаем, душа моя Пирошка». Но та не ответила и лишь

неохотно кивнула, из чего госпожа Эстер поняла, что пора переходить к делу. Конечно, согласие или несогласие госпожи Пфлаум на роль посредницы – а та и не догадывалась, что уже согласилась, не сумев воспрепятствовать вторжению гостьи в свою квартиру, ведь само посещение, собственно, и было «делом», – словом, ее готовность или неготовность большого значения не имели, и все же: после того как она тщательно описала ей всю ситуацию (в таком духе: «ты только не подумай, душа моя, что он нужен мне – Эстер нужен городу, ну а склонить его, человека, как всем известно, занятого, на сторону нашего дела способен только и исключительно твой добрый, твой замечательный сын...») и дружелюбнейшим, но все-таки острым взглядом глубоко заглянула в глаза госпоже Пфлаум, немедленный отказ последней вызвал в ней неподдельное изумление и досаду, потому что ей стало ясно: дело вовсе не в том, что отношения между Валушкой и госпожой Пфлаум «уже несколько лет как расстроились», и не в том, что она, госпожа Пфлаум, как бы ни было тяжело и горько ей говорить такое, считает своим «материнским долгом» отмежевываться от поступков «кстати, совсем не доброго, а прямо-таки неблагодарного и никчемного» сына, а в том, что она, словно бы сконцентрировав в своем «нет» всю досаду от полнейшей своей беспомощности, просто жаждала отомстить госпоже Эстер за обиды последних минут, за то, что она, Пирошка, – маленькая и слабая, а ее гостья – большая и сильная, за то, что при всем желании она не могла опровергнуть, что ее сын «днюет и ночует у Хагельмайера», что его почитают за местного дурачка, чьих способностей хватило только на то, чтобы подрядиться разносчиком газет на Городской почтамт, – и что все это она вынуждена выкладывать постороннему человеку, пользующемуся в ее кругу дурной славой. Ее поведение госпожа Эстер могла понять и так, что «эта козявка», госпожа Пфлаум, перед ней совершенно беспомощна, что могло бы служить некоторой сатисфакцией за то, что она была вынуждена без малого двадцать минут терпеть ее «безумно нервную улыбку и ханжеские глаза, однако госпожа Эстер отреагировала иначе: решительно вскочив с ядовито-зеленого кресла и на ходу бросив нечто вроде того, что ей, дескать, пора, она промчалась сквозь цветочные заросли комнаты, случайно снесла плечом со стены прихожей маленький гобелен, загасила в никогда не использовавшейся фарфоровой пепельнице

сигарету и в полном молчании нахлобучила на себя огромное дерматиновое пальто. Ибо хоть она и была человеком вполне хладнокровным и привыкла уже ничему в этом мире не удивляться, тем не менее когда находился кто-то, осмеливающийся сказать ей «нет», как это только что сделала госпожа Пфлаум, она – за отсутствием четкого представления, как поступать в таких обстоятельствах – тут же впадала в гнев. Ярость кипела в ней, она готова была рвать и метать, и неудивительно, что, когда госпожа Пфлаум, нервно ломая руки, обратилась к ней с путаными словами («Мне так беспокоит... сегодня вечером... возвращалась домой от сестер... и не узнала город... Может быть, кто-то знает, почему не горят фонари?.. Ведь раньше такого не было...»), она, щелкнув последней кнопкой пальто, сжала губы и, метнув сверкающий взгляд в потолок, чуть ли не заорала на перепуганную хозяйку: «Для беспокойства есть все основания. Мы находимся на пороге суровой, но более честной и откровенной эпохи. Грядут новые времена, моя дорогая Пирошка». При этих многозначительных словах, к тому же сопровождаемых угрожающим взмахом перста под конец тирады, лицо госпожи Пфлаум покрылось смертельной бледностью; но этого госпоже Эстер было недостаточно, потому что как ни приятно было ей видеть этот испуг и знать, что «грудастая пигалица», пока они будут спускаться по лестнице, пока она не закроет за нею дверь парадной, до последнего мига будет упорно надеяться все же услышать от безрассудно прогневанной гостьи хоть одно словечко, хоть что-нибудь утешительное, – ей хотелось большего, ибо это «нет!», ранившее самолюбие госпожи Эстер, словно вонзившаяся в дерево отравленная стрела, еще долго вибрировало в ее душе, так что пришлось ей, к стыду своему, признать, что вместо не слишком приятного – но все-таки пустякового – укола (ведь в конце концов она своей цели добилась, и что может по сравнению с этим значить какая-то ерунда!) она ощущает все более острую боль. А все дело вот в чем: если бы госпожа Пфлаум с энтузиазмом кивнула, как можно было ожидать, то она осталась бы просто марионеткой в свершающихся поверх ее головы событиях, к которым она не имела бы никакого отношения, и ее ничтожная роль в них, таким образом, была бы исчерпана, так нет же («Нет же!»), своим отказом она наглым образом возвысила ничемное свое существо чуть ли не до партнерской роли, иными

словами, эта мелкая сошка – карликовая на фоне бесспорного величия госпожи Эстер, – так сказать, уравнила ее с собственной ничтожностью, дабы тем отомстить посетительнице за ее ослепительное превосходство, которое она не могла ни одолеть, ни выдержать. И хотя переживание обиды длилось не бесконечно, все же нельзя сказать, что этот «демарш» забылся так уж легко, и позднее, когда – уже дома – она рассказывала о случившемся своему другу, то старалась вообще не касаться деталей, предпочитая говорить о том «умопомрачительно свежем воздухе», который, пахнув на нее, как только она покинула затхлый подъезд дома госпожи Пфлаум, оказал весьма благотворное воздействие на ее рассудок, и к тому времени, когда она добралась до лавки мясника Надабана, она была уже прежней госпожой Эстер: решительной и неприступной, абсолютно спокойной и преисполненной уверенности в своих силах. И это удивительное влияние мороза, окрепшего уже до минус шестнадцати, на ее расстроенные нервы вовсе не было преувеличением, потому что госпожа Эстер и правда принадлежала к породе людей, которых «весна, а уж тем паче лето, просто убивают», томительное тепло, изнуряющая жара, жгучее солнце приводят их в ужас, вызывают мучительные мигрени и сильные кровотечения; то есть она была не из тех, кто, сидя у печки, думает о морозе как каком-то вселенском Зле, мороз для них – нормальная жизненная среда, они словно бы воскресают, как только он ударит, как только задует полярный ветер; лишь зима обостряет их зрение, остужает неуправляемые порывы и наводит порядок в хороводе бессвязных мыслей, спутанных летним зноем; именно так произошло теперь и с госпожой Эстер, идущей навстречу колючему ветру вдоль проспекта барона Венкхейма: неожиданно ранний – и для хилого большинства жестокий – мороз упорядочивал ее мысли, помогая со вновь обретенным достоинством переварить в себе желчный ответ госпожи Пфлаум. И мало-помалу внимание ее переключилось на другие вещи: ощущая, как стужа приятно пронизывает каждую ее клеточку, госпожа Эстер все более свободно, как какое-то перышко, толкала перед собою по прямому, будто стрела, проспекту свое стопудовое самолюбие, с удовлетворением отмечая, что необратимый процесс разрушения, разложения и распада продолжается своим порядком и что круг вещей, которые еще можно было назвать живыми и действующими, на глазах

сужается; ей казалось, что даже дома в своей бесконечной заброшенности замерли в ожидании неотвратимой судьбы, ибо здания и жильцов уже ничто не объединяло: огромными кусками со стен падала штукатурка, изъеденные жучками оконные переплеты перекошились, все больше домов по обе стороны улицы стояли с провалившимися крышами, и это значило, что даже балочные конструкции – точно так же как камень, кости, земля – постепенно утрачивают внутреннюю прочность; сваливаемый на дорогах и тротуарах мусор, вывозить который никто не хотел, постепенно устилал город, вокруг растущих куч шныряли расплодившиеся в невероятном количестве кошки, которые по ночам, в сущности, брали улицы под свой контроль; эти твари осмелели настолько, что даже перед грузно шагавшей госпожой Эстер их разжиревшие своры нехотя расступались только в самый последний момент. Она все это видела, видела ржавые жалюзи на витринах запертых уже не одну неделю лавок, видела хлысты слепых уличных фонарей, брошенные автобусы, автомобили с пустыми баками... и по спине ее пробегало восторженное щекочущее ощущение, ведь этот неудержимый распад давно уже означал для нее не разочаровывающий финал, а другую реальность, ту, которой вскоре уступит место сей обреченный мир, то есть не завершение, а некое начало, материал, сырье нового, «основанного не на отвратительной лжи, а на жестокой правде» порядка, который превыше всего будет ставить «физическое совершенство и захватывающую силу и красоту энергичного действия». И вот она уже озирала город глазами будущей хозяйки и бесстрашной преемницы, и ее убежденность в том, что она на пороге «обнадеживающе новой и радикально иной эпохи», подтверждалась не только прозаическими приметами разрушения старого мира, но также изрядным количеством – случающихся что ни день – необъяснимых и в своей необычности праздничных происшествий, которые ясно указывали на то, что неизбежное обновление, если все же не хватит для этого «совокупности боевых человеческих устремлений», будет проведено в жизнь таинственной и безмерной властью Небес. Не далее как позавчера опаснейшим образом закачалась – и раскачивалась над приземистыми окрестными домиками на протяжении долгих минут – огромная водонапорная башня в отдаленном углу Народного сада, что, по мнению преподавателя физики из местной гимназии и по

совместительству сотрудника оборудованной на вершине башни астрономической обсерватории, который прервал свою многочасовую партию в одиночные шахматы и сломя голову бросился с этим известием вниз, было «совершенно необъяснимым». Вчера людей напугали (а госпожу Эстер взбудоражили!) десятилетиями неподвижные часы католической церкви, что на центральной площади, ибо три из четырех ржавых механизмов, даром что в свое время с них были сорваны даже стрелки, неожиданно заработали и с тех пор, со все более короткими интервалами между глухими ударами, отмеряют быстротекущее время. Госпожа Эстер нисколько не удивилась, когда у гостиницы «Комло», на углу проспекта и переулка Семи вождей, уперлась взглядом в огромный тополь, ведь она уже с вечера ожидала чего-то подобного, убежденная в том, что без нового «зловещего знака» не пройдет и нынешний день. Этот колосс высотой около двадцати метров, хранивший на своем стволе следы былых наводнений, когда разливался протекающий неподалеку от города Кёрёш, это мощное древо – роскошное убежище для воробьиных стай и радующая глаз многим поколениям достопримечательность города – безжизненно лежало, упав через улицу на фасад гостиницы, и не рухнуло вдоль переулка Семи вождей только по той причине, что голые ветки кроны, зацепившись за частично оторванный водосток, задержали его на полпути; и упало оно не по той причине, что было сломлено ураганным порывом ветра или подточено короедами и многолетними гнилостными дождями, – оно просто выворотилось с корнями, взломав бетон тротуара, из твердой как камень земли и наискосок перегородило темный проем переулка. Разумеется, можно было предполагать, что дряхлый мафусаил однажды – в конце концов – рухнет, но тот факт, что конец этот наступил *именно теперь*, что *именно теперь* корни отпустили землю, имел, по мнению госпожи Эстер, особенное значение. Обозрев внушающее ужас зрелище, она с понимающей улыбкой заметила: «Ну понятно. Все как по заказу!» – и с той же блуждающей в уголках рта улыбкой двинулась дальше, убежденная в том, что черед «знамений» еще далеко не иссякла. И она не ошиблась. Через несколько метров, на углу Прибрежной улицы, ее взгляд, выискивающий очередные странности, натолкнулся на небольшую группу молчаливо стоявших людей, чье присутствие здесь в этот час – ибо кто же осмелится высунуться из дома ночью в

погруженном в темноту городе! – было совершенно необъяснимо. Что за люди, чего они ищут здесь на ночь глядя, она не могла себе объяснить, да особенно и не ломала голову, потому что и в этом – точно так же как в историях с водонапорной башней, с часами на колокольне и с тополем – тут же почуяла волнуемое предвестие подъема после падения, возрождения после упадка; когда же, дойдя до конца проспекта, она оказалась меж голых акаций на площади Кошута, где обнаружила новые группы застывших в молчаливом ожидании людей, ее охватило жаром и будто громом ударило: да неужто же спустя долгие месяцы («Годы! Годы!..») неустанных надежд («В самом деле!..») наступает решающий момент, когда подготовка к действию уступит место собственно действию и «свершится пророчество». Насколько ей было видно с этого края рыночной площади, на покрытом ледяной коркой газоне, группами по двое, по трое, стояло человек пятьдесят-шестьдесят; на ногах у мужчин – сапоги или башмаки, на головах – треухи или засаленные крестьянские шляпы. Там и тут во тьме вспыхивали сигареты. Даже без света нетрудно было заметить, что публика это не местная, и само по себе зрелище пятидесяти или шестидесяти незнакомцев, стоявших в начале ночи на трескучем морозе, было очень странным. Еще более странной казалась их молчаливая неподвижность, и госпожа Эстер, замерев в том месте, где улица выходила на площадь, смотрела на них словно замороженная, как будто это были переодетые ангелы апокалипсиса. Чтобы кратчайшим путем добраться до своей квартиры, которая находилась в переулке Гонведов на противоположном конце рынка, ей нужно было пересечь площадь по диагонали, то есть пройти сквозь толпу, однако в невольном своем восторге, к которому примешивалась и толика – но действительно только толика! – страха, она предпочла, скользя тенью и затаив дыхание, обогнуть молчаливое сборище по периметру. Не сказать, чтобы она была ошеломлена увиденным, когда, добравшись до переулка, оглянулась еще раз на площадь и заметила там исполинских размеров автоприцеп цирка, о гастролях которого объявили еще несколько дней назад, правда, без указания на точное время прибытия, – нет, зрелище это не ошеломило ее, а скорее разочаровало, ведь она немедленно поняла: никакие это не «ряженные провозвестники новых времен», а скорее всего «мерзкие спекулянты», которые в своей ненасытной алчности готовы всю ночь проторчать на

морозе, чтобы неплохо подзаработать, скупив все билеты утром, сразу после открытия кассы. Разочарование ее было тем более горьким, что внезапное отрезвление от бредовых фантазий развеяло и вкус неподдельной и гордой радости, которую лично она испытала, добившись, чтобы эта, по слухам, безупречная цирковая труппа смогла вообще появиться в их городе: то была, как она полагала, ее первая внушительная победа на общественном поприще, когда примерно неделю назад она – при всемерной поддержке шефа полиции – сумела сломить противодействие трусоватых членов городской управы, которые утверждали, ссылаясь на всякие сплетни и кривотолки, доходившие из окрестных селений, что странная эта компания повсюду провоцировала панику, а в некоторых местах даже настоящие беспорядки, и ни под каким видом не желали пускать их в город. О да, то была ее первая значительная победа (многие говорили даже, что ее речь о «неотъемлемом праве граждан на удовлетворение естественного любопытства» в пору было печатать в газетах), однако теперь она все-таки не могла вволю насладиться своим триумфом, ибо именно из-за цирка, точнее, из-за того, что госпожа Эстер обнаружила его с таким опозданием, она, сказать откровенно, попала впросак, приняв слонявшихся вокруг него подозрительных субъектов совсем за другую публику. И поскольку сознание этой неловкости ощущалось ею острее, чем притягательная загадочность циклопического фургона, она не направилась к нему, чтобы, уступая «естественному любопытству», осмотреть экзотический транспорт, во всех отношениях подтверждающий распространявшиеся о нем слухи, а с презрительной улыбкой повернулась спиной к «вонючему киту и сопровождавшим его негодьям» и, гулко стуча каблуками, зашагала по узкому тротуару к дому. Разумеется, и на этот раз, как и после столкновения с госпожой Пфлаум, в ее гневе огня было меньше, чем дыма, и ко времени, когда она дошагала до конца переулка Гонведов и захлопнула за собой дряхлую калитку, чувство разочарования уже иссякло, ведь стоило ей только подумать, что уже со следующего дня она наконец будет не жертвой судьбы, а ее полновластной хозяйкой, как дышать стало легче и она вновь почувствовала себя самой собой – женщиной, решительно отметающей всякого рода сомнительные фантазии, ибо «жаждет победы и никому ее не уступит». Переднюю половину дома занимала хозяйка – приторговывавшая вином старуха, а

заднее помещение этой ветхой одноэтажной хибары снимала госпожа Эстер, и хотя этому помещению явно не помешал бы некоторый ремонт, она не роптала: ведь невзирая на то что низенький потолок не давал ей возможности, как хотелось бы, во весь рост распрямиться и, стало быть, затруднял передвижения по комнате, да и толком не закрывающиеся створки махонького окна оставляли желать лучшего, не говоря уж о штукатурке, кусками отваливающейся от пропитанных влагой стен, госпожа Эстер оставалась непреклонной сторонницей так называемой невзыскательности и на столь ничтожные пустяки просто не обращала внимания, так как, по глубочайшему ее убеждению, если в «жилом помещении» имеются шкаф, кровать, освещение, тазик и его не заливают дождем, то оно в полной мере отвечает разумным потребностям. В соответствии с этими представлениями, кроме огромной кровати с панцирной сеткой, одностворчатого платяного шкафа, таза на табуретке, кувшина, а также люстры с чьим-то фамильным гербом, в комнате не было никаких излишеств вроде ковриков, занавесок или зеркал – обстановку дополняли только строганый кухонный стол и стул, потерявший спинку, потребные для приема пищи и ведения множащихся деловых бумаг, складной нотный пюпитр для домашних упражнений, а также напольная вешалка, дабы гостю, ежели таковой здесь объявится, было куда повесить одежду. Правда, гостей она принимать перестала с тех пор, как познакомилась с полицмейстером, зато последний заявлялся сюда каждый вечер, ибо с того момента, когда ей вскружили голову его ремень с португеей, до блеска начищенные сапоги и револьвер на поясе, она рассматривала его не только как близкого друга, мужчину, способного в трудный час поддержать одинокую женщину, но и как верного союзника, которому она без риска могла доверить самые тягостные свои заботы и даже душу излить в редкие моменты слабости. Вместе с тем отношения их, несмотря на согласие в главных вопросах, были не безоблачными, ибо «трагические семейные обстоятельства» – потеря жены, ушедшей в расцвете сил и оставившей на его попечение двух маленьких сыновей, – к сожалению, сделали полицмейстера, человека и так-то неуравновешенного и склонного к тихой депрессии, рабом алкоголя, и хотя он, конечно, не отрицал, когда его припирали к стенке вопросами, что истинным утешением в скорби ему служит только женское тепло госпожи Эстер, освободиться от этого рабства ему по сей день так и

неудалось. Именно по сей день, ибо друг госпожи Эстер должен был, вообще-то, явиться гораздо раньше нее, и имелись все опасения, что обычная хандра опять мучит его в какой-нибудь из окраинных забегаловок; по этой причине, заслышав шаги снаружи, она направилась прямо к кухонному столу и уже потянулась за питьевой содой и уксусной кислотой, зная по опыту, что спасительным снадобьем и на этот раз послужит весьма, к сожаленью, распространенный в их городе антидот, именуемый в народе «гусиным фречем», – одним словом, шипучка, которая, по ее представлениям, расходившимся с общепринятыми, помогала не только с похмелья, но и – при принятии рвотной дозы – непосредственно в день попойки. Однако, к ее удивлению, на пороге стоял не полицмейстер, а Харрер, квартирохозяин Валушки, каменщик, которого из-за отдаленного сходства его рябой рожи с ястребом в городе называли просто Стервятником; точнее, как обнаружилось, он уже не стоял, а лежал, ибо именно в тот момент, когда он, отчаянно замахав руками, попытался ухватиться за ручку двери, у Харрера отказали ноги, уставшие бесконечно поддерживать его постоянно терявшее равновесие тело. «Вы чего развалились тут?» – гневно рявкнула на него женщина, но Харрер не шевельнулся. Он был маленьким и невзрачным – в той позе, в которой человек этот лежал сейчас на пороге, скрючившись и подтянув под себя обмякшие ноги, он, наверное, поместился бы в корзине для овощей – и так сильно вонял дешевой виноградной палинкой, что спустя минуту жуткий запах, заполонив весь двор, проник через щели внутрь дома и даже поднял из постели старуху, которая, выглянув из-за занавески во двор, с неудовольствием проворчала: «Уж лучше бы, сволочи, пили вино». Но к этому времени Харрер, словно бы передумав, пришел в сознание и с такой ловкостью вскочил на ноги, что госпожа Эстер подумала, будто он дурачился. Но тут же ей стало ясно, что это вовсе не так, потому что опасно раскачивающийся каменщик, с бутылкой палинки в одной длани и с резво выхваченным из-за спины маленьким букетиком – в другой, вперил в нее взгляд, в коем не было даже намека на несерьезность, точно так же как не было даже искры сочувствия в душе госпожи Эстер, когда она, уяснив из сбивчивых речей Харрера, что он просто хотел бы, чтобы госпожа Эстер, как бывало, вновь заключила его в свои объятия (потому как: «Вы, душа моя, только вы

способны утешить разбитое сердце!..»), ухватила его за ватные плечики, подняла в воздух и без шуток швырнула в сторону калитки. Тяжелое пальто, словно полупустой мешок, в котором болтается что-то непонятное, приземлилось в нескольких метрах от двери (как раз под окном старухи, которая, изумленно качая головой, все еще выглядывала из-за занавески), и Харрер, хотя и не был вполне уверен, что это новое падение как-то существенно отличается от предшествующих, все же, видимо, что-то почувствовал и задал стрекача; а госпожа Эстер вернулась в комнату, повернула ключ в замке и, чтобы вычеркнуть из памяти пережитое оскорбление, включила валявшийся рядом с кроватью карманный приемник. Зазвучавшие из приемника дурманящие мелодии – на сей раз из программы «Родные напевы», – как обычно, подействовали на нее благотворно, и мало-помалу ей удалось унять кипящее возмущение, в чем она крайне нуждалась, ибо, даром что ей было не в диковину и она могла бы привыкнуть, что отдельные – кстати, и сами неверные – бывшие фавориты иногда нарушали ее ночной покой, она все-таки всякий раз приходила в ярость, когда кто-то из них, как, например, тот же Харрер (с коим некогда – «В оные времена!» – она была не прочь поразвлечься), «игнорировал ее новое положение в обществе», не позволявшее ей больше легкомысленного флирта, ибо враг, который так и стоял перед ее глазами, «только о том и мечтал». Да, она нуждалась в душевном покое, чтобы завтрашний день, когда будет решаться судьба целого движения, встретить полностью отдохнувшей, а потому, когда во дворе послышались знакомые шаги полицмейстера, ее первым желанием было, чтобы он убирался лучше домой со всеми своими ремнями и портупеями, сапогами и пистолетами и прочими причиндалами; но едва она, открыв дверь, окинула взглядом мужчину – довольно невзрачного, на добрых две головы ниже нее и, к слову, опять сильно выпившего, – как вдруг ею овладело совсем другое желание, ибо тот достаточно твердо держался на ногах и не принялся тут же орать на нее, а стоял, будто «леопард, изготовившийся к прыжку», с тем боевитым видом, по которому она тотчас же поняла: тут потребуются не шипучка, а ее пылкая самоотдача, ибо ее товарищ, друг и единомышленник – превзойдя ее самые смелые ожидания на нынешний вечер – явился, словно оголодавший воин, снедаемый страстью, перед которой ей – она чувствовала – не устоять и на этот

раз. Конечно, она не могла сказать, будто мужской напор полицмейстера не всегда был достаточно мощным или будто она, подруга, «должным образом не ценила этого человека, который, не снимая сапог, силился вознести даму сердца на часто недостижимую вершину блаженства», но куда более ценными ей представлялись, конечно, те случаи, когда способность, скажем прямо, не выдающаяся, решительно обещала – как и на этот раз – значительно превзойти себя. Поэтому она не сказала ни слова, не потребовала объяснений и не прогнала его, а без дальних разговоров, под огнем все более пылких, все более многообещающих взглядов своего партнера, неторопливо вышагнула из юбки, небрежно сбросила на пол нижнее белье и, облачившись в тонкий полупрозрачный оранжевый бэби-долл, к которому полицмейстер питал особую слабость, забралась на кровать и, застенчиво улыбнувшись, как по команде встала на четвереньки. Тем временем ее «товарищ, друг и единомышленник» тоже сорвал с себя все доспехи, щелкнул выключателем и – в тяжелых сапогах, с привычным воплем «В атаку!» – бросился на нее. И, надо сказать, не разочаровал госпожу Эстер: за несколько минут полицмейстеру удалось избавить ее от сумбурных воспоминаний минувшего вечера, и когда после бурного совокупления оба, тяжело дыша, рухнули на кровать и она – с вульгарной прямоотой выразив постепенно трезвеющему напарнику свою признательность – без ненужных подробностей описала ему свои встречи с госпожой Пфлаум и с этим «отребьем» на рыночной площади, по всему ее необъятному телу разлился сладкий покой, и в душе окрепла уверенность не только в завтрашнем успехе, но и в том, что теперь уж никто не сумеет остановить ее на пути к окончательному триумфу. Она подтерлась, выпила стакан воды и снова упала на скомканную постель, лишь вполуха прислушиваясь к бессвязному бормотанию полицмейстера, ибо сейчас для нее не было ничего более важного, чем этот «сладкий покой» и «уверенная безмятежность», чем те блаженные весточки, которые радостно доставляло ей тело из самых отдаленных своих закоулков. Разве ей интересно было слушать о каком-то «пузатом директоре цирка», который так долго задерживал ее друга, «согласовывая» с ним некое «мероприятие», и какое ей было дело до того, что этот, по признанию полицмейстера, «до мозга костей джентльмен», элегантный, хотя и немного воняющий рыбой директор

всемирно известной труппы – с непочатой бутылкой «Курвуазье» в руках – как истинный приверженец общественного порядка даже бесхитростно предложил полиции взять на себя (письменно зафиксировав этот факт в соответствующем документе) обеспечение безопасности в ходе трехдневных гастролей? Ведь она лишь сейчас вполне ощутила, что когда «просит слова плоть», то все остальное не в счет, и нет ничего более восхитительного и возвышенного, чем когда твои ляжки, задница, промежность и груди не желают уже ничего, кроме сладких объятий Морфея. Она была так довольна, что призналась ему: сегодня он ей больше не понадобится, и поэтому – прибавив несколько добрых материнских советов насчет «сироток» – распрощалась с нехотя и далеко не с первой попытки выбравшимся из-под теплого одеяла приятелем, о котором она, провожая его до двери, думала если не с любовью (таких романтических глупостей она всегда избегала), то, во всяком случае, с чувством гордости; а когда ее милый растворился в морозном тумане, она тут же сменила завлекательный бэби-долл на теплую байковую ночную рубашку и нырнула обратно в постель, чтобы наконец «приклонить голову на подушку». Поправив локтем сбившуюся за спиной простыню и подтянув ногами сползшее одеяло, она в поисках удобной позы повернулась сперва на левый, затем на правый бок и, уткнув лицо в теплую мягкую руку, закрыла глаза. На сон она никогда не жаловалась, вот и сейчас спустя несколько минут задремала, и легкие подергивания ее ног, медленные движения глазных яблок под тонкими веками и все более ритмично вздымающееся и опадающее одеяло давали понять, что она уже вряд ли осознаёт, что́ вокруг нее происходит, и все более отдаляется от той жесткой силы, которая сейчас угасает, но завтра воспрянет вновь, и которая в часы бодрствования еще внушала ей, что она – единственная хозяйка и повелительница всех этих убогих и скудных вещей. Уже не было видно ни таза, ни стакана, приготовленного для шипучки, куда-то пропали и платяной шкаф, и вешалка, и заброшенное в угол заляпанное полотенце, для нее уже не существовало ни стен, ни пола, ни потолка, да она и сама была уже в лучшем случае вещью среди мириад других беззащитных вещей, телом, которое каждой ночью вновь и вновь возвращается к тем печальным вратам бытия, через которые можно пройти лишь однажды, но тогда уже безвозвратно. Она неосознанно почесала шею, на мгновение лицо ее исказила гримаса,

неизвестно кому предназначенная; как ребенок, с трудом успокаивающийся после плача, она прерывисто повздыхала – но и это уже ничего не значило, будучи просто попыткой нащупать правильный ритм дыхания; мышцы ее обмякли, нижняя челюсть – словно у умирающего – постепенно отвисла, и к тому времени, как полицмейстер по обжигающему морозу добрался до дома и не раздеваясь упал на кровать рядом с двумя давно спящими мальчиками, она уже пребывала в липкой материи сновидения... В густой темноте ее комнаты, казалось, все неподвижно замерло: грязная вода в эмалированном умывальном тазу даже не колыхнется, на трех крюках металлической вешалки, будто тяжелые свиные ребра над мясным прилавком, бессильно повисли свитер, халат и ватник, и даже увесистая связка ключей, свисающая из замка, перестала раскачиваться, окончательно исчерпав энергию, сообщенную госпожой Эстер. И, словно они только того и ждали, словно именно эта полная неподвижность и полное спокойствие были для них сигналом, в мертвой тишине из-под кровати госпожи Эстер (или, может быть, прямо из тишины) выбрались три молодые крысы. Сперва осторожно выкарабкалась первая, за ней, немного спустя, еще две, и тут же вся троица, подняв маленькие головки, застыла, готовая к бегству; затем они бесшумно двинулись дальше и, поминутно останавливаясь от переполняющего их векового страха, обошли всю комнату. Как отважные лазутчики наступающей армии, которые перед штурмом изучают в расположении врага, что там и как, что опасно и что безопасно, исследовали они плинтусы, углы с осыпающейся штукатуркой, широкие щели между прогнившими половицами, словно бы измеряя точное расстояние между их убежищем под кроватью и дверью, между столом и шкафом, между чуть покосившимся табуретом и подоконником, – и вдруг, ни к чему так и не прикоснувшись, они стремглав бросились под задвинутую в угол кровать и одна за другой юркнули в лаз в стене, который вел на волю. Достаточно было минуты, чтобы стала понятна причина их внезапного отступления: еще до того, как нечто произошло, они уже безошибочно знали, что это произойдет, точнее, само событие было непредсказуемым – просто четко сработал инстинкт, побудивший их к молниеносному бегству. Дело в том, что госпожа Эстер, нарушив безупречную до этого тишину, пошевелилась гораздо позже, чем они

обратились в бегство, и когда она поднялась ненадолго из морских глубин сна в те поверхностные слои, сквозь которые уже маячил свет бодрствования, и, потянувшись, словно бы собираясь встать, ногой сбросила с себя одеяло, три крысы сидели уже в безопасности под наружной стеной с тыльной стороны дома. Однако о пробуждении пока не могло быть и речи, и она – несколько раз тяжело вздохнув – вновь погрузилась в морские глубины, откуда только что поднялась. Тело ее – быть может, как раз потому, что теперь оно обнажилось – казалось даже более внушительным, чем было на самом деле, слишком большим для кровати и для всей этой комнаты: как огромный палеозавр в крошечном музее, настолько огромный, что непонятно, как он туда попал, ибо двери и окна для этого слишком малы. Лежала она на спине, раскинув ноги, бочкообразное брюхо – подобающее скорее старому мужику – поднималось и опадало, как какой-то ленивый насос; ночная рубашка, задравшаяся до талии, больше не грела, поэтому живот и толстые ляжки покрылись в остывшем помещении гусиной кожей. Но озноб ощущала пока только кожа, сама спящая женщина его долго не чувствовала; поскольку шум больше не повторился, как не было и каких-то других тревожных сигналов, то три крысы отважились снова проникнуть в комнату и теперь чуть смелее, но все же с предельной бдительностью, готовые броситься наутек, разведанными уже путями опять пробежали несколько раз по комнате. Они были столь проворны и настолько бесшумны в беге, что своими телами почти не переступали зыбкую грань реального бытия и, не отрываясь ни на мгновение от собственной ускользающей пятнообразности, постоянно балансировали на этой опасной границе, чтобы никто не мог догадаться, что темные сгустки во мраке комнаты – не рябь в усталых глазах, не бегущие понизу тени бестелесных полночных птиц, а три загадочно осторожных зверька, отчаянно ищущих себе пропитание. Ибо именно затем они сюда и явились, и затем, едва спящая успокоилась, вернулись назад, пускай и не вскочили сразу на стол, на котором среди разбросанных крошек лежало полбуханки хлеба, а сперва убедились в том, что им не грозит неожиданности. Они начали с корки, но вскоре, с нарастающим наслаждением зарываясь в хлеб острыми носиками, уже перешли на мякиш, и хотя в их быстрых движениях не было никакой суеты, хлеб, толкаемый с трех сторон и изрядно уже объединенный, в конце концов

все же свалился с края стола и закатился под табуретку. При звуке удара все они, разумеется, замерли и вскинули мордочки, прислушиваясь и изготовившись к бегству, но от кровати не донеслось ни шороха, слышалось только размеренное дыхание госпожи Эстер, поэтому – выждав с минуту – они шустро спрыгнули на пол и шмыгнули под табурет. И как выяснилось, этак было даже удобней, ибо мало того, что царивший внизу более плотный мрак лучше скрывал их, так они еще незаметней, с еще меньшим риском смогли драпануть под кровать, а оттуда – на волю, когда их непогрешимое сверхъестественное чутье подсказало им, что следует, теперь уже окончательно, распрощаться с изгрызенной до неузнаваемости горбушкой. Дело в том, что ночь была уже на исходе, за окном хрипло заголосил петух и залаяла чья-то дурная собака, и среди великого множества беспокойных спящих – чувствуя близость рассвета – начала смотреть свой последний сон и госпожа Эстер. Три крысы вместе со своими многочисленными сородичами уже копошились среди мерзлых кукурузных кочерыжек в обветшалом сарае соседнего дома, когда она – словно бы ужаснувшись при виде чего-то страшного – дико вскрикнула, содрогнулась, замотала головой на подушке и с перепуганными глазами села. Она тяжело дышала, взгляд ее метался по комнате, в которой только-только забрезжил свет, но потом, осознав, где она находится, и догадавшись, что всего произошедшего с ней больше не существует, женщина потеряла горящие глаза, помассировала покрытые гусиной кожей члены и, натянув на себя соскользнувшее одеяло, с облегченным вздохом откинулась на кровати. Однако снова заснуть она не смогла, потому что, как только в сознании рассеялся ночной кошмар и она вспомнила о том деле, которое ожидало ее в этот день, по телу ее пробежало сладостное волнение, которое не позволило ей даже задремать. Она чувствовала себя отдохнувшей и энергичной и решила, что должна сию же минуту встать, а поскольку была человеком, убежденным, что за решением должно следовать действие, то без колебаний выбралась из-под одеяла, на мгновение неуверенно застыла на ледяном полу, но затем набросила на себя телогрейку, подхватила пустой кувшин и вышла во двор, чтобы принести воды для умывания. Полной грудью вдохнув в себя стылый воздух, она вскинула взор на купол из серых тоскливых туч и спросила себя, есть ли, может ли быть что-то более вдохновляющее, чем эти

мужественные и нещадные зимние зори, когда трусливо хоронится все бессильное и делает шаг вперед все, «что достойно жизни». Если было на свете что-то милое ее сердцу, так именно это: помертвевшая от мороза земля, острый, как бритва, воздух и безапелляционная твердь наверху, которая, как стена, холодно отражает все склонные к заоблачному парению взгляды, дабы глаз чего доброго не заблудился в иллюзорной и без того панораме безмерного небосклона. Она подставлялась морозному ветру, жалившему ее на каждом шагу, когда разлетались в стороны полы ватника, и хотя холод тут же пробрал ее голые ноги в стоптанных деревянных шлепанцах, она и не думала ускорять шаг. Мысли ее уже были сосредоточены на воде, которая смывает с нее остатки постельного тепла, но тут – вопреки надеждам, что умывание будет кульминацией утренних процедур – ее ожидало разочарование: водоразборная колонка, хотя и была еще вчера обернута всяким тряпьем и газетами, на морозе не функционировала, поэтому ей пришлось вернуться к тазу, разогнать на оставшейся с вечера грязной воде мыльную пленку и вместо полноценного умывания слегка увлажнить лицо и свои худосочные груди; что касалось заросшей интимной части, то ей пришлось по-походному насухо подтереться – ведь, в конце концов, «не может же человек присаживаться, как обычно, над тазом, когда в нем такая вода». Разумеется, она была недовольна, что пришлось отказать себе в ледяном блаженстве, однако подобные мелочи («В такой день...») уже не могли испортить ей настроение; покончив с вытиранием, она представила себе огорошенное лицо Эстера, когда спустя несколько часов он склонится над открытым чемоданом, и принялась деловито хлопотать по дому, отмахнувшись от неприятной мысли, что, возможно, теперь целый день «будет благоухать». Все у нее горело в руках, и к тому времени, когда за окном совсем рассвело, она не только оделась, подмела пол и застелила постель, но, обнаружив следы ночного разбоя (на виновников коего она не особенно и сердилась, потому что, во-первых, подобные вещи были ей не в диковинку, а во-вторых, к этим маленьким хулиганам она испытывала симпатию), присыпала остатки их пиршества «добрым крысиным ядом» – чтоб они обожрались насмерть, «эти славные твари», если посмеют еще раз сунуться в ее комнату. И когда уже нечего больше было приводить в порядок, класть на место, поднимать, поправлять, она с

торжествующим видом и снисходительной улыбочкой в уголках рта сняла с платяного шкафа обшарпанный чемодан, откинула крышку, опустилась рядом с ним на колени и, обведя глазами разложенные по полкам шкафа ровные стопки блузок и полотенец, нижнего белья и чулок, быстро, за пару минут, переместила все это в объемистое нутро чемодана. Защелкнуть поржавевшие замки, надеть пальто и с непривычно легким на этот раз чемоданом наконец отправиться, наконец, после долгих скрытных приготовлений, приступить к делу – вот о чем она так давно мечтала, и сама эта возбуждающая мечта некоторым образом объясняла то нереально преувеличенное значение, которое она придавала этой своей, явно перестраховочной, акции. Ибо, конечно же, все эти скрупулезные расчеты и неоправданная осмотрительность – как она и сама поняла позднее – были совершенно излишними, ведь всего-то и требовалось, чтобы в хорошо знакомом ему чемодане вместо выстиранных трусов, носков, маек и рубашек обнаружилось нечто совсем неожиданное, а именно «первое и последнее предупреждение осознавшей свои права жертвы», и если этот нынешний день чем-то и отличался от предыдущих, то только тем, что от войны – против Эстера и «за лучшее будущее», – которая велась из укрытия, она перешла теперь к открытому наступлению. Но пока что здесь, на обледенелом тротуаре переулка Гонведов, в момент, когда удушливая атмосфера пассивного выжидания сменилась головокружительным свежим ветром действия, никакая расчетливость и обдуманность не казались ей лишними, а потому, устремившись как на парах к рыночной площади, она, взвешивая слова, вновь и вновь оттачивала те фразы, которыми, когда доберется до места, должна будет прямо-таки обезоружить Валушку. Сомнений она не испытывала, неожиданного поворота событий не опасалась и была настолько уверена в себе, насколько это вообще возможно, и все же: каждым нервом своим, каждой клеточкой она была так погружена в предстоящую встречу, что, дойдя до площади Кошута и увидев, что кучка «мерзких спекулянтов» билетами с прошлой ночи превратилась в безумных размеров толпу, она вместо естественного недоумения почувствовала досаду, испугавшись, что без ближнего боя пробиться сквозь эту толпу не получится, между тем как «потеря времени – в такой ситуации! – совершенно недопустима». Но выбора не было, и пришлось пробиваться сквозь сборище молчаливых (и, поскольку они

ей мешали, резко не симпатичных ей) типов, которые заполнили уже не только площадь, но отчасти и прилегающие улицы; так что пришлось ей, то используя чемодан в качестве тарана, то поднимая его над головой, проталкиваться среди них в сторону Мостовой улицы, уворачиваясь не только от злобно сверкающих взглядов, но и от тянущихся к ней хватких рук. В основном люди были не местные, вероятно, мужики из окрестных сел, съехавшиеся поглазеть на кита, подумала госпожа Эстер, но был некий неприятный налет нездешности и на лицах тех нескольких местных, которых – поскольку они проживали в предместьях города – она знала в лицо, встречая их в толчее еженедельных базаров. Циркачи, насколько она могла судить из толпы и с немалого расстояния, отделявшего ее от фургона, пока что не подали никакого знака, что скоро откроют свой небывалый аттракцион, и поскольку ледяное напряжение, искрившееся в обращенных к ней взглядах, она связывала именно с этим, раздраженное нетерпение публики ее не особенно волновало, больше того, на какую-нибудь минуту ее даже охватило гордое чувство удовлетворения, которое ей не дано было испытать вчера, что вся эта прорва народу, все до единого, хотя и не знают об этом, должны быть благодарны ей, без чьего решительного вмешательства не было бы «ни цирка, ни кита, никаких вообще представлений». Но все это длилось всего минуту, ибо как только госпожа Эстер миновала толпу и двинулась мимо старых домов Мостовой улицы к площади Вильмоша Апора, она строго напомнила себе, что должна сейчас сконцентрироваться совсем на другом предмете. Еще яростней стиснула она скрипучую чемоданную ручку, еще воинственной застучала подметками по камням тротуара, и вскоре ей удалось вернуться к досадным образом прерванному ходу мысли и так углубиться опять в лабиринт предназначенных для Валушки слов, что, встретив двух (следовавших, вероятно, к рынку) рядовых полицейских, которые уважительно поздоровались с ней, она даже не ответила на приветствие, а когда, спохватившись, рассеянно помахала им, те были уже далеко. Однако едва она добралась до места, где Мостовая улица выходила к площади Апора, ее размышления застопорились, ибо ход ее мысли благополучно пришел к своему завершению; она полагала, что все нужные слова и выражения уже находятся в полном ее распоряжении и, что бы ни случилось, ничто не

застанет ее врасплох: десятки раз она прокрутила в воображении, с чего начнет она и что ответит на это другой, и поскольку другого она знала столь же хорошо, как и самое себя, то теперь, завершив окончательную отделку сногшибательного, как ей представлялось, сооружения из самых что ни на есть эффектных фраз, она не только надеялась на благоприятный исход последующих событий, но была совершенно уверена в нем. Ей достаточно было представить себе это жалкое существо – впалую грудь, сутулую спину, гусиную шею и лицо с этими его «бархатными гляделками», – достаточно было увидеть перед собой, как он своей утиной походкой, с громадной почтальонской сумкой на боку, семенит вдоль домов, время от времени останавливается и, повесив голову, разглядывает под ногами то, что, кроме него, никому не видно, и у нее уже не было никаких сомнений: Валушка сделает все, чего от него ожидают. «А если не сделает, – холодно усмехнулась она, перекидывая чемодан в другую руку, – то придется врезать ему по протухшим яйцам. Доходяга. Ничтожество. Башку ему оторву». У принадлежащего Харреру дома под шатровой крышей она остановилась и, взглянув на осколки стекла, вцементированные по верху ограды, отворила калитку с таким видом, чтобы Харреру, который своим «ястребиным глазом» тут же заметил ее в окно, было предельно ясно: ей сейчас не до разговоров и «всякий, кто встанет у нее на пути, будет без предупреждения растоптан в труху». И для вящей убедительности даже потрясла чемоданом, но тот – очевидно, в ошибочном убеждении, что госпожа Эстер на сей раз направляется к его супруге – совершенно забыл о страхе: в тот самый момент, когда она собиралась свернуть направо, чтобы, обогнув дом, пройти на зады к старой постирочной, где квартировал Валушка, Харрер, выскочив из-за двери, встал у нее на пути и молча, в отчаянии поднял на нее испуганно-умоляющий взгляд. Однако не тут-то было: госпожа Эстер, мгновенно сообразив, что вчерашний вечерний гость, помимо ее молчания, ждет от нее еще и каких-то слов снисхождения, была неприступна; смерив Харрера презрительным взглядом, она молча, словно ветку, застившую ей дорогу, оттолкнула его чемоданом и двинулась дальше, как будто его тут и не было, как будто чувства стыда и вины, которые он – помнивший о былом! – теперь испытывал, ее совершенно не волновали. Да и что говорить, ее это и правда несколько не волновало, равно как несколько не волновали ее теперь

ни госпожа Пфлаум, ни вывороченный с корнем тополь, ни цирк, ни толпа, ни проведенный с полицмейстером – вполне, кстати, сладостный – час, а посему когда Харрер, с настырной находчивостью обреченных обогнув дом с другой стороны, красный как рак от «стыда и вины», снова молча предстал перед ней на дорожке, ведущей к хибаре Валушки, она только коротко бросила: «Перебьешься!» – и тут же продолжила путь, ибо ее одурманенный деятельностью мозг занимали в эту минуту только две вещи: чемодан со склонившимся над ним Эстером, который поймет, что из этой ловушки ему точно не вырваться, и Валушка, который наверняка и теперь, как всегда, в одежде лежит в своей грязной и темной норе на кровати, в спертom, пропитанном никотином воздухе и мечтательно пялится вверх такими восторженными глазами, как будто видит над головой не просевший облупленный потолок, а сияющий небосвод. И действительно, когда после двух резких стуков она толкнула хлипкую дверь, то нашла в помещении именно то, что и ожидала: под просевшим облупленным потолком, в спертom, пропитанном никотином воздухе стояла неприбранная кровать – не было видно только «восторженных глаз»... ну и конечно: сияющего небосвода.

# Гармонии Веркмейстера

## *Перипетии*

Поскольку господин Хагельмайер, к этому времени уже обычно клонящийся ко сну хозяин «Питейного дома Пфеффер и Ко», что на улице Мостовой, в народе больше известного как «Пефефер», стал все строже поглядывать на часы – а сие означало, что совсем скоро, словно бы в подтверждение гневного восклицания («Уже восемь! Закругляемся, господа хорошие!»), он выключит уютно потрескивающий в углу масляный радиатор, погасит свет и, распахнув дверь на улицу, с помощью вползающего в корчму ледяного холода вынудит тяжелых на подъем посетителей двинуться по домам, – то Валушку, весело озирающегося по сторонам в плотной гуще расстегнутых или накинутых на плечи овчинных тулупов и ватников, нимало не удивило, что присутствующие тут же полезли к нему с приставаниями («Ну-ка, братец, представь нам, что там с Землей да Луной деется!»), ведь именно так они поступали и вчера, и позавчера, и бог знает уже сколько раз до этого, когда требовалось – в связи с непреодолимой потребностью в так называемом «фрèche на посошок» – удержать уже позевывающего корчмаря от неотвязчивого желания громогласно объявить о грядущем закрытии. Вообще-то Валушкины объяснения, от бесконечного повторения превратившиеся в бесшабашный спектакль, давно уже никого не интересовали. Они не интересовали ценившего превыше всего сладкий сон Хагельмайера, который «ради порядка» объявлял о закрытии на полчаса раньше, чтобы никто не подумал, будто его «можно одурачить таким дешевым трюком», точно так же как не интересовали они и равнодушное собрание сидевших в корчме окрестных извозчиков, грузчиков, маляров и пекарей, – просто они уж привыкли к этому представлению, как к отвратительному вкусу дешевого рислинга или помеченным особенными царапинами личным кружкам; именно потому они всякий раз затыкали рот временами входившему в азарт Валушке, стоило ему, живописуя «своим дорогим друзьям» захватывающие просторы

космоса, попытаться увлечь их на Млечный Путь, ибо слушатели его были против сомнительных новшеств, убежденные, что все эти «штуки» – будь то новое вино, новая кружка или новое развлечение – «уж никак не сравнятся со старыми», потому как их общий, не обсуждаемый опыт подсказывал, что всякие перемены, подвижки, поправки и улучшения несут с собой только порчу и гибель. И ежели так обстояли дела до этого, то о чем можно было говорить теперь, когда, кроме целого ряда необъяснимых событий, их сердца наполнял тревогой еще и необычайный для здешних мест в начале декабря мороз – лютый, до двадцати градусов ниже нуля, без единой снежинки, и это настолько противоречило сложившимся представлениям о природных явлениях, о привычном чередовании времен года, что они стали подозревать: не иначе на небесах («А то, может, на земле?») что-то разительно изменилось. Уже не одну неделю они жили в состоянии смуты и беспокойства, и поскольку из расклеенных под вечер афиш им уже было ясно, что кит-великан, овеянный благодаря распространяемым по округе слухам неотвязными и пугающими догадками, завтра неотвратно прибудет сюда («И кто его знает, что теперь будет? Чем все это кончится?»), то к тому времени, когда Валушка в ходе своих ежедневных странствий добрался, как всегда, до корчмы, все ее завсегдатаи уже были пьяны. Тем не менее он – хоть и сам с озабоченным видом растерянно кивал головой, когда его кто-нибудь останавливал (дескать, «никак, Янош, я не пойму эту чертову непогоду...»), хоть и сам точно так же, как и в «Пефепере», рассеянно слушал, что говорили друг другу люди о крайне загадочном и, по слухам, весьма опасном цирке и возможностях его появления в этих краях – все же не придавал всему этому особенного значения и, невзирая на полное безразличие, с которым воспринимала его аттракцион публика, по-прежнему трепетал от восторженной мысли, что вот и сегодня он снова получит возможность поделиться своими переживаниями относительно «уникального мига в жизни природы». И какое ему было дело до мучений продрогшего города, до всех этих ожиданий («ну когда же хоть снег выпадет?»), если он думал только о том, что едва он дойдет, как обычно, до конца своего повторяемого без каких-либо изменений спектакля, то в воцарившейся на мгновение драматической тишине... неожиданно... снова, как всякий раз... жаркое, напряженное, лихорадочное волнение захлестнет его волной

сладостной, чистой, непревзойденной радости – такой, что, наверное, ему даже не покажется таким уж противным гадкий вкус обычного в таких случаях подношения – разбавленного содовой водой вина, которое (наряду, кстати, с пивом и палинкой) он за долгие годы так и не полюбил, но и отказываться от него не решался, ибо отвергни он знак любви своих «дорогих друзей», который, конечно же, будет явлен ему и сегодня, или не замаскируй свое отвращение к этому пойлу предпочтением сладенького ликерчика (а признайся чистосердечно, что вообще-то предпочитает газировку с сиропом), то господин Хагельмайер уж точно не будет долго терпеть его в «Пефепере». Разве мог он из-за такой ерунды рисковать хрупким доверием хозяина заведения и его завсегдатаев, тем более что каждый вечер, ближе к шести, когда он заканчивал хлопоты вокруг своего знаменитого и безмерно любимого покровителя (чья благосклонность к Валушке, кстати сказать, вызывала определенное недоумение не только у горожан, но и у него самого, и поэтому он платил за нее безоглядной верностью), в общем, когда он заканчивал убираться у господина Эстера и оставлял его одного, то всегда, вот уже много лет, в своих непрерывных скитаниях непременно заглядывал сюда, находя за надежными стенами корчмы, среди «добрейших людей» – по всей видимости, именно в силу своей несокрушимой наивности – тот уют, благодаря которому притаившееся за Водонапорной башней питейное заведение Хагельмайера он считал (и даже неоднократно в том признавался суровому корчмарю) чем-то вроде своего второго дома – нет, не мог он всем этим рисковать из-за какой-то там рюмки ликера или бокала вина. Причем, говоря «второго», он мог бы сказать и «первого», потому что именно здесь, и только здесь, он ощущал простоту и раскрепощенность, которых – как раз из-за собственной боязливой почтительности – ему не хватало в вечно залитых полумраком, зашторенных комнатах своего престарелого друга и заботливо обихаживаемого подопечного, а также товарищеское тепло, которого – по причине полного одиночества – он был лишен в бывшей постирочной, расположенной на заднем дворе дома Харрера, что служила ему жильем; здесь, в «Пефепере», как ему казалось, его привечали, и все, что он должен был ради этого делать, состояло в том, чтобы безупречно исполнять свою роль – то есть чуть ли не ежедневно демонстрировать по желанию публики «уникальный момент,

периодически наблюдаемый в перемещении небесных светил». Словом, Валушка пользовался здесь признанием и, хотя в обоснованности питаемого к нему доверия он время от времени должен был убеждать их своими сверхтемпераментными речами, мог все же – будучи со своей «нестандартной мордой лица» постоянным, безропотным и великодушным объектом их грубых насмешек – считать себя неотъемлемой принадлежностью заведения Хагельмайера. Правда, само по себе чувство этой сопричастности, хотя, разумеется, и подпитывало пламень, не могло быть источником того жара, которым дышали произносимые им вздох слова, – источником этим мог быть только сам «предмет», иными словами, реальная, вновь и вновь получаемая им возможность в братском – как представлялось ему – сообществе этих нетвердо держащихся на ногах и большей частью тупо пялившихся перед собой извозчиков, грузчиков, маляров и пекарей охватить умом «монументальное величие бескрайнего космоса». Стоило только прозвучать подбадривающим словам, как мир, и без того лишь туманно им ощущаемый, куда-то девался, и он, словно по взмаху волшебного жезла перенесенный в сказочное пространство, не помнил уже ни себя, ни окружающих; все земное, все имеющее вес, цвет и форму неожиданно растворялось для него в какой-то необратимой легкости, куда-то девался и сам «Пефефер», и казалось, что «братское сообщество» стоит уже просто под небом Господним, вперив взгляды в «монументально-величественное» пространство. Но то, разумеется, была лишь иллюзия, ибо подвыпившая компания с маниакальным упрямством по-прежнему оставалась в «Пефефере», даже вида не подавая, что собирается хоть как-то отреагировать на одинокий призыв («Эй, народ! сейчас Янош опять нам казать будет!») обратить уже окончательно расфокусированное внимание на Валушку. Кое-кого из них, сморенных внезапным сном в углу около радиатора, или под вешалкой, или прямо за стойкой, уже пушкой нельзя было разбудить, но даже те, кто, прервав разговор об ожидаемом завтра чуде, застыли с выпученными глазами, не сразу сообразили, о чем, собственно, идет речь, хотя было ясно – учитывая все более частые взгляды сварливого корчмаря на часы, – что относительно сути дела у обеих сторон, у свалившихся с ног, и у тех, кто еще держался, имелось безоговорочное согласие, но придать ему физическое выражение

никто, кроме подмастерья пекаря, резко клюнувшего головой с синюшным лицом, никто так и не сумел. Наступившую тишину Валушка, естественно, понял как несомненный признак нарастающего внимания и с помощью маляра, заляпанного с головы до ног известкой (автора упомянутого одинокого призыва), мобилизовав чуть ли не подсознательные резервы наземной ориентации, взялся освободить пространство посередине окутанной табачным дымом корчмы: две сервировочные тумбы высотой по грудь, явно мешавшие их затее, они отпихнули в сторону, а когда энергичный призыв его нечаянного помощника («Ну-ка, братцы, подайтесь!») не нашел отклика у тупо вцепившихся в свои кружки мужчин, то же самое пришлось проделать и с ними, и оживление в их рядах – после некоторого замешательства, вызванного необходимостью сдать часть территории – наступило, лишь когда Валушка, еще не преодолев волнения перед выступлением, вышел на освободившееся место и, в помощь маляру, выбрал еще двух подручных из тех, кто стоял поблизости, – долговязого кривого извозчика и здоровенного малого, грузчика, которого здесь почему-то прозвали Сергеем. Касательно маляра, уже доказавшего свой энтузиазм и сноровку участием в приготовлениях и по-прежнему весьма бодрого, у Валушки сомнений не было, иное дело двое других, которые явно никак не могли понять, что вокруг происходит и чего это вдруг их стали пихать и куда-то выталкивать; лишенные спасительной поддержки товарищей, которые подпирали друг друга своими телами, они с явным неудовольствием тупо таращились перед собой посередине корчмы; вместо того чтобы с упоением вслушиваться в пламенную – но их пониманию все равно недоступную – вводную речь Валушки, они боролись с тяжестью, давившей на их слипающиеся веки, и во мраке – все чаще, но пока только на мгновения – наваливающейся на них ночи обоим терзало такое опасное головокружение, что назвать это муторное состояние подходящим для олицетворения небесных светил с их захватывающим вращением было весьма затруднительно. Однако Валушку, который, закончив свой, по обыкновению, бурный пролог о «должном смирении человека перед бескрайностью мироздания», уже направлялся к своим пошатывающимся помощникам, все это не особенно волновало, да он, казалось, уже и не видел этих троих, ибо, в отличие от остальных его «дорогих друзей», чью дремлющую фантазию без участия этой троицы избранных расшевелить было вряд

ли возможно, ему самому для полета воображения не нужна была ничья помощь, да и вообще не нужно было никуда улетать, чтобы отсюда, из этого пустынного уголка Земли, перенестись в «бескрайний пенный океан небес», так как мыслями и фантазиями, которые у него всегда совпадали, он без малого уже тридцать пять лет постоянно витал в волшебном безмолвии звездных просторов. Он ничем особенным не владел, форменная шинель, почтальонская сумка через плечо, фуражка да пара ботинок – вот и все имущество, разве можно было сравнить это с головокружительными масштабами необъятной небесной сферы! И если на безграничных небесных просторах он чувствовал себя дома и был свободен, то здесь, внизу, запертый в этом ни с чем не сопоставимом по своей узости «пустынном уголке Земли», он чувствовал себя пленником этой свободы; как бывало уже не раз, он обвел восторженными глазами столь симпатичные ему, пускай мрачные и неумные, лица и, собираясь распределить хорошо всем известные роли, шагнул к долговязому возчику. «Ты – Солнце», – на ухо прошептал он ему, даже не задумываясь, что тому, может быть, не по нраву, что его с кем-то путают, да еще в такой ситуации, когда он – занятый борьбой с тьмой, опускающейся на глаза вместе со свинцовыми веками – не в силах даже протестовать против явного унижения. «Ты будешь Луной», – поворачивается Валушка к крепко сбитому грузчику, на что тот – как бы давая понять, что ему «без разницы» – неосторожно пожимает плечами и тут же, в попытках восстановить равновесие, нарушенное опрометчивым жестом, принимается, будто мельница лопастями, отчаянно вращать руками. «Ну а я, значит, буду Землей», – угодливо закивал Валушке маляр, который подхватил лихорадочно машущего руками «Сергея» и, поставив его в центр круга, повернул к извозчику, еще более помрачневшему в неустанном сражении с наплывающим на глаза закатом, а сам с видом человека, знающего свое дело, остановился неподалеку от них. И пока Хагельмайер, не видимый за толпой, обступившей нашу четверку, демонстративным зеванием, а затем громким хлопаньем кружками и пивной тарой оповещал повернувшуюся спиной к стойке публику о неумолимом течении времени, Валушка приступил к своему, как он обещал, ясному и понятному объяснению, в ходе которого он «приоткрывает им щелочку, заглянув в которую даже мы, обыкновенные смертные, сможем понять

кое-что относительно вечной жизни», и единственное, что для этого требуется, – переместиться с ним вместе в необозримое пространство, где «царят постоянство, покой и всепоглощающая пустота», а также представить себе, что все вокруг в этом непостижимом и бесконечном звенящем безмолвии заполнено непроглядным мраком. Неоправданная возвышенность этих набивших оскомину слов – которая когда-то вызывала у них громкое ржание – воспринималась теперь завсегдатаями корчмы с полной апатией, но при этом откликнуться на призыв Валушки им было ничуть не трудно, ведь, по совести говоря, пока что они и не видели вокруг ничего другого, кроме «непроглядного» мрака; что касается привычного их развлечения, то они и на этот раз, несмотря на плачевное самочувствие, не могли удержаться, чтобы весело не захрюкать, когда Валушка оповестил их, что в этой «бескрайней ночи» косоглазый извозчик, совсем посмурневший от выпитого, «будет источником всяческого тепла и жизни, иными словами – светом». Излишне, пожалуй, и говорить, что в сравнении с недоступными разуму масштабами мироздания помещение корчмы было не слишком просторным, поэтому, когда пришло время привести небесные тела в движение, Валушка не стал добиваться максимальной правдоподобности и даже не попытался заставить кружиться беспомощного извозчика, уныло стоявшего с повешенной головой посреди корчмы, ограничившись на сей раз тем, что снабдил инструкциями только «Сергея» и приходившего во все более экзальтированное состояние маляра. Тем не менее поначалу все складывалось не совсем гладко, ибо если Земля, строя рожи оживающей мало-помалу публике, с невероятной проворностью и изяществом, которые посрамили бы даже гимнастов из шапито, демонстрировала мудреный акробатический элемент двойного вращения одновременно вокруг собственной оси и долговязого Солнца, то Луна, стоило только Валушке легонько толкнуть ее, тут же, будто сраженная известием о каком-то непоправимом несчастье, грохнулась на пол, и напрасны были все новые благие попытки возобновить представление: они неизменно кончались тем, что Луну приходилось опять ставить на ноги; наконец Валушка, лихорадочно бегавший с места на место и то и дело вынужденный прерывать свой патетический монолог («...Тут... на этом этапе... мы получим... лишь общее... представление о движении...»), уяснил себе, что, наверное,

будет лучше вместо совсем раскисшего грузчика подыскать более подходящего помощника. Однако в этот момент под радостный гул присутствующих Луна, словно от какого-то сильнодействующего лекарства у нее прошло головокружение, вдруг воспрянула и, при каждом полуобороте приседая на коренастых ногах, энергично – хотя и не в том направлении, что предписывали инструкции – закружилась, да так вошла в раж, что не только продемонстрировала ловкость в похожем больше всего на заурядный чардаш планетарном вращении, но даже в известной мере («...нублл... ещера... толкн... башк... трву!») восстановила способность к коммуникации. Когда все было готово, Валушка – отерев взмокший лоб и слегка отступив назад, дабы не заслонить ненароком великолепное зрелище и позволить присутствующим беспрепятственно насладиться небесной гармонией столь удачно организованного взаимодействия Солнца, Земли и Луны – приступил к делу; он снял фуражку, откинул с глаз волосы, резким жестом опять приковал к себе напряженное, как ему казалось, внимание публики и поднял пылающее внутренним жаром лицо туда, где ему виделось небо. «Может статься, что поначалу... мы с вами даже не осознаём, свидетелями каких чрезвычайных событий являемся... – совсем тихо заговорил он, и в ответ на Валушкин шепот в питейном зале, как бы в преддверии сдерживаемого до поры взрыва хохота, воцарилась мертвая тишина. – Ослепительное сияние, – широким жестом повел он рукой от извозчика, из последних сил сражавшегося со своими напастями, в сторону зачарованно кружившего вокруг него маляра, – заливает теплом и светом... обращенную к Солнцу... сторону Земли. – Мягким движением он затормозил Землю, строившую ехидные рожи зрителям, развернул ее лицом к Солнцу, а затем, зайдя со спины, навалился, чуть ли не обнял ее, высунул голову из-за плеча и, зажмурившись от „ослепительно яркого света“ – словно он был медиумом „своих товарищей“, неким коллективным оком, – посмотрел на пошатывающегося извозчика. – И вот мы стоим в этом... великолепном сиянии. И вдруг... обнаруживаем, что лунный диск... – он ухватил за рукав „Сергея“, упорно кружившего в ритме чардаша вокруг маляра, и задержал его между Землей и Солнцем, – лунный диск... делает в огненном шаре Солнца вмятинку... небольшое темное углубление... И оно... это углубление... начинает расти, увеличиваться... Вы видите? – снова

выглянул он из-за спины маляра и слегка подтолкнул вконец от этого разъярившегося, но беспомощного грузчика. – И поэтому... видите?... постепенно, по мере того как Луна все сильнее наплывает на Солнце... от него остается лишь узкий... ослепительно яркий серп... А в следующий момент, – прерывающимся от волнения голосом прошептал Валушка, взад-вперед пробегая глазами по линии, вдоль которой выстроились извозчик, маляр и грузчик, – к примеру сказать, в час дня... мы делаемся свидетелями драматического поворота событий... Ибо в этот момент... внезапно... в считанные минуты... остывает воздух... вы чувствуете?... заливается мраком небо... а затем наступает... полная темнота! В округе принимаются выть собаки! Забивается в нору заяц, и в панике срывается с места оленье стадо! И на этом ужасном, непостижимом закате... даже птицы („Птицы!“ – с неподдельным ужасом восклицает Валушка и вскидывает руки так, что широкие полы его почтальонской шинели взмывают, как крылья летучей мыши)... даже птицы в страхе попрятались в свои гнезда!.. Воцаряется мертвая тишина... все живое затихло... у нас тоже язык на какое-то время присыхает к гортани... Что будет?... Сойдут с места горы?... Обрушится нам на голову небо?... Или земля разверзнется под ногами? Сие нам неведомо. Это и есть полное солнечное затмение». Последние фразы, хотя их, точно так же как и предшествующие, он уже много лет изрекал с тем же самым пророческим пылом, в том же самом порядке и не отступая от привычного тона ни в единой ноте (а потому в них в принципе не могло быть чего-то нового), словом, эти невероятной силы фразы, да и весь его вид после этой речи, когда, взмокший и изможденный, то и дело поправляя сползающий с плеча ремень почтальонской сумки и счастливо улыбаясь, он окидывал взглядом публику, – короче, что бы там ни было, а спектакль и на этот раз произвел на присутствующих довольно ошеломляющее воздействие, ибо около полуминуты в набитой людьми корчме тишина стояла такая, что муха пролетит – услышишь, и завсегдатаи заведения, уже вообще-то пришедшие в чувство, но теперь опять растерявшиеся и оттого снова тупо уставившиеся на Валушку, из-за этой своей растерянности не давали воли эмоциям, жаждущим разрешиться в каком-то веселом финале, – словно для них открылось нечто тревожное в том, что, в отличие от «их малахольного Яноша», который не в состоянии вернуться в сей «пустынный уголок Земли», потому

что никогда и не покидал «океан небес», они, глядевшие сейчас сквозь грани опустошенных бокалов пучеглазыми рыбинами, оставались в этой пустыне от начала и до конца.

И на миг им стала тесна корчма...

Или – слишком просторен мир?

Может быть, они уже в сотый раз

слышат этот тревожный набат:

«Мрак небес»,

«Разверзающаяся земля»,

«В страхе прячущиеся птицы», —

и как знать, не смягчают ли эти слова

жгучий зуд в их душе,

о котором они до сих пор

не догадывались?

Ну, это едва ли; скорее всего они на секунду, что называется, «оставили незахлопнутой дверь» или просто – именно потому, что к нему готовились – пропустили финал; в любом случае, когда тишина, навалившаяся на гостей «Пефедера», слишком затянулась, все они, опомнившись, разом заговорили; как внезапно приходит в себя восторженный наблюдатель, залюбовавшийся вольным полетом птицы

и мысленно уже воспаривший за нею вслед, когда вдруг ощущает, что ноги его по-прежнему топчут землю, – так и они внезапно освободились от этого эфемерного, расплывчатого, аморфного и туманного чувства, вновь ощутив судорожно сжимаемые в руках стаканы, увидев сквозь табачную кисею раскачивающийся под потолком жестяной абажур светильника и непреклонного Хагельмайера, уже застегивающего за стойкой пуговицы пальто. В разразившемся гвалте, когда публика насмешливо аплодировала и хлопала по плечам сияющего от гордости маляра и двоих других, теперь уже окончательно ошалевших и ничего не соображающих обитателей космоса, Валушке всучили стакан вина и тут же о нем забыли. Смущенно выбравшись из окружения овчинных тулупов и телогреек, он отошел в относительно свободный угол неподалеку от стойки и поскольку далее уже не рассчитывал на участие остальных, то, пьянея от воображаемого зрелища – и от принимаемого им за радостное ликование гвалта, – сиротливым преданным созерцателем продолжил отслеживать путь Луны, которая медленно сползала с противоположного края пылающего солнечного диска... Потому что он хотел видеть – и действительно видел, как возвращался на Землю свет, хотел ощутить – и действительно ощутил, как вновь устремился к ней поток тепла, хотел испытать – и действительно испытал то непередаваемое волнение, когда ты осознаешь, что в конце концов все же освободился от гнета страха, вызванного леденящим, зловещим, апокалиптическим мраком. Но рядом не было никого, кому можно было бы объяснить все это или хоть просто поговорить, так как публика, которую больше не занимала «пустопорожняя болтовня», со своей стороны, как всегда, посчитала, что с наступлением мистического заката представление кончилось, и ринулась штурмовать корчмаря в надежде еще разок остаканиться. Какое еще возвращение света? Освобождение? Поток тепла? В этот момент Хагельмайер, казалось, следивший за мыслью Валушки, не мог удержаться, чтобы невольно не подключиться к событиям: налив желающим «по последней», он погасил свет, распахнул перед ними дверь и без особых эмоций («По домам, забулдыги!»), сонно щурясь, погнал всех вон. Делать было нечего, пришлось им смириться с тем, что на сегодня и правда все кончено, их вытурили внашею, и можно идти куда вздумается. Молчаливо потянулись они на выход, и хотя, оказавшись

на улице, большинство уже не выказывало желания веселиться, тем не менее некоторые – после того как Валушка дружелюбно простился с ними (разумеется, не со всеми, так как были и такие, кого только что, прямо перед тем как турнуть, разбудили, и они, хватив ледяного воздуха, тут же приткнулись к стене поблевать), – словом, некоторые из них, точно так же как и вчера, и позавчера, и бог весть в который уж раз за минувшие годы, смотрели вслед его удаляющейся фигуре, когда, он, разгоряченный зрелищем, все еще стоявшим перед его глазами, по обыкновению, оставив их у питейного заведения, чуть согнувшись и подавшись вперед, пригнув голову, мелким шагом, едва не рысцой («... как человек, который спешит по делам...»), устремлялся прочь по безлюдной улице, – смотрели и сперва тихонько хихикали, а затем, когда он сворачивал за Водонапорную башню, уже громким здоровым смехом ржали, ведь кроме него других объектов насмешек у них и не было, в особенности теперь, когда им всем, извозчикам, грузчикам, малярам и пекарям, казалось, «... что жизнь как-то заколодилась...», в то время как он, Валушка, был всегда к их услугам, причем, как они выражались, «за так», и даже его комичная внешность – вечно сияющие газельи глаза, нос, цветом и формой смахивающий на морковку, и вся его, неразлучная с почтальонской сумкой, нескладная фигура в долгополой, по щиколотку, нелепой шинели – удивительным образом никогда не надоедала им, и по этой причине он служил неиссякаемым источником их диковинного веселья. Надо сказать, что люди, стоявшие у «Пефедера», были недалеки от истины: «неотложное дело» у Валушки действительно было. Ибо – как он в некотором смущении пояснял иногда, если кто-нибудь насмешливо окликал его – «перед тем как лечь спать», ему «надобно пробежаться», что означало, что он собирался рвануть мимо частокола в последние дни – за ненадобностью – уже выключенных после восьми часов вечера фонарей, обозреть вмерзший в стылую тишину город от кладбища Святого Иосифа до кладбища Святой Троицы, обойти вымершие окраины от Бардошевой топи до железнодорожной станции, покружить вокруг Городской больницы, Судебной палаты (вкуче с тюрьмой) и, конечно же, Крепости и громадного, обветшалого, не подлежащего восстановлению и поэтому каждые десять лет заново окрашиваемого дворца Алмаши. Зачем все это было нужно и какую цель он преследовал, точно никто не знал, и этот туман не рассеивался

даже в том случае, когда он, случилось, в ответ на расспросы когонибудь из назойливых обывателей, неожиданно покраснев, заявлял: мол, на нем «к сожалению, лежит одно постоянное, если можно так выразиться, внутреннее задание»; хотя, если разобраться, речь шла всего лишь о том, что он, будучи не способным (и поэтому не желающим) отделять для себя бывшую постирочную на задах дома Харрера, что служила ему пристанищем, от жилищ местных жителей, Отделение связи от «Пефедера», станционную экспедицию от улиц и маленьких сквериков, то есть не будучи в состоянии видеть четкую и непреодолимую грань между своей жизнью и жизнью других людей, он, можно сказать, жительствовавший во всем городе сразу, от Надьварадского шоссе до Молокозавода, во всем городе, который, как добрый хозяин – свое поместье, он должен был каждый день обходить и по которому он, защищенный клеймом городского сумасшедшего, в силу неумной фантазии, привычной к «безмерной свободе космоса», и безоговорочного доверия ко всему существу в течение вот уже трех с половиной десятилетий перемещался – как по какому-нибудь тесному логову – неумолимо и чуть ли не ощупью. И поскольку вся его жизнь была бесконечным странствием по заветным местам его дней и ночей, то слова «перед тем как лечь спать» и «надобно пробежаться» отражали реальность несколько упрощенно: во-первых, спал он всего лишь пару часов под утро (да и то в полудреме, одетым, так что слово «ложиться» в обычном смысле было здесь не вполне уместно), во-вторых же – что касается этих странных его пробежек, – он в течение последних двадцати лет только и делал, что носился как угорелый по городу, в котором зашторенная комната господина Эстера, Отделение связи, Экспедиция, гостиница «Комло» (куда он ходил за обедами для больного друга) и даже распивочная за Водонапорной башней скорее были точками касания в его неостановимой гонке, нежели настоящими остановками. Но все это, все эти его бесконечные странствия – которых уже самих по себе было достаточно для того, чтобы местные жители смотрели на него не как на одного из сограждан, а как на некий, выражаясь помягче, существенный элемент городского пейзажа – совсем не предполагали постоянного, ревностного, неусыпного наблюдения или, хуже того, какой-то маниакальной слежки, хотя многие, ради простоты или под грузом архаических предрассудков, думали именно так. На самом же деле Валушка не «видел» города,

потому что привык смотреть только себе под ноги, когда не имел возможности неотрывно разглядывать головокругительный купол неба. В стоптанных башмаках, в фуражке с лаковым козырьком и кокардой, в тяжелой казенной шинели, сгорбленный под неотделимой от него почтальонской сумкой, своей неподражаемой валкой походкой бесконечно блуждал он среди ветшающих зданий родного города, но видел только землю, точнее сказать, прямые линии и зигзаги – покрытых слоями мерзлого мусора – тротуаров, асфальтовых дорог, мостовых, утопанных пригородных дорожек, и если все их подъемы и спуски, выбоины и колдобины он знал как свою ладонь (и мог бы с закрытыми глазами, просто по шороху под подошвами определить, где находится), то о каких-то мелких штрихах на стареющих вместе с ним домах, на оградах, навесах и подворотнях он сказать ничего не мог – просто-напросто потому, что их образы, хранимые памятью, не выдержали бы никаких изменений, даже самых малейших, так что он принимал их к сведению только в общем виде (в том смысле, что всё на месте), точно так же как принимал страну, неразлично сменяющие друг друга времена года и живущих вокруг людей. Уже в первых своих воспоминаниях – приблизительно о том времени, когда умер его отец – он ходил по этим же самым улицам (но поначалу только не дальше площади Мароти, докуда осмеливался убежать из родительского дома шестилетний малец), и, честно сказать, между своим тогдашним «я» и теперешним он не ощущал не только пропасти, но даже сколь-нибудь ощутимой границы, ведь с тех самых пор, когда он впервые (быть может, когда возвращался домой с похорон?) осмысленным взглядом увидел его над собой, звездное небо с мерцающими в непостижимой дали огоньками держало его в плену. Он повзрослел, похудел, виски тронула седина, однако как прежде, так и теперь он не ведает меры вещей, которая помогла бы ему ориентироваться на земле, и не постиг, как это возможно – вместо цельного и неразделимого потока всего универсума, частицей которого (куда-то тоже несущейся) является и он сам, с умудренной чувствительностью видеть мир как переход текущего и меняющегося в грядущее. За потоком же медленно протекающих мимо него человеческих дел он наблюдал без эмоций и личного участия, с долей грустного недоумения, и тщетно пытался понять или как-то на собственном опыте пережить, чего именно добиваются друг от друга его «дорогие друзья», потому что само

изумленное осознание этого «большого целого» как бы лишало его возможности ориентироваться в земных делах и (к неизбежному стыду матери и вящей потехе городских обывателей) навеки закупорило в неуязвимую кристально-прозрачную оболочку вечного мгновения. «Неутомимо и слепо» перемещался он, топал, носился по городу, лелея в душе – как выразился не без иронии его знаменитый друг – «безнадежную красоту персонального космоса» (десятилетиями под одним и тем же небом и по одним и тем же, почти неизменным дорогам и тротуарам), и если жизнь его вообще имела какую-то историю, то это была история его все более расширяющихся блужданий – от окрестностей лежавшей в непосредственной близости от их дома площади Мароти до покоренного к тридцатипятилетнему возрасту целого города, потому что во всем другом он остался таким же, каким был в детстве, и нельзя говорить о каких-то существенных изменениях, которые претерпела его судьба, да и его мысли, потому что ведь изумление – продлись оно хоть две тысячи тридцать пять лет – не может иметь истории. Вместе с тем было бы ошибкой думать (как, кстати сказать, и думали за его спиной завсегдатаи «Пефефера»), будто он ничего-то не замечает вокруг себя, не догадывается, что слывет среди них полоумным, и, главное, будто он даже не понимает, что вынужден постоянно жить в центре всеобщего насмешливого внимания. Ничуть не бывало, он прекрасно все это знал, и стоило только кому-то на улице или в корчме, в «Комло» или в станционной экспедиции вывести его из заоблачных грез широкой ухмылкой и звонким воплем («Эй, Янош! Ну что там в космосе?!»), он, полагая, что в глубине насмешки скрываются нотки естественной в таких случаях дружелюбности, густо краснел, опускал глаза и как человек, которого уличили в том, что он снова «считает звезды», вялым фальцетом растерянно бормотал что-то себе под нос. Потому что он понимал и сам, что едва ли достоин даже простого – но столь желанного – созерцания «царственно безмятежного универсума», и что люди вполне справедливо – в связи с его вечными экстатическими порывами (которые он оправдывал желанием поделиться скудными своими познаниями с хворающим господином Эстером и приятелями из корчмы) – увещевали его, мол, вместо загадочных неземных светил обратил бы лучше внимание на собственное жалкое существо и свою безотрадную и никчемную жизнь. И этот категорический приговор

общественности он не просто принимал к сведению, но был – и этого не скрывал – целиком с ним согласен, не раз заявляя прилюдно, что он «настоящий умалишенный», которому в голову не придет возражать против само собой разумеющихся вещей и который безмерно признателен согражданам, что «не упекли его куда следует» и по-прежнему попустительствуют тому, что он, несмотря на чистосердечное раскаяние, все же не в силах оторвать глаза от того, «что Господь сотворил на вечные времена». О том, сколько чистосердечности было в его раскаянии, Валушка не распространялся, ясно было одно: вызывающие столько насмешек «сияющие глаза» он действительно не мог оторвать от небесного свода, что, конечно, не следовало, да и невозможно было понимать буквально хотя бы уже потому, что «сотворенное на вечные времена» дивное мироздание Господне – во всяком случае, здесь, в огражденной хребтами Карпат низине – чуть ли не постоянно укрыто было то плотной дымкой, то липким туманом, то непроглядными облаками, и Валушка, когда он радостно перебирал в душе – опять же по неподражаемому выражению Эстера – «мимолетные видения порой проясняющегося универсума», был вынужден, разглядывая неровный от толстого слоя мусора ландшафт тротуаров, полагаться на скудные воспоминания о лете, которое, с каждым разом делаясь все короче, угасало с неосязаемой быстротой, и небо на целый год опять исчезало за тучами. Своим великолепием мимолетные эти видения всегда сокрушали его, но тут же и возвращали к жизни, и хотя он не мог говорить ни о чем другом (полагая, что «это касается всех»), ему не удавалось найти те несколько подходящих слов, которые хотя бы примерно могли объяснить, что же он, в конце концов, видел. Когда он заявлял, что о вселенной ему ничего не известно, ему не верили и даже не понимали, что он хочет этим сказать, между тем как Валушка действительно ничего о вселенной не знал, ибо знание его настоящим знанием не было: он не стремился что-то с чем-то сопоставлять, не порывался что-либо объяснить, не соизмерял себя постоянно с волшебным и безупречным ходом «беззвучного механизма небес» и считал само собой разумеющимся, что тот факт, что он не мыслит себя вне целого, вовсе не означает, что целое немислимо без него. Словом, видя все это, он видел одновременно и Землю, и город, в котором жил; наблюдая, как здесь, внизу, все происшествия, все истории, все жесты

и помыслы тоже лишь бесконечно повторяют сами себя, он жил среди ближних своих в неосознанном убеждении, что нет смысла искать изменений там, где их и в помине нет, и поэтому – словно капля, когда она растает с тучей, – совершал лишь то, что должен был совершать. Он прошел мимо Водонапорной башни, в Народном саду обогнул огромное бетонное кольцо, окруженное дремлющими дубами, и поскольку он то же самое делал и вчера, и позавчера, и бесчисленное количество раз утром, днем, ранним и поздним вечером, то теперь, когда он вышел снова на Мостовую, параллельную главной улице города, чтобы двинуться по ней дальше, не было никакого смысла проводить какие-либо различия между этой прогулкой и предыдущими, так что он и не проводил их. Дойдя до пересечения Мостовой с улицей Шандора Эрдейи, он приветливо помахал смутно видневшейся в отдалении группе людей, которые, как ему показалось, почти неподвижно стояли у водоразборной колонки; поднявшись своей утиной походкой до верха Мостовой улицы, он обогнул станционное здание и заглянул в газетную экспедицию, где по случаю «адской погоды» выпил горячего чаю в компании с железнодорожником, который жаловался на поезда, прибывающие как попало, и со страхом рассказывал о какой-то «кошмарной фуре», – все это было не просто повторением того, что происходило вчера и позавчера, а, можно сказать, было в точности то же самое: те же шаги, направляемые туда же и в ощущении такой полноты бытия, которая, невзирая на ощутимую видимость направления и движения, сгущает всякое человеческое событие в один бесконечный момент... Он услышал свисток прибывшего со стороны Вэсте (опять же случайно, вне расписания) ночного поезда и, выглянув в окно Экспедиции, увидел, как ржавый состав останавливается перед растерянно салютующим начальником станции, и перрон, неожиданным для этого часа образом, заполняется кучей народа; поблагодарив за чай, Валушка попрощался с железнодорожником и сквозь толпу пассажиров, все еще в нерешительности топтавшихся у пыхтящего паровоза, вышел на площадь, чтобы продолжить свой путь по заполненному стаями одичавших кошек проспекту барона Венкхейма – но продолжить не в направлении какой-то определенной цели, а просто так: ступая во вчерашние следы собственных башмаков, идти по искрящейся на морозе и поскрипывающей под ногами брусчатке. Поправляя то и дело

сползающий с плеча ремень сумки, он несколько раз обошел по периметру массивное здание Судебной палаты (вкуче с тюрьмой), покружил вокруг Крепости с дворцом Алмаши, пробежался вдоль Кёрёшского канала до моста, ведущего в Немецкую слободу, и свернул в сторону кладбища, что в Малом валашском квартале, при этом даже не замечал молчаливых и неподвижных скоплений тех самых заплонивших город людей, с которыми – откуда ему было знать, что это они и что именно так и будет? – со следующей ночи будет накрепко связана его жизнь. Он свободно бродил среди них по безжизненным улицам с брошенными автобусами и автомобилями, перемещаясь по орбите жизни с непринужденностью крошечной планеты, которая знать не знает о какой-то там гравитации и просто радуется, что, пускай лишь биением сердца, сопричастна какому-то первозданному взвешенному закону. В переулке Семи вождей он наткнулся на вывернутый из земли тополь, но внимание его привлек не исполин, зацепившийся голый кроной за водосток, а медленно проясняющийся над ним небосвод; так же и в «Комло», куда Валушка вскоре завернул погреться, он поневоле пропустил мимо ушей рассказ ночного портъе, когда тот, сидя в душной застекленной клетушке, совсем раскрасневшийся, делился с ним впечатлениями о проехавшем вдоль проспекта («...Вчера вечером, должно быть, около восьми или девяти часов...») потрясающем цирковом фургоне («Ты, Янош, такого еще не видывал! Да по сравнению с этим цирком твой космос – плюнуть да растереть!...»), – ибо мысли Яноша уже были прикованы к близящемуся восходу, к «вновь исполняющемуся обету», когда Земля вместе с ним, вместе с городом вынырнет из тени, над ней забрезжит заря, а затем хлынет яркий свет... Так что портъе мог рассказывать о «сатанинском, как говорят, аттракционе» все что угодно и живописать ему якобы «околдованную толпу», а позднее, уже у дверей гостиницы, мог подбивать его сию же минуту отправиться с ним («Ты тоже должен увидеть, приятель!»), Валушка – ссылаясь на то, что сперва ему нужно забрать на станции свежие газеты – упорно отказывался, ибо хотя он по-своему тоже проявлял интерес к киту, все же хотел еще побыть в одиночестве под постепенно светлеющим небом и попробовать заглянуть в невидимый, впрочем, из-за облачной пелены «небесный колодец, из которого снова до самого вечера будет литься неиссякаемый поток света». Путь до газетной экспедиции и обратно он

проделал не без труда, потому что из-за толпы, волнами катившейся от станции к рыночной площади, он вынужден был умерять свой обычно размашистый шаг, чтобы на узком тротуаре не наступать никому на пятки, однако на деле каких-то особенных затруднений он не испытывал, потому что был целиком погружен в свои, несомненно возвышенные, переживания и, казалось, даже не удивлялся внезапному многолюдью, как будто шагать в этой мрачной толпе, мысля при этом о чем-то высоком, было самым естественным делом на свете; скромный житель Земли, повернувшись в эти минуты к Солнцу, он пребывал в таком упоении, что когда (с пятьюдесятью экземплярами вчерашних газет в своей сумке, ибо свежие, как выяснилось в Экспедиции, опять где-то задержались), – в общем, когда он в конце концов добрался до места, где проспект впадал в главную площадь, то хотел завопить во все горло, чтобы бросили к чертовой бабушке своего кита и дружно взглянули на небо... Однако толпа, продрогшая, раздраженная, заполонившая к этому часу уже чуть ли не всю площадь Кошута, вместо сияющего небосвода видела над собой разве что безотрадную свинцово-серую пелену, и, судя по напряжению – почти «физически ощутимому», обычно не характерному для подобного рода цирковых гастролей, – не было в мире силы, которая могла бы сейчас отвлечь внимание этих людей от того, ради чего они сюда прибыли. Именно это и было труднее всего понять: чего они ждали, что так неудержимо притягивало их к этому вроде бы заурядному цирковому аттракциону? Можно было еще как-то разобраться, что правда и что домыслы в зловещих слухах о «пятидесятиметровой фуре» и чуть ли не целой армии «околдованной» черни, следующей за китом по городам и весям, – во всяком случае, те горожане, что осмелились (как, к примеру, наш бравый ночной портъе) появиться на площади Кошута, легко могли сделать необходимые выводы, так как вид этой изможденной убогой братии, следовавшей за передвижным «монстром», и сама пугающая машина длиной никак не менее двадцати метров, изготовленная из крашенной синей краской жести, говорили сами за себя. Говорили – и вместе с тем ничего ровным счетом не объясняли, а посему когда очевидцам стало понятно, что неправыми оказались те «здравомыслящие сограждане», которые еще вчера доказывали, что во «всем этом» нет ничего загадочного, что это обычный в подобного рода странствующих цирковых труппах

дешевый трюк, просто способ привлечь внимание, – когда, таким образом, казавшиеся нелепыми сплетни на глазах стали приобретать черты реальности, те немногие горожане, которые здесь болтались, разумеется, так и не смогли понять, что означают и эти паломники, непрерывно прибывающие на площадь, и разрекламированный гигантских размеров кит. По городу шли разговоры, что фантомное сборище это наберено где-то в окрестностях, и хотя в этом факте, в местном происхождении этой – готовой на все – толпы числом уже не менее трехсот человек, не было никаких сомнений (да и откуда было взяться этим людям, как не из ближних сел, с хуторов, из убогих предместий Вэсте, Шаркада, Сентбенедека и Кётедяна), невозможно было поверить, что, несмотря на все распрекрасные планы по обустройству отечества, объявляемые с регулярностью в тридцать лет, столь многочисленными остаются представители этой породы: пугающе злые, никчемные, обездоленные, непредсказуемо агрессивные, жаждущие самых вульгарных и примитивных чудес. Если не принимать в расчет несколько отличавшуюся от остальных группу из двадцати-тридцати человек (самых, кстати сказать, оголтелых, как выяснилось позднее), то эти три сотни неприкаянных были явно одного поля ягоды, и уже сам их вид – триста связанных тесным родством бараньих тулупов, ватников и грубых сермяг, триста пар сапог с металлическими подковками, мужицких папах и засаленных шляп – служил достаточным основанием для того, чтобы жадное любопытство зевак вроде ночного портъе, наблюдавшего за толпой с почтительного расстояния, моментально сменилось необратимой тревогой. Было тут и еще кое-что необычное – тишина сдавленная, настырная, зловещая, не нарушаемая ни единым звуком. Несколько сотен людей с нарастающим нетерпением стояли упрямо, ожесточенно, как бы готовясь к прыжку и при этом совершенно безмолвно – и не с обычным перед такого рода зрелищами всеобщим волнением, а с экстатическим жаром – дожидаясь, когда наконец начнется собственно «представление». Казалось, что никому уже не было никакого дела до других, что никто даже не задумывался, зачем здесь находятся остальные, или, может, наоборот: их словно бы приковали друг к другу, и эта прикованность делала безнадежной любую мысль об освобождении и, следовательно, бессмысленными всякие разговоры. Эта призрачная тишина, однако, была лишь одной

из причин той самой «необратимой тревоги»; другая же, несомненно, крылась в окруженном толпой грандиозном прицепе, ибо портье, как и прочим любопытствующим наблюдателям, сразу же бросилось в глаза, что на его прошитых рядами заклепок металлических стенках нет ни щелей, ни ручек, которые выдавали бы наличие двери, и по этой причине казалось (хотя это было полным абсурдом), будто перед людьми, обстреливаемая сотнями взглядов, стоит конструкция, которую невозможно отпереть ни сзади, ни спереди, ни с боков и которую, тем не менее, они этой своей молчаливой упертостью все же хотят взломать. В том факте, а факт этот не вызывал сомнений, что тревоги и опасения со временем ничуть не ослабевали в душе находившихся на площади горожан, немалую роль играло и то, что они невольно почувствовали: отношения между китом и его приверженцами носят какой-то односторонний характер. Было очевидно, что перед ними разворачивается не какое-то, ожидаемое с большим интересом, небывалое зрелище, а скорее всего не сегодня начавшийся и неясный по смыслу поединок с predetermined исходом, причем самым пугающим в этом противоборстве было то снисходительное презрение, с которым труппа из двух, понаслышке уже известных, членов – хозяина, по рассказам, болезненно располневшего и называющего себя Директором, и крепкого бугая, который, по непроверенной информации, был когда-то боксером, а теперь подвизался подручным в цирке – относилась к публике, которую никак нельзя было обвинить в безразличии или недостаточной преданности. Невзирая на затянувшееся ожидание, длившееся, как можно было понять, уже не один час, на площади до сих пор так ничего и не произошло, и поскольку не было даже намеков на то, что представление может начаться, многие местные, включая портье, стали подозревать, что намеренная задержка объясняется только одним – низким наслаждением, которое доставляло служителям кита, тем временем где-нибудь веселившимся, безропотное терпение коченеющей на трескучем морозе толпы. Вынужденные искать разгадку, они приближались к подобному выводу, а отсюда нетрудно было последовать дальше, убедив себя, что в фургоне «этих мошенников» наверняка и нет ничего, а если и есть, то какая-нибудь разлагающаяся дохлятина, всю никчемность которой им до сих пор удавалось маскировать по-базарному лживой, но, вне

всяких сомнений, эффектной рекламой каких-то «невероятных тайн»... Вот такими или похожими мыслями терзались местные жители в дальних, более или менее укромных и безопасных уголках площади, в то время как Валушка, все еще опьяненный впечатлениями от восхода солнца, весело извиняясь и ни о чем совершенно не беспокоясь, проталкивался сквозь толпу к огромной фуру. У него не было ни сомнений, ни каких-либо подозрений, что здесь может крыться подвох, напротив, когда, подойдя поближе, он увидел покоившуюся на восьми парах двухскатных колес махину, то уставился на нее словно на какое-то сказочное средство передвижения, которое поражало уже одними только своими размерами. Округлив глаза и с понимающим удовлетворением кивая, он оглядел фургон и, как ребенок, не успевший распаковать подарок, стал пытаться еще прежде, чем начнется действие, разгадать, как выглядит то, что скрывается там, внутри. Особенно его заворожили намалеванные на стенке фургона загадочные каракули, такие он видел впервые, и поскольку, как ни старался – читая и так и этак, снизу вверх и справа налево, – не мог разгадать их смысл, то решил спросить у соседа. «Скажите, пожалуйста, – тронул он за плечо стоявшего перед ним мужчину, – вы случайно не знаете, что там написано?» Но тот даже не шелохнулся, а когда – на повторенный несколько громче вопрос – все же рявкнул, не оборачиваясь («Заткни пасть!»), то Валушка счел за лучшее превратиться в камень и застыть на месте, как все остальные. Однако хватило его ненадолго. Похлопав глазами, он поправил ремень на плече, откашлялся и, повернувшись к мрачному типу рядом, дружелюбно заметил, что он никогда не видал ничего подобного, хотя цирк приезжает к ним не впервые, но чтобы такое... он только что подошел, но уже полностью очарован и даже представить себе не может, чем набили это огромное существо, древесной стружкой, наверное, и поинтересовался еще у соседа, не знает ли тот случайно, почем будут продавать билеты, потому что при нем всего пятьдесят с чем-то форинтов и было бы очень жаль за нехваткой денег не попасть в китовое логово. Но сосед молчал, продолжая пялиться в заднюю стенку фуры абсолютно неподвижным взглядом, – казалось, он даже не слышал путаного бормотания шебутного Валушки, который достаточно быстро понял: кого ни спрашивай в этой толпе, никто ему не ответит. В какой-то момент он почувствовал, что люди вокруг него

как-то особенно напряглись, а затем, проследив за их взглядами, увидел, как металлическая задняя стенка циркового прицепа медленно поплыла вниз и показалась пара мощных рук: по всей видимости, они только что изнутри сняли ее с петель и теперь опускали на землю, однако на полдороге неожиданно уронили, и крышка, ударившись нижним ребром о брусчатку, а внутренней стороной – о заднюю кромку кузова, с оглушительным грохотом упала на мостовую. Валушка, которого ринувшаяся к фургону публика вытолкнула в первые ряды, нисколько не удивился, что жилище кита, оказывается, можно открыть только изнутри, – не удивился прежде всего потому, что нисколько не сомневался: для действительно выдающейся цирковой труппы – а эта казалась именно такой – «интригующие приемы» подобного рода просто-напросто обязательны. К тому же внимание его было приковано главным образом к появившейся в «дверях» цирка двухметровой туше, принадлежность которой можно было установить не только благодаря тому, что, невзирая на крепкий мороз, верхнюю, густо поросшую растительностью часть туловища облегалла одна только замызганная майка (дело в том, что о Подручном шли слухи, будто он не выносит тепла), но и благодаря перебитому боксерскому носу, который – вкупе с отнюдь не свирепым, а скорее бестолковым взглядом – придавал лицу на удивление безобидный и даже кроткий вид. Он вскинул руки, застонал, как будто еще только просыпаясь, потянулся всеми своими могучими членами и, что-то лениво жуя, неспешно спустился в толпу, прихлынувшую к разверстому чреву трейлера; он нехотя оттащил в сторону обшарпанный лист гофрированной жести и прислонил его к боковой стенке фуры, а затем, опустив из машины на мостовую три дощатых трапа, отошел в сторонку и, держа в руках плоский денежный ящик, стал продавать билеты – причем с таким сонным, скучающим видом, как будто ему не было дела ни до процессии, гуськом двинувшейся по хлипким сходням, ни до опасно сгустившейся атмосферы, словом, казалось, будто ему все, как говорится, по барабану. Валушка стоял в очереди, сгорая от нетерпения, и на лице его было написано, как все ему здесь нравится: и толпа любопытствующих, и фургон, и металлическая кассета для денег, и сам кассир. Благодарно взглянув на флегматичного великана, он взял у него билет, поблагодарил и с облегчением оттого, что денег как раз хватило, опять попытался

завести разговор с кем-нибудь из сменявшихся в толчее соседей, а когда наконец подошел его черед, он тоже, размахивая руками, поднялся по хлипким мосткам и ступил в огромную сумеречную полость «китового логова». На приземистой, сбитой из крепких брусьев платформе лежала невероятных размеров туша – СЕНСАЦИОННЫЙ VLAANVAL<sup>[1]</sup>, как было начертано мелом на висевшей сбоку доске, но ознакомиться с описанием, сделанным там же мелкими буквами, и узнать, что вообще означает этот самый «vlaanval», возможности не было, ибо желающего остановиться машинально толкал вперед непрерывный людской поток. Так и не получив ни разъяснений, ни отрезвляющей информации, Валушка, разинув рот и повторяя про себя загадочное слово, со смесью страха и изумления уставился на необычайного монстра. Смотреть на кита вовсе не значило видеть его, так как одновременно охватить взглядом и могучий хвостовой плавник, и высохшую, местами потрескавшуюся стального цвета кожу, и особенно широко распластанное посередине туловище уже в силу их невероятных размеров было делом безнадежным. Кит был слишком большой, слишком длинный и не помещался в поле зрения Валушки; не удалось ему и встретиться с китом взглядом, когда, встроившись в беспрерывно текущую вереницу зрителей, за несколько долгих минут он дошел до разверстой, эффектно распяленной пасти животного, потому что видел все по отдельности – и темный зев, и глубоко посаженные маленькие глаза с той и другой стороны, и узкие ноздри дышала на лбу, – но не мог обозреть всю голову целиком. К тому же было темно, висевшие под потолком лампочки не включали, и невозможно было остановиться, задержаться хотя бы здесь, в глубине фургона, перед пастью с громадным языком внутри, намеренно препарированной так, чтобы кровь стыла в жилах; однако ни это, ни невозможность для наблюдателя обозреть кита не нарушали его потрясенного изумления, ибо ничто не могло отменить полноты и ясности полученной вести, а именно что этот невероятный свидетель бесконечно далекого и неведомого мира, этот смиренный и вместе с тем устрашающий обитатель великих морей-океанов *находится здесь* и можно даже потрогать его руками. Но в своей потрясенности Валушка был удивительно одинок, остальные же – покорно протопав в тяжелом смраде вокруг кита – вовсе не проявляли восторженного изумления,

напротив, казалось даже, будто выставленный на всеобщее обозрение вестник не так уж им и интересен. Надо, правда, сказать, что они то и дело смущенно оглядывались на застывшего посреди фургона гиганта, и во взглядах этих, конечно, проскальзывал вполне объяснимый в подобных случаях почтительный страх, однако же главным образом их бегающие, одновременно жадные и напуганные глаза обшаривали сам фургон, как будто в нем должно было быть еще нечто, наличие чего – пусть даже только гипотетическое – казалось им самым важным на свете. Но внутри прицепа, еще более безотрадного из-за сеющего снаружи скупого света, ничто не указывало на такое присутствие. Прямо у входа вошедшие могли видеть несколько металлических шкафчиков, один из которых стоял открытым, но выстроившиеся на его полках склянки с десятком плавающих в формалине сморщенных человеческих эмбрионов выглядели так жалко, что их не заметил даже Валушка, не говоря уж об остальных; в другом конце фургона был отгорожен ширмой один из углов, но и там через довольно широкую щель можно было увидеть только таз да кувшин с водой. Наконец, прямо напротив разинутой пасти кита, посередине гофрированной металлической перегородки, отделявшей передний отсек фургона, видна была дверь (кстати, тоже без ручки), которая, по всей видимости, вела в спальное помещение циркачей; и хотя именно здесь, перед этой дверью, было особенно хорошо заметно необычайное сдавленное волнение публики, Валушка, даже если бы обратил на него внимание, вряд ли смог бы понять его причины. Но ему было совсем не до наблюдений – он был полностью очарован китом, и когда, обзрев сказочное существо уже и с другой стороны и благополучно спустившись на землю с довольно высокой платформы, оказался на свежем воздухе, то даже не обратил внимания, что прошедшие перед ним тот же путь сотоварищи, покинув фургон, опять становились примерно на то же место, откуда отправились, как будто, повидав после многочасового ожидания кита, они еще не достигли своей истинной цели. Да, на это Валушка внимания не обратил – может быть, чтобы вечером, когда он сюда вернется, раньше всех догадаться о том, что представляет собой эта загадочная компания и в чем смысл дьявольского упорства ее приверженцев, – и поэтому для Валушки, в отличие, например, от ночного портье, которого он радостно поприветствовал, это зрелище оставалось пока что небывалым

аттракционом, захватившим его настолько, что, когда портье, поманив его, спросил взволнованным шепотом: «Ты можешь мне объяснить, что там делается?.. Тут народ про какого-то герцога говорит...» – то он, увязав вопрос со своими мыслями, восторженно заявил: «Да какой там герцог, господин Арделян! Берите выше!.. Там зрелище... вы сами увидите... прямо царственное...» – и, от волнения покрасневшись, покинул знаконца, который остался в полном недоумении. Прижимая сумку к груди, он протиснулся сквозь толпу, и поскольку, по его ощущениям, время уже перевалило за полдень, к тому же была среда, и значит, вскоре должна была появиться супруга господина Эстера с «чемоданом из прачечной», то Валушка решил сначала пойти домой и управиться с этим делом, а газеты ведь могут и подождать, он их днем разнесет. И он двинулся в сторону Мостовой улицы, и пока – не догадываясь, что сейчас ему надо бы не идти домой, а бежать прочь из города, в какое-нибудь безопасное место, – он, временами приостанавливаясь и с лукавой улыбкой поглядывая на небо, шел к дому, до которого его быстрым шагом ходу было лишь две-три минуты, и по дороге опять и опять – пускай и неясно, но уже целиком! – видел перед собой смиренного исполина, перед которым пасует человеческое воображение, и в изумлении думал: «До чего же велик!.. как велико и могущественно творение!.. и как бесконечно загадочен владыка мира, забавляющийся такими необыкновенными существами!..» – а от мыслей этих уже нетрудно было вернуться к своим возвышенным размышлениям на рассвете, увязать их с ощущениями от событий на рыночной площади и без слов, в непрерывном внутреннем монологе, звучавшем в его душе, прийти к пониманию того мягкого, но окончательного в своем приговоре жеста, каким великий Господь заботливо прикрепляет к каждому из миллиардов живых созданий – включая и этого устрашающе занимательного кита – ярлык собственного всемогущества. Он склонил голову, то есть по-своему вновь обратил взор к небу, и полностью погрузился в немую радость, в которой все сущее в мире по-братски сливалось как части единой мысли, и вот уже он... только что не летел мимо безлюдных, как могло показаться, домов Мостовой улицы; он мчался вперед по залитой грустным безмолвием площади Вильмоша Апора и по продрогшей на холоде улице Дюрера, но можно сказать и так, что он, словно пустившись наперегонки сам с собой,

разделился на двух Валушек – летящего и бегущего, чтобы вскоре прервать и полет, и бег, которые завершились неожиданным приземлением и внезапной остановкой, потому что когда он, свернув в калитку и пробежав по узкой дорожке, ведущей от дома Харрера к бывшей постирочной, толкнул дверь, то, к величайшему изумлению, обнаружил в своем жилище гостью, которая, видимо, намекая на его «сияющие глаза», тут же, без предисловий, набросилась на него со словами: «Ну скажите мне бога ради, чему это вы так радуетесь все время?! Уж лучше бы дверь запирали как следует, а то неровен час еще ограбят!» Обычно чемодан с бельем она оставляла у Харреров или вручала его Валушке, не переступая порога, и еще никогда не случалось, чтобы она вошла в помещение и задержалась там, вот почему он не мог поверить, что его неожиданной гостьей является госпожа Эстер, приводившая его в ужас «союзница», которая сидела теперь здесь, среди его разбросанных по комнате шмоток и к тому же с багровым от гнева лицом, отчего Валушка, особенно когда стала понятна причина гнева – та прождала его здесь с утра! – от растерянности забыл, где находится и что тут делает. Ошарашенный внезапным спуском на землю и до ушей покрасневший не только от оказанной ему чести, но и от конфуза (ибо за отсутствием другого места госпожа Эстер была вынуждена сесть на его кровать), Валушка сперва смахнул с табуретки на пол недоеденный хлеб, промасленную бумажку с остатками смальца, пустую консервную банку и луковую шелуху, а затем – под свирепыми взглядами гостьи, переместившейся на очищенный табурет – попытался незаметно запнуть под шкаф валявшиеся под ногами носки и с идиотской улыбкой спрятать куда-нибудь забытые на кровати сомнительной чистоты трусы. Однако что бы он ни предпринимал, ситуация не разряжалась, напротив, положение дел в его комнате становилось все более безнадежным, но он тем не менее продолжал отчаянную борьбу с гниющими в углу яблочными огрызками, с разбросанными вокруг масляной печки окурками, которые свидетельствовали о визитах Харрера, и не желавшей закрываться дверью платяного шкафа, пока госпожа Эстер, видя, что «он плевать хотел» на ее слова, не рявкнула на него взбешенно, приказав «сию же минуту все прекратить!» и куда-нибудь сесть наконец, потому что ей нужно поговорить с ним об очень серьезном деле. В голове у него кружилось еще столько всего, что в

первые минуты он не мог понять, о чем говорит ему этот знакомый грохочущий голос; он кивал, хлопал глазами и ерзал на месте, откашливался, но когда его гостья, рассуждавшая о неких «новых временах» и о «суровых карах», обрушившихся на мир, возвела очи горе и оказалась уже где-то за горизонтом, он по-прежнему был способен только на то, чтобы с выражением жаркого согласия на лице пялиться в пол перед табуретом. Вскоре, однако, госпожа Эстер, заложив вираж, тоже спустилась с небес, но все, что Валушка теперь уяснил из ее речей, нисколько не успокоило его. Потому что, с одной стороны, он искренне радовался известию, что гостья и его мать, госпожа Пфлаум, накануне «расстались искренними друзьями» (ведь теперь можно было надеяться, что при посредничестве этой женщины удастся как-то умиротворить родительницу), а с другой стороны, его привел в ужас план, согласно которому «в связи с возрастающим объемом бумажной работы и новым общественным статусом» госпожа Эстер «прямо сегодня!» собирается возвратиться из ставшей ей тесноватой съемной квартиры домой и поэтому хочет незамедлительно – рискуя разоблачить их длившиеся годами тайные «игры в прачечную» – отправить с Валушкой свои пожитки, ибо, учитывая физическое состояние его престарелого друга, нельзя сомневаться, сколь опасен такой поворот событий для человека и без того чрезвычайно чувствительного, которого при одном упоминании имени его супруги тут же охватывала нервная дрожь. И поскольку ему было столь же легко предвидеть, каким роковым ударом будет для их усилий по улучшению как здоровья, так и условий работы господина Эстера, если его союзница и правда осуществит свой замысел, сколь трудно было оному замыслу воспрепятствовать, то ему показалось чуть ли не спасением, когда его гостья – рассказав между делом о каком-то новом движении, а также о том, что на роль его лидера, по мнению горожан, не может претендовать никто, кроме Дёрдя Эстера – заметила дополнительно: коль скоро речь идет о poste столь почетном и столь значительном, то согласие господина Эстера занять его сделало бы ее самой счастливой и гордой супругой в мире (и кроме того, добавила она тише, разумеется, побудило бы отложить переезд, ибо ни за какие сокровища в мире она не осмелилась бы чинить помехи в деле, громадность которого никак не соизмерима с ее собственной скромной работой), беда только в том, что она, безнадежно вздохнула госпожа

Эстер, в отличие от госпожи Пфлаум, которая полагает, что это дело, все как есть, нужно тут же доверить Валушке и успех будет обеспечен, «к сожалению, зная о слабом здоровье мужа и его отшельнической натуре, – продолжила она уже громче, – далеко в этом не уверена». Поняв наконец, о чем шла речь, Валушка не знал, чему больше радоваться: тому ли, что его мать, невзирая на все – вполне, впрочем, понятные для него – обиды, как только потребовалось решить непростую проблему, вспомнила (причем «тут же!») о своем сыне, или той небывалой самоотверженности, которой – показав свой характер с неожиданной стороны – изумила его госпожа Эстер. Как бы то ни было, Валушка пришел от всего этого в такой восторг, с таким пылом вскочил с кровати и, бегая из угла в угол по комнате, так горячо убеждал свою гостью, что «он согласен участвовать в этом деле и ради успеха готов на все», что женщина, обычно такая степенная и суровая, разразилась коротким, но искренним смехом. Этот смех, однако, еще не означал немедленного согласия, и предложение Валушки было принято гостьей лишь после длительных прений и уговоров, да и то – хотя в нескольких обтекаемо-неопределенных фразах она изложила Валушке «основные сведения относительно их движения» и даже записала на клочке бумаги фамилии «тех людей, с которыми будущий лидер должен уже сегодня провести разъяснительную работу», – в том, что касалось чемодана и связанного с ним послания, госпожа Эстер была непреклонна, так что когда они, наконец-то покинув усадьбу Харрера, зашагали по улице Дюрера и Валушка – на морозе, почти не смягчившемся, несмотря на полуденный час – стал рассказывать ей об увиденном на площади Кошута «замечательном представлении», она с полным безразличием к услышанному продолжала о том же: о чемодане и о деталях планируемого переезда, – и даже на углу улицы Йокаи, где им предстояло расстаться, все повторяла не унимаясь, что если до четырех часов дня Валушка не явится к ней с однозначно положительным ответом мужа, то она, госпожа Эстер, согласно своим изначальным планам, будет вынуждена «уже сегодня ужинать в доме на проспекте барона Венкхейма». С тем она повернулась и отправилась, как она выразилась, по своим «неотложным делам», а Валушка, с «прачечным чемоданом» в одной руке и с запиской в другой, наверное, целую минуту умиленно смотрел ей вслед в полной уверенности, что если его старый друг и сомневался прежде в

«несомненных достоинствах этой выдающейся женщины», то этот красноречивый жест, это яркое проявление доброй воли и самопожертвования все же заставят его изменить свое мнение. Ибо сам он давно уже понял, с кем он имеет честь знаться в лице этой с виду суровой и властной женщины, – понял, когда госпожа Эстер, навестив его в первый раз, объявила, что с этих пор, если Валушка готов держать дело в тайне, она будет лично, «этими вот руками», обстирывать своего мужа; и тогда, уже несколько лет назад, ему стало ясно, что все ее существо проникнуто беспредельным почтением и преданностью к столь холодно отвергающему ее господину Эстеру. Когда же он осознал вдруг, чего, собственно, добивается его гостя своим недвусмысленным планом «возвращения в дом», а она добивается, несомненно, той цели, чтобы, воспользовавшись необоснованной неприязнью супруга к себе, принудить его к участию в том движении, которое, может быть, для того и организовано ею, чтобы «значительность Дёрдя Эстера» была понятна не только ей, но чтобы она была еще очевидней и для всего города, – вот когда Валушка уверился: одинокий жилец дома на проспекте Венкхейма больше не сможет противостоять этой невероятной настойчивости и поймет, что он просто бессилен перед столь беззаветной страстью. На улице поднялся ветер, и двинувшемуся в путь Валушке приходилось бороться за каждый вдох; чемодан с каждым метром становился все тяжелее, тротуар под ногами скользил, орды бродячих кошек (которые не удосуживались даже уступать дорогу) все больше нагнали, однако ничто не могло испортить ему настроения, потому что он чувствовал: еще никогда он не отправлялся в дом своего пожилого учителя с таким ворохом добрых вестей; он был убежден: сегодня все будет иначе, сегодня ему удастся развеселить старика. Потому что именно с этой целью Валушка всегда отправлялся к нему с тех пор, как он – еще несколько лет назад, вскоре после отселения госпожи Эстер – в роли доставщика обедов познакомился с этим домом и его невеселым хозяином, в особенности же с тех пор, как сей, по его мнению, «выдающийся знаток по достоинству не ценимой горожанами музыкальной теории, человек легендарный, окруженный всеобщим почтением, но живущий из скромности в строгом уединении и даже, в связи с болезнью спины, отчасти прикованный к постели», к величайшему его изумлению, заявил однажды, что считает его *своим*

*другом.* И хотя он не мог понять, чем заслужил эту дружбу и почему господин Эстер не отметил своим добрым расположением кого-то другого (кто был бы способен схватывать и запоминать все движения его мысли, ибо сам он, Валушка, к стыду своему, в лучшем случае понимал их лишь в общих чертах), начиная с этого дня считал себя просто обязанным вытащить его из смертельной трясины отчаяния и разочарования, что удерживала в своем плену не только его, но и весь город. А надо сказать, что от внимания Валушки – что бы о нем ни думали – вовсе не ускользало, что вокруг него все только и говорят о каком-то «распаде» и о том, что распада этого избежать уже невозможно. Говорили о «неудержимо растущей анархии», о «непредсказуемости повседневной жизни», о «приближающейся катастрофе», говорили, казалось, не вполне отдавая себе отчет о *весомости* своих слов, потому что, как думал Валушка, эпидемию всевозможных страхов вызывала отнюдь не уверенность в абсолютной неотвратимости с каждым днем все более очевидной беды, а тяжкий недуг самопожирающего воображения, который в конце концов действительно мог привести к беде, другими словами, речь шла о ложном предчувствии, которое охватывает человека, когда, извратив представление о своей роли, он начинает трещать по всем внутренним швам, потому что – невзначай оторвавшись от вечных законов души – внезапно теряет власть над устроенным без должного смирения собственным миром... Ему было досадно, что он не мог объяснить это своим друзьям, которые его даже не слушали, но больше всего его огорчало, когда некоторые из них совершенно безапелляционным тоном заявляли, что живут они «в сущем аду между зловещим будущим и непонятным прошлым», ибо эти ужасные мысли очень напоминали ему те слова, те мучительно беспощадные речи, которые ему что ни день приходилось выслушивать на проспекте барона Венкхейма, там, куда он как раз и прибыл. Именно это и было, увы, самым огорчительным, потому что, как бы ему этого ни хотелось, он не мог отрицать, что наделенный незаурядной поэтической чуткостью, исключительной утонченностью и характерным для людей такого масштаба очарованием господин Эстер, который, по всей вероятности, в знак симпатии, не упускал случая ежедневно по крайней мере в течение получаса играть ему – которому слон на ухо наступил! – знаменитого Баха, был самым разочарованным из всех знакомых ему

людей, ну а поскольку Валушка считал это результатом подавленности и уныния, вызванных затяжной болезнью и прикованностью к постели, то в задержке с выздоровлением винил прежде всего себя и надеялся лишь на то, что если он будет в своих услугах еще более тщателен и еще более основателен и если наступит полное исцеление, то его знаменитый друг одновременно избавится и от «неоперабельного, как могло показаться, бельма» своего пессимизма. Никогда Валушка не переставал верить, что этот момент наступит; и теперь, когда он вошел в дом и, проходя по заставленной книжными стеллажами длинной прихожей, задумался, с чего же начать – с рассказа о рассвете, с кита или с движения госпожи Эстер, – то почувствовал, что столь ожидаемый им момент окончательного выздоровления уже совсем близок. Остановившись у хорошо знакомой двери и переложив чемодан из одной руки в другую, он представил себе тот неземной благодатный свет, который – когда этот момент настанет – прольется на господина Эстера. Ибо тогда – по обыкновению, трижды постучал он в дверь – ему будет на что посмотреть и чему подивиться, ведь ему будет явлен тот нерушимый порядок, под знаком которого беспредельная и прекрасная сила объединит в одно безмятежное целое вспыхивающие и стремительно гаснущие жизни друг без друга немислимых пеших и плавающих существ, обитателей суши и моря, земли и неба, воздуха и воды; он увидит тогда, что рождение и гибель суть лишь два потрясающих мига в ходе вечного пробуждения, и увидит сияние изумленных глаз, которым все это откроется; и почувствует – мягко нажал он на медную дверную ручку, – ощутит нисходящее на леса и горы, долины и реки тепло, откроет таинственные глубины человеческого существования, поймет наконец, что неразрывные узы, связывающие его с этим миром, вовсе не каторжные кандалы и не приговор, а верность неистребимому чувству, что у него есть дом; и обретет ни с чем не сравнимую радость взаимности, сопричастности тому, что его окружает: дождю и ветру, солнцу и снегопаду, полету птицы, вкусу фруктов и ароматам лугов; и тогда он поймет, что все его страхи и горечи всего лишь балласт в гондоле аэростата, держащегося за землю живыми корнями прошлого и влекомого к небесам уверенными надеждами на благое будущее, точно так же – открыл он дверь, – как он узнает в конце концов, что всякая наша минута: полет сквозь рассветы и ночи вращающейся

Земли, сквозь приливы-отливы зноя и холода, мимо планет и звезд. С чемоданом в руке он вошел и остановился, прищурившись в полумраке.

Прищурившись в полумраке, Валушка растерянно улыбнулся, а господин Эстер, слишком хорошо знающий взбудораженное воодушевление, которое неизменно сопровождало его появление, одновременно приветственным и успокаивающим жестом велел ему сесть на привычное место за курительным столиком и, пока его молодой друг отогревался от внешнего мороза и остывал от пылающего внутреннего восторга, попытался отвлечь гостя много раз передуманными стариковскими рассуждениями. «Снега больше не будет», – без предисловий заговорил он, явно обрадованный тем, что может вслух продолжить ход своих одиноких мыслей и в то же время суммировать все, к чему нынешним утром, после того как покончил в отведенное для этого время с утренним туалетом и дождался, когда, к его величайшему облегчению, квартиру покинет госпожа Харрер, он пришел «относительно состояния мира на данный момент». Конечно, он мог бы подняться, чтобы убедиться самому в справедливости последнего откровения, либо попросить об этом сидящего в кресле взволнованного гостя, только это был бы не он, потому что раздернуть тяжелые шторы и уставиться на безрадостный мертвый пейзаж, наблюдая, как, петляя под налетающими порывами ледяного ветра, проносятся в кладбищенской тишине меж застывших домов обрывки газет и бумажных пакетов, то есть выглянуть, посмотреть в огромное, явно созданное для другой эпохи окно, он полагал делом совершенно бессмысленным, и не только по той причине, что в борьбе с ненужными телодвижениями ему не было равных, но и потому еще, что абсурдным казалось само допущение, будто главное, что могло взволновать его сразу после пробуждения, был вопрос, а пошел ли уже на улице снег, – ведь даже отсюда, из своей кровати, изголовьем обращенной к окну, обе створки которого были задрапированы самым тщательным образом, он мог констатировать, что этой, бесповоротной уже, зимой они не дождутся не только рождественского покоя и радостного благовеста, но даже и снега, – разумеется, если можно назвать зимой беспощадное царство голого холода, в котором последним беспечным развлечением Эстера было решение головоломки: что первым придет в негодность, жилец или его жилище.

Что до последнего, то оно каким-то образом все еще стояло, невзирая на то что госпожа Харрер, которой было поручено на рассвете затапливать печь – и более ничего, – раз в неделю под видом уборки, вооружившись веником и тряпками для сметания пыли, занималась внутри той же разрушительной деятельностью, какой снаружи занимался мороз. Лихо размахивая вокруг себя тряпкой, она резво и боевито, разрушительным ураганом носилась туда и обратно по коридору, по кухне, по столовой и задним комнатам и, расшвыривая безделушки, передвигала с места на место, мыла и терла и без того едва державшуюся на ножках, потрескавшуюся и рассохшуюся мебель и с регулярностью раз в неделю, под предлогом ухода за тончайшим фарфором из берлинских и венских сервизов, непременно что-нибудь разбивала, чтобы затем, как бы в награду за бескорыстные благодеяния – к вящей радости местного антиквара – оделить себя то серебряной ложечкой, то какой-нибудь книжкой в сафьяновом переплете, словом, госпожа Харрер без устали что-то подметала, мыла, протирала и переставляла в доме, пока атакуемое снаружи и изнутри здание не пришло в состояние, когда все оно, можно сказать, держалось уже только на просторной – тоже предаварийной, но все-таки сохранявшей свой изначальный вид – гостиной, единственном помещении, порог которого «криворукая радетельница уюта» не переступала («Потревожить господина директора?! Когда он работает?!») ни при каких обстоятельствах. Но, конечно же, приказать госпоже Харрер ограничиться только тем, для чего ее нанимали, было невозможно, ибо Эстер, не любивший грубости, приказной стиль полагал для себя неприемлемым и старался его избегать, а кроме того, было ясно, что женщина – если уж у нее нет доступа к нему и его окружению – под влиянием загадочного синдрома навязчивой добродетельности продолжит свою борьбу с еще уцелевшими предметами обихода невзирая на все запреты, так что пришлось ему, хозяину дома, в качестве убежища удовлетвориться одним помещением, и это его устраивало, ибо здесь, благодаря слухам – которые распространялись по всему городу и держали в узде даже госпожу Харрер – о мнимых его музыкальных штудиях, он не только не должен был беспокоиться о хрупкой целостности и сохранности обстановки, но и мог быть уверен в том, что, опять же благодаря упомянутому заблуждению, ничто не грозит помешать его настоящей борьбе или, по его словам,

«генеральному отступлению перед лицом беспросветной глупости так называемой человеческой истории». В печи, стоявшей на стройных, из гнутой меди ножках, как принято говорить, весело полыхало пламя, и именно эта печь была здесь единственным, пожалуй, предметом, который не сразу выдавал, что и его безвозвратно переварило время, ибо некогда благородные персидские коврики, шелковые обои на стенах и свисающая из ломаной гипсовой розетки не нужная никому хрустальная люстра, два резных кресла, софа и курительный столик с мраморной столешницей, венецианское зеркало, потускневший дряхлый «Стейнвей», а также бесчисленные думки, пледы и разного рода безделушки, словом, эти унаследованные от прошлого предметы семейной гостиной, все и каждый в отдельности, давно уже прекратили бессмысленную борьбу со временем и если не развалились еще на части, то, скорее всего, только благодаря укрепляющему воздействию многолетнего слоя пыли и сдерживающей силе постоянного, мягкого, почти незаметного хозяйского присутствия. Неизменное это присутствие и невольный присмотр вовсе не означали, однако, уверенного господства здоровья и жизненной силы над окружением, ибо в наиболее плачевном состоянии находился как раз безвылазый обитатель двухспальной, лишенной былых украшений кровати, перекочевавшей сюда из спальни, то есть он сам, лежащий среди взбитых подушек мужчина, чье худое, как щепка, тело, только из деликатности называемое поджарым, медленно, но уверенно разрушал даже не бунт, сам по себе объяснимый, внутренних органов, но постоянный протест против сил, пытающихся тормозить их естественную и бурную деградацию, иными словами – безжалостное решение духа, по какой-то причине обрекшего себя на комфорт бездеятельности. Он лежал неподвижно, держа вялые руки поверх одеяла, потраченного молью, и именно это оцепенение и эта вялость точнее всего отражали общее состояние его организма – а именно то, что в действительности его изнуряли не боли в спине, не начинающаяся болезнь Шейермана и не какой-то иной, грозящий внезапной смертью недуг, нет, его состояние было скорее тяжелым следствием апатии и вечного лежания в постели, не пощадивших ни его мышцы, ни кожу, ни аппетит. Это был протест организма, плененного одеялами и подушками, физической его части, потому что ни упорное принуждение себя к покою, прерываемому в последнее

время только появлениями Валушки да утренними и вечерними ритуалами, ни окончательное самоустранение от каких бы то ни было дел не могли подорвать его силу воли и душевную стойкость. Об этом свидетельствовали его ухоженные седые волосы, стриженные усы и безусловно подобранный ансамбль повседневной одежды – брюки с манжетами, накрахмаленная рубашка, аккуратно повязанный галстук и темно-бордовая домашняя куртка, но прежде всего говорили об этом его голубые глаза, непреклонно сиявшие на бледном лице, и вообще первозданная острота его зрения, способность, окинув взглядом себя и свое погибающее окружение, тотчас же уловить за своей холемостью и за хрупким очарованием и изяществом своих вещей мельчайшие новые признаки продолжающегося распада, ибо он ясно видел, что все сущее соткано из одной субстанции, из благородной и легко улетающей сущности – никому не нужной формы. С такой же остротой чувствовал он не только связь между хозяином и его владением, но и глубинное родство, которое, несомненно, существовало между мертвым покоем гостиной и безжизненным холодом внешнего мира: словно неумолимое зеркало, вечно показывающее одно и то же, небо бесчувственно отражало поднимающуюся от земли безутешную грусть, и в сумерках, день ото дня делающихся все мрачнее, раскачивались на шквальном ветру облетевшие каштаны, уже приготовившиеся к тому, чтобы окончательно вывернуться из земли; дороги и улицы были пустынные, «как будто осталось дожидаться только бездомных кошек, крыс и толп погромщиков», за городом же безвидность и пустота равнины ставила под сомнение трезвость всякого, кто вознамерится остановить на ней взгляд, – чем другим могла отвечать на это безрадостное убожество, на эту заброшенность и пустынность гостиная господина Эстера, как не своей пустыней, не иссушающим излучением усталости, разочарования и той одержимости, с которой хозяин приковал свою плоть к постели, – излучением, которое, проникая сквозь панцирь цвета и формы, разрушает повсюду, от пола до потолка, живую сущность древесины и ткани, стекла и металла. «Снега больше не будет, – опять констатировал он и, бросив на гостя, нетерпеливо елизившего в кресле, спокойный умиротворяющий взгляд, подался вперед, чтобы расправить сбившееся у ног одеяло. – Не будет, – опустил он на подушки. – Конвейер по производству снега

остановился, так что с неба не упадет больше ни одной снежинки, и вы, мой дорогой друг, – добавил он, – отлично знаете, что это, по правде сказать, еще не самое страшное...»; еле заметным движением руки он дал понять почему – совсем легким жестом, ибо уже много раз объяснял: эти ранние убийственные морозы, ударившие после засушливой осени, и ужасающее отсутствие всяких осадков («О блаженные времена, когда дождь лил не переставая!») всего лишь, подобно ударам колокола, доводят до нас непреложный факт, что природа, со своей стороны, тоже остановила свою упорядоченную работу, что братский союз Неба и Земли раз и навсегда расторгнут и теперь, видимо, начался одинокий полет по орбите, усеянной мусором от наших, рассыпавшихся к чертям собачьим, так называемых законов, «и все кончится тем, что мы будем стоять, дрожа на холоде, изумленно и тупо, как нам и положено, наблюдая за тем, как от нас удаляется свет». По утрам, уходя, госпожа Харрер в щелочку приоткрытой двери снабжала его день ото дня все более абсурдными слухами – то о раскачивающейся Водонапорной башне, то о чуде пришедших в движение шестеренках часов на церковной башне (а на этот раз, разумеется, она не преминула рассказать о «сборище адских отродий» и о каком-то дереве в переулке Семи вождей), но во всем этом он не видел уже ничего удивительного и ни минуты не сомневался, что все сказанное – невзирая на очевидную недалекость вестницы – является истинной правдой, лишь подтверждая то, о чем он и так вынужден был догадываться, а именно что вере в наличие связей между следствиями и причинами, в иллюзию, будто возможно предвидеть события, и, стало быть, «в существование разума» наступил конец. «Мы потерпели провал, – продолжил господин Эстер; он окинул глазами гостиную и остановил взгляд на вылетающих из печки и стремительно гаснущих искрах. – Полный провал во всех наших мыслях, делах и фантазиях, равно как и в жалких попытках понять, почему так случилось; бросили псу под хвост Бога, растоптали дисциплинирующее уважение к чести и достоинству, отказались от слепой, но во всяком случае благородной веры в то, что каждый из нас будет взвешен и найден тем более легким, чем большее расстояние будет отделять его от древних десяти заповедей... иными словами, мы провалились, опозорившись на все мироздание, в котором, надо думать, нам больше нечего делать. В народе, – с улыбкой глянул он на

Валушку, мечущегося между желанием высказаться и необходимостью вежливо слушать, – если верить этой болтушке Харрер, идут разговоры об Армагеддоне, о Страшном суде, потому что им невдомек, что никакого суда, никакого Армагеддона не будет... в этом нет никакой нужды, все схлопнется и без этого, схлопнется, чтобы начаться сначала, и так будет до бесконечности, потому что, наверное, с этим дело обстоит точно так же, – поднял он глаза к потолку, – как с нашим беспомощным блужданием по вселенной, которое, однажды начавшись, не остановится уже никогда. От этого, – Эстер закрыл глаза, – кружится голова и охватывает тоска; боже праведный, какая охватывает тоска человека, которому удалось избавиться от иллюзии, будто в этом кромешном круговороте созидания и распада, рождения и смертей угадывается какой-то определенный план, какой-то гигантский и восхитительный целеустремленный замысел, а не холодное, слепящее своей однозначностью механическое движение... Конечно, возможно... что изначально... какой-то замысел был, – взглянул он опять на беспокойно зашевелившегося гостя, – однако сегодня об этой юдоли исполнившейся печали нам лучше бы помолчать, дабы не бередить смутную память о том, кому мы всем этим обязаны. Да, лучше нам помолчать, – повторил он несколько более звонким голосом, – а не прояснять безусловно благие намерения бывшего нашего патрона, ведь о том, для чего он нас создал, мы гадали уже предостаточно и, как видим, ни к чему не пришли. Ни к чему не пришли ни в этом, ни в чем другом, потому что, и я говорю это не случайно, столь желательной прозорливостью наградили нас скуповато: зуд любознательности, вновь и вновь побуждавший нас разобраться в реальности, скажем прямо, к большим успехам нас не привел, а если мы иногда и докапывались до какой-нибудь ерунды, то нам это выходило боком. Если будет позволена мне такая дрянная шутка, представим себе, – провел он рукой по лбу, – первого человека, который подбросил вверх камень. Бросает он камень, тот падает, вот здорово, думает человек. Но что происходит дальше? Этот камень однажды шарахает человека по голове. Так что поосторожней надо с любознательностью и всяческими экспериментами, – мягко предостерег своего друга господин Эстер. – Лучше нам удовольствоваться пусть жалкой, зато неопровержимой истиной, которую все мы, за исключением только ангельских, вроде вашей,

натур, ощущаем собственной шкурой, а именно что в этом, вне всяких сомнений замечательном, мироздании мы являемся просто жертвами маленькой неудачи и что вся человеческая история, если вспомнить авторитетный источник, это повесть, в которой много шума, страстей и крови и которая рассказана фигляром, кривляющимся в дальнем углу необозримой сцены, или, если хотите, история есть своего рода вынужденное признание в заблуждении, медленное и мучительное признание того факта, что это создание получилось не слишком удачным». Он потянулся к ночному столику за стаканом, глотнул воды и, бросив пристальный взгляд в сторону кресла, не без тревоги заметил, что его преданный посетитель, который давно уже перерос роль самоотверженного помощника, сегодня выглядит беспокойнее, чем обычно. Придерживая одной рукой поставленный чемодан, а в другой судорожно сжимая какую-то бумажку, Валушка сидел в своей неизменной, с раскинутыми сейчас ногами, казенной шинели и как бы выглядывал из собственной тени; внимая тихому потоку его рассудительной речи, он все больше колебался, не зная как быть: выслушать ли, как обычно, преданно, до конца своего престарелого друга, как велела ему заботливая сострадательная натура, или тут же – как бы в утешение и тоже по обыкновению – поведать ему о великом своем потрясении, которое он пережил во время ночной или, точнее сказать, предрассветной прогулки в поднебесных куцах? Подчиниться обоим этим побуждениям одновременно он явно не мог, и все это, вся эта нерешительность и растерянность, нисколько не удивляли Эстера. Он привык, что Валушка всегда влетал к нему в комнату словно на крыльях, в радостном возбуждении, равно как, в свою очередь, и Валушка свыкся – словно с какой-то важной традицией – с тем, что пока он хоть немного не отойдет от «невыразимой радости космических переживаний», его развлекает горьким юмором своих строгих суждений господин Эстер. Так было между ними уже много лет: Эстер говорил, Валушка слушал, чтобы затем – как только на лице успокаивающегося гостя появится наконец первая мягкая улыбка – хозяин с готовностью передал ему слово, поскольку речи, которыми с «блистательной слепотой и непорочным очарованием» отвечал ему молодой почитатель, смущали Эстера не содержанием, а скорее только начальной пылкостью. Вот уже почти восемь лет его посетитель каждый полдень и в конце дня сбивчивым от волнения голосом

рассказывал ему одну и ту же историю – нескончаемую фантазмагорическую эпопею о планетах и звездах, о солнечном свете и ускользающей тени, о беззвучной работе вечно вращающихся небесных тел, которая, словно «немое свидетельство непостижимого разума», очаровывала Валушку во время его беспрестанных ночных блужданий под небесами, с некоторых пор окончательно скрывшимися за тучами. Что касается Эстера, то он о небесных вопросах предметно никогда не высказывался, хотя частенько, дабы разрядить атмосферу, шутил об этом «вечном вращении» («Ничего удивительного, – как-то лукаво сощурился он, повернувшись в сторону кресла, – что за столько тысячелетий на этой вечно вращающейся Земле люди так и не пришли в себя, – ведь все их внимание направлено только на то, чтобы просто не шмякнуться задницей...»), однако позднее он стал избегать и таких необдуманных шуток, причем не только из опасения повредить хрупкий универсум Валушкиного воображения, но и по той причине, что считал неправильным оправдывать жалкое состояние наших бывших и будущих сожителей по планете необходимостью – «вообще-то и правда малоприятной» – постоянно где-то болтаться. В многосложном порядке их собеседований Небо, стало быть, целиком, в том числе и в буквальном смысле, принадлежало Валушке: ведь мало того, что из-за плотной пелены туч его давно уже не было видно (а значит, и апеллировать к нему не вполне уместно), тот космос, в котором жил Валушка, по убеждению Эстера, не был связан с реальностью; он был уверен, что это всего лишь воображаемый образ вселенной, придуманный очень давно – возможно, когда-то в детстве, – который затем превратился в его личное царство, в принадлежащий только ему – и, конечно, волшебный – мир, где, по его простодушной вере, существовал божественный механизм, «тайным двигателем которого были чудеса и невинные грезы». Обитатели города – «в силу своей врожденной испорченности» – считали его обыкновенным придурком, однако Эстер (хотя он понял это далеко не сразу после того, как Валушка попал в его дом в роли доставщика обедов и неоценимого помощника во всевозможных делах) нисколько не сомневался, что этот чудаковатый странник по призрачным галактикам своей наивностью и обескураживающей, вселенской, можно сказать, добротой в действительности подтверждает «ангельское присутствие даже в убийственных условиях глубочайшей

дезинтеграции». Присутствие, разумеется, лишнее, добавлял тут же Эстер, тем самым указывая не только на ничтожность и незначительность этой роли, но и на тот способ, каким он смотрел на нее, – на свое рафинированное исследовательское внимание, усматривающее в этой доброте и невинности просто некое убранство, призванное украшать то, чего, без сомнения, нет и никогда не существовало, то есть некую странную, бесполезную и ниоткуда не выводимую форму, которая – как всякая роскошь и всякое излишество – «не имеет ни оправдания, ни объяснения». Он любил, как может влюбиться одинокий коллекционер в какую-нибудь необычную бабочку, эту невинную эфемерность Валушкиного воображаемого неба, и своими мыслями – разумеется, о Земле, которая тоже по своему выходила за рамки воображения – делился с ним именно для того, чтобы, помимо защиты от «сумасшествия, неизбежного спутника всякого перманентного одиночества», которую Эстеру гарантировали систематические визиты его молодого друга и одинокого слушателя, иметь возможность лишней раз убедиться в несомненном существовании того самого бесполезного ангельского начала, – что же касается вредности его до полной здравости мрачных суждений, то, как он полагал, тут опасаться нечего, ибо мучительно выверенные слова отскакивали от Валушки, как легкие стрелы от прочной кольчуги, или, лучше сказать, проскальзывали сквозь его ранимые внутренности, не причиняя им никакого ущерба. Разумеется, он не мог знать этого наверняка, так как трудно было понять, на что именно направляет Валушка свое внимание, слушая своего пожилого друга, – но так происходило в обычных случаях, а в данном конкретном, когда разговор явно не произвел на Валушку привычного успокаивающего воздействия, было легко заметить, что не дает покоя его нетерпеливому гостю – да-да, чемодан и вырванный из тетради листок бумаги в его руке. Нельзя утверждать, что он тут же понял, в чем причина этого не унимающегося волнения и что вообще означает эта записка, которую нервно теребил Валушка, но и этого Эстеру было достаточно, чтобы догадаться, что на этот раз его преданный посетитель явился сюда не столько как друг, сколько как нарочный, и поскольку уже от одной мысли, что это послание может быть адресовано ему, его охватило острое отвращение, он быстро поставил стакан на ночной столик и – как до этого ради успокоения Валушки,

так теперь уже ради собственного успокоения – невозмутимо и с мягкой настойчивостью продолжил прерванное рассуждение. «Между тем, – сказал он, – я несколько не удивлен, что наши ученые, эти неутомимые рыцари вечного самообмана, расставшись, на свою беду, с метафорой Бога, не нашли ничего лучшего, кроме злосчастного исторического прогресса, для них это теперь столбовая дорога, триумф „духа и воли“ в борьбе с природой, так вот, я не вижу здесь ничего удивительного, хотя, должен признаться вам, мне не очень понятно, почему их так радует, что мы слезли с дерева. Они что, полагают, что это так здорово? Я не вижу в этом ничего забавного. Разве это подходит нам? Посудите сами, что нам дали столько тысячелетий усерднейших упражнений? Сколько времени можем мы провести на ногах? Полдня, дорогой мой друг, не так ли? Что же касается прямохождения, то давайте возьмем для примера хотя бы меня, точнее, мою мучительную болезнь, хорошо вам известную, которая вскоре, когда мое состояние усугубится, будет уже называться болезнью Бехтерева (что неизбежно произойдет, как обнадежил меня мой лечащий врач, добрейший доктор Провазник), и тогда мне придется смириться с тем, что остаток жизни я проведу – если проведу – в лучшем случае под прямым углом, а скорее всего, согнутым в три погибели, как бы наказанный столь наглядным образом за необдуманый переход наших предков к вертикальному положению... Спуск с дерева и прямохождение – вот, мой любезный друг, две символические отправные точки нашей позорной истории, и я уже не надеюсь на то, – печально потряс головою Эстер, – что мы сможем закончить чем-то более радостным, ведь даже малейшие шансы, которые нам иногда даются, мы, как водится, упускаем – взять, к примеру, хотя бы полет на Луну, поначалу меня впечатливший как со вкусом преподнесенный намек на прощание; но вскоре, после возвращения Армстронга и Олдрина, а затем и других, я вынужден был признать, что сверкнувшая было надежда обманчива, мои ожидания тщетны, ибо каждая – сама по себе захватывающая – попытка страдала одним изъяном, а именно тем, что пионеры космического исхода, сев на Луне и отчетливо сознавая, что это уже не Земля, совершенно непостижимым для меня образом почему-то не оставались там. Лично я, уверяю вас... улетел бы куда угодно», – перешел он на шепот и закрыл глаза, словно бы представляя тот день,

когда он направит стопы к навсегда улетающему с Земли звездолету. Нельзя было утверждать, что магическое воздушное путешествие и переживание воображаемого побега пришлось ему не по нраву, тем не менее это его состояние продлилось не более нескольких мгновений, и хотя он не опроверг последнюю свою – прозвучавшую слишком кисло – фразу, про себя все же констатировал, что явно поспешил с заявлением. Ибо мало того, что искушение символическим бегством почти сразу лопнуло как мыльный пузырь (в самом деле: «С моим везением далеко мне не улечеть, так что первым, что я оттуда увижу, наверняка будет Земля...»), так он еще отдавал себе ясный отчет в своей полной непригодности к каким-либо перемещениям. Ему не хотелось и думать о каких-то сомнительных приключениях, и вообще, легкомысленные попытки перемены мест были ему чужды: как и во всем другом, он и в этом вопросе не забывал проводить различие «между чарующими иллюзиями и жалкими потугами поспеть за ними» и хорошо понимал, что вместо головокружительных путешествий ему лучше считаться с реальностью, к которой его «навсегда пригвоздила» судьба. Считаться конкретно с той городской трясинной, от которой – раз уж не вышло выбраться – он, после полувековых мытарств, укрылся в своей берлоге, с тем гиблым болотом, где его угораздило появиться на свет. Оно, в отличие от – минутной! – игры фантазии, казалось непреодолимым, и он не мог отрицать, что даже коротенькая прогулка по этой топи стала ему не по силам. Нет, он этого не отрицал, и уже годами почти не покидал свой дом – в страхе, что какая-нибудь случайная встреча на улице, несколько слов, которыми он обменяется с кем-нибудь, например, на ближайшем углу, до которого он не так давно имел неосторожность дойти, тут же порушат все его успехи, достигнутые в построении затворнической жизни. Ибо он хотел обо всем забыть, обо всем, что – за десятилетия так называемого директорства в Музыкальной школе – ему пришлось вынести в этой среде: убийственные пароксизмы глупости и бездонную пустоту в глазах, полнейшее отсутствие ростков разума в юных душах и навозную вонь духовной косности в воздухе, ту гнетущую силу мелочности, самодовольства и низменного расчета, под действием которой он и сам едва не сломался. Ему хотелось забыть порученных его заботам былых школяров, в чьих глазах пылало незабываемое желание топором изрубить к чертям

ненавистное фортепиано; забыть «Большой Симфонический Оркестр», собранный по служебной необходимости из пьянствующих преподавателей и полоумных любителей музыки, и оглушительные овации, коими ничего не подозревающая благодарная публика из месяца в месяц награждала позорные выступления этой компании, которой не место даже на деревенской свадьбе; забыть, с какими – бесконечными – муками пытался он привить коллегам настоящий вкус и уговорить их не играть постоянно одну и ту же пьесу, «подвергая тяжелому испытанию его феноменальное долготерпение». Раз и навсегда стереть из памяти горбатого портного Вальнера и непревзойденного в тупости директора гимназии Лехела, местного барда Надабана и шахматного фанатика из Водонапорной башни по фамилии Маховенец, госпожу Пфлаум, которая своими изысканными манерами умудрилась свести в могилу двух мужей, и доктора Провазника, который своим талантом целителя туда же свел уже уйму народу, словом, их всех, все это «сборище непроходимой глупости», от вечно жалующейся на жизнь госпожи Нусбек до впавшего в полный маразм полицмейстера, от любителя девочек-малолеток городского головы до последнего дворника. Нечего и говорить, что меньше всего он хотел бы слышать о своей супруге, об этом опасном доисторическом существе, которое «по милости божьей» последние несколько лет прожило отдельно, то есть о госпоже Эстер, которая своей беспощадностью больше всего напоминала ему средневековых наемников-мародеров и брак с которой, похожий на дьявольский фарс, явился следствием допущенной по молодости досадной неосмотрительности. Казалось, она собрала в одной своей безотрадной пугающей личности то, что можно было назвать «удручающей суммой всего пестрого балагана» городского общества. Уже в начале начал, когда, оторвавшись от нотной тетради, он неожиданно осознал себя семьянином и как следует разглядел свою перезрелую молодницу, то пришел в замешательство от неразрешимой задачи как-либо называть ее, не упоминая совершенно неподходящего имени («Ну не могу же я, – размышлял он тогда, – называть мешок картошки феей, а именно это и означает ее имя – Тюнде!»), позднее, однако, этот вопрос перестал его волновать, и даже многообразные прозвища, им придуманные, он никогда вслух не произносил. Перестал же по той причине, что гораздо серьезней, чем «убийственная внешность его

половины», которая вообще-то полностью гармонировала с руководимым ею неопишным хором, его потрясло открытие, связанное с внутренними качествами его благоверной, с тем, что – как выяснилось – он взял в жены настоящего солдафона, для которого существует только один ритм – ритм марша, и одна мелодия – боевая тревога. И поскольку он не умел ходить строем, а от хриплого рева военного горна у него по спине бежали мурашки, то достаточно скоро брак превратился для него в капкан, в дьявольскую ловушку, вырваться из которой – или хотя бы помыслить об этом, – казалось, не было никакой надежды. Вместо «стихийной жизненной силы и нравственной чистоты выходца из народа», которые он находил в ней в пору, по сути, бездумного и с тех пор стократ проклятого жениховства, он столкнулся с прямо-таки патологически рвущейся к победе «ограниченностью» и настоянной на казарменном духе «вульгарной расчетливостью», с таким омутом грубости, бессердечия, злобной ненависти и животной похоти, перед которыми в течение десятилетий оставался совершенно бессилён. Бессилён и беззащитен, так как был неспособен ни примириться с ней, ни расстаться (одним лишь упоминанием о разводе он рисковал обрушить на свою голову беспощадную месть...), и все же он умудрился прожить с этой женщиной под одной крышей десятки лет, пока однажды, после тридцатилетнего кошмара, жизнь его не достигла той точки, ниже которой опускаться было уже некуда. Он сидел у окна в директорском кабинете городской Музыкальной школы, устроенной в одном из покинутых молельных домов, и размышлял над встревожившими его словами местного мастера-настройщика, незрячего Фрахбергера, которого он незадолго до этого выпустил за ворота. Он смотрел на бледный закат, провожал глазами сограждан с полиэтиленовыми пакетами в руках, в холоде и темноте расплзавшихся по своим норам, и подумал уже, что пора и ему двигаться в сторону дома, когда вдруг почувствовал непривычный и совершенно незнакомый приступ удушья. Он хотел подняться, возможно, налить из графина воды, но руки и ноги не слушались, и тогда он понял, что это не временное удушье, что на него неожиданно навалилось совсем другое – бесповоротная усталость, пресыщенность, горечь и беспредельная униженность, накопленная за полвека «смертельная замордованность такими вот закатами и расплзаниями по своим норам». К тому

времени, когда он добрался до дома, расположенного на проспекте Венкхейма, и закрыл за собой дверь комнаты, он уже осознал, что так больше не выдержит, и решил, что должен отдыхать – отдыхать, вообще не вставая, так, чтобы не терять впустую ни единой минуты, ибо уже тогда, в тот момент, когда лег в постель, он знал, что от «этого многотонного бремени невежества, глупости, оболваненности, инфантилизма, нелепости, пошлости, дикости, скудоумия, ограниченности и всеобщей дурости» он не сможет избавиться даже за пятьдесят лет непрерывного отдыха. Махнув рукой на былые предосторожности, он принудил госпожу Эстер срочно покинуть дом, начальству же передал, что в связи с пошатнувшимся здоровьем незамедлительно слагает с себя *все* обязанности и полномочия; в результате, к величайшему его изумлению, словно по волшебству на следующий же день куда-то исчезла жена, а формальное решение о его переводе на пенсию ему доставил несколько недель спустя специальный посыльный вместе с неразборчиво подписанными «пожеланиями успехов в музыковедческих штудиях»; так что с этого времени по непостижимой милости судьбы ничто не могло помешать ему заниматься тем, чем, по его убеждению, он должен был заниматься всегда: возлежать преспокойно в постели и для собственного развлечения с утра до вечера придумывать слова «на одну и ту же горестную мелодию». Когда улеглись первые волны облегчения, понимание, проявленное начальством, как и удивительная покладистость жены, больше не вызывало у него вопросов, хотя общая для всех уверенность, будто его уход с работы связан с тем, что занявшие не одно десятилетие изыскания Эстера «в мире звуков» подошли к последнему и вместе с тем решающему этапу, была основана на недоразумении, на том явно ошибочном, пускай и не совсем беспочвенном, предположении, будто он занимается *музыкальными* штудиями, – между тем в данном случае можно было говорить об одном его озарении, направленном как раз против музыки, о «решительном разоблачении» веками скрываемого и приведшего его в отчаяние скандала. В тот самый роковой день – совершая обычный вечерний обход, дабы убедиться, что в здании никого не осталось – он, заглянув в актовый зал школы, застал там Фрахбергера, о котором, видимо, все забыли; как обычно бывало, когда Эстер случайно заставал настройщика за его ежемесячными занятиями, он невольно

услышал, как старик, погрузившись в работу, разговаривал сам с собой. Из тактичности (или, может, неловкости) не желая выдавать, что слышит старческое бормотание, он в таких случаях тихонько покидал зал и поручал поторопить настройщика кому-нибудь другому, однако в тот день в здании уже не было даже уборщицы, и ему предстояло лично вывести старика из задумчивости. С настроенным ключом в руке, по обыкновению чуть ли не распластавшись на инструменте, чтобы лучше улавливать юркие «ля» и «ми», этот блаженный знаток фортепиано, не оставлявший без комментария ни одного действия, весело разговаривал сам с собой. Со стороны слова его могли показаться пустой болтовней – а что касается самого Фрахбергера, то для него они болтовней и были, – однако когда, обнаружив какое-то «неожиданное созвучие», он воскликнул: «А эта чистая квинточка откуда взялась тут? Извини, но придется тебя обуздать на пару биений...» – Эстер наострил уши. С ранней молодости он жил в непоколебимом убеждении, что музыкальная выразительность с ее непостижимым для разума волшебством слаженности и гармонии – единственное, что человек может противопоставить окружающей его «липкой грязи мира», средство чуть ли не абсолютное в своем совершенстве, и вот прозрачное это совершенство, как он ощутил тогда в актовом зале, пропитанном невыветривающимся запахом дешевых духов, Фрахбергер как бы разрушил сенильным своим кудахтаньем. Да кто он такой, этот Фрахбергер, вскипел Эстер в тот предвечерний час, и в сердцах, в совершенно чуждой ему манере чуть ли не силой всучив опешившему настройщику белую трость, в сущности вышвырнул старика из здания, но слова его, которые вышвырнуть было невозможно, звучали в его мозгу мучительно, как сирена, и неискоренимо, как будто он уже догадался, на что его натолкнет это, казалось бы, совершенно невинное замечание. Еще со времен учебы в консерватории он, разумеется, помнил фразу о том, что «в европейской музыке последних двух-трех столетий господствует так называемый темперированный музыкальный строй», однако какой-то особой важности никогда этому не придавал, как не занимала его и мысль о том, что в действительности стоит за этим простым утверждением, но поскольку сиротливое бормотание Фрахбергера, прерываемое порой радостными восклицаниями, наводило на мысль, что, должно быть, и правда есть

тут что-то непроясненное, какой-то туман, от которого он должен освободить свою отчаявшуюся веру в абсолютное совершенство музыки, то в первые же недели после отставки, едва выбравшись из самых опасных водоворотов нахлынувшей на него усталости, Эстер, скрежеща зубами, как будто лично против него был совершен подлый выпад, основательно погрузился в предмет. Погрузиться в него, как вскоре стало понятно, означало уйти с головой в болезненную, но освобождающую борьбу с упрямой химерой самообмана, ибо когда он покончил с последней имеющей отношение к теме книгой из тех, что обнаружил на стеллажах в прихожей, предварительно обтерев их от пыли, то одновременно покончил в душе и с последней иллюзией «музыкального сопротивления», на которое до сих пор полагался в защите своих осаждаемых ценностей. Точно так же, как Фрахбергер избавил от лишних биений «чистую квинточку», Эстер лишил героических миражей окончательно потускневшие после этого небеса своих размышлений. Изучив, а точнее, припомнив основные понятия, он первым делом разобрался с отличием между звуком и музыкальным звуком, констатировав, что последний отличается от обычного физического явления определенной симметрией обертонов, или частичных тонов, интервалы между которыми выражают простые соотношения, то есть дроби, где числитель и знаменатель – небольшие целые числа; после этого он рассмотрел, в чем выражается родственность, гармоническая сообразность двух звуков, и пришел к тому, что благозвучность, то есть музыкальный характер взаимосвязи, возникает, когда у двух звуков, или тонов, совпадает максимальное количество обертонов и имеется минимальное количество обертонов критически близких; и все это было нужно ему, чтобы затем без малейших внутренних колебаний приступить к анализу звукового строя со всеми – чем дальше, тем более удручающими – этапами в истории этого понятия, в результате чего он и пришел к своему открытию. Разумеется, в свое время он изучал эту тему, но в силу ее кажущейся тогда скучности не запомнил подробностей, так что пришлось оживлять их в памяти, одновременно дополняя новыми, и неудивительно, что в те лихорадочные недели его комната была усеяна таким несметным количеством бумажек с функциями и расчетами, коммами и центами, таблицами частот и интервальных коэффициентов, что в ней шагу нельзя было ступить. Ему пришлось

*осознать* числовую магию Пифагора, этого окруженного сонмом учеников великого грека, который, поделив на части длину струны, изобрел поразительный музыкальный строй; затем ему пришлось *изумиться* гениальному озарению Аристоксена по прозванию Музыкант, который, исходя из личного опыта и чувственного восприятия – буквально *слыша* вселенную чистых звуков, – полагал за лучшее настраивать инструменты по тетрахорду неподражаемого мифического певца Олимпа; иными словами, Эстер должен был с изумлением осознать тот замечательный факт, что «ищущий универсальное начало мироустройства мыслитель» и «смиренный слуга высокой гармонии», используя совершенно различные способы чувствования, пришли к поразительно сходному результату. Однако он вынужден был осмыслить и все последовавшее затем – всю печальную и мистическую историю так называемого усовершенствования звукового строя, в ходе которого порождавшая уйму проблем ограниченность натурального строя, не позволявшего совершать модуляции в отдаленные тональности, становилась все более нетерпимой; таким образом, Эстеру пришлось проследить, как постепенно, шаг за шагом был предан забвению главный вопрос – в чем смысл упомянутого ограничения. Путь развития звукового строя вел от Салинаса из Саламанки и китайца Чжу Цзайюя через Стевина, Преториуса и Мерсенна к органисту из Хальберштадта, и хотя последний в трактате «Музыкальная температура» 1691 года, к величайшему своему облегчению, раз и навсегда решил мучительную дилемму, все-таки задачу он свел уже просто к настройке музыкального инструмента, то есть к тому, каким образом – несмотря ни на что! – можно свободно играть, в том числе и на инструментах с фиксированными звуками, во всех тональностях семиступенной европейской системы. Оставляя за собой право на заблуждение, этот мастер, Веркмейстер, решил проблему, так сказать, кавалерийским наскоком и, сохранив октавы, попросту поделил весь космос двенадцати полутонов – что ему музыка сфер! – на двенадцать математически равных частей. Таким образом – к вящей радости композиторов и при некотором, быстро выдохшемся, сопротивлении тех, кто еще ностальгировал по «естественной» чистоте созвучий, – он поставил в этом вопросе точку. Вопиющую, вообще-то, постыдную, безобразную точку, осознал изумленный Эстер, ведь получалось так,

что гармония, чудесная красота созвучий, до сих пор не дававшая ему погрязнуть в трясине заразной пошлости, «фальшива в самой своей сердцевине», в самих созвучиях музыкальных шедевров, за которыми, как бы там ни было, на протяжении веков угадывалось некое истинное царство. В научном мире не уставали превозносить неподражаемую изобретательность мастера Андреаса, хотя тот был скорее продолжателем своих предшественников, нежели первооткрывателем, и высказывались о его равномерной темперации так, будто она – это обман-то! – была как бы вещью само собой разумеющейся, больше того, настоящие знатоки вопроса, дабы затушевать обман, в своих ухищрениях затмевали даже Веркмейстера и его современников. Они разглагольствовали то о том, какие неведомые и невиданные перспективы открывает распространение равномерной темперации перед несчастными композиторами, дотоле скованными цепями из девяти доступных тональностей, то о том, какие невероятные сложности с модуляцией возникают в случае (заключаемого ими в иронические кавычки) «натурального» строя – и вообще, тут же переходили они на чувства, ведь не можем же мы отказаться от гениальных творений Бетховена, Моцарта или Брамса лишь потому, что при их исполнении звучание будет «на тютельку» отличаться от абсолютно чистого. «Стоит ли толковать о такой безделице!» – соглашались эксперты, и хотя находились отдельные сомневающиеся прожектеры, пытавшиеся смягчить положение рассуждениями о компромиссах, представители большинства ставили под сомнение и это и нашептывали читателю: чистый строй – это фикция, чистые созвучия невозможны, а если даже возможны, то зачем они нам нужны, если мы прекрасно обходимся и без них... Вот когда Эстер сгрел в кучу и вышвырнул вон все эти шедевры – акустической в данном случае – ограниченности человеческого ума, доставив, сам того не желая, немало радости госпоже Харрер и, разумеется, местным антикварам, после чего, объявив этим своеобразным жестом, что его многотрудные изыскания закончены, решил подвести итоги. В том, что речь в данном случае шла вовсе не о техническом, но о «типично философском» вопросе, Эстер ни минуты не сомневался, а по некотором размышлении понял еще и то, что, собственно говоря, спровоцированные ворчанием Фрахбергера по поводу «чистой квинточки» кипучие штудии в области звукового строя подвели его к

неизбежному вопросу о вере – к тому, чтобы спросить самого себя, на чем он, человек, никогда не питавший пустых иллюзий, основывал свое убеждение в том, что гармонический порядок, на который с видимой неопровержимостью указывает всякий шедевр, вообще существует. Позднее, когда уже схлынули первые и, несомненно, самые горькие волны смятения, он смог более трезво взглянуть на то, «до чего ему удалось доискаться», он даже как бы смирился и испытал облегчение от этого нового знания, потому что уже понимал, что, собственно, произошло. Мир, констатировал Эстер, есть всего лишь «игра безразличных сил и хаос мучительных виражей», отдельные его элементы друг с другом никак не стыкуются, в нем избыток шума, гама и трескотни, его глас – лишь оповещение о мучениях, и это все, что можно в нем уловить. Однако «собратья по бытию», заброшенные в этот неоттапливаемый, продуваемый сквозняками барак – никак не желая смиряться с отторгнутостью от предполагаемого неземного блаженства, – вечно пылают в лихорадочном ожидании, ждут чего-то, не зная точно чего, уповают на что-то, что в принципе невозможно, что ни день убеждаясь при этом, что ждут и надеются они совершенно напрасно. Ибо верить – наконец-то добрался он в своих размышлениях и до собственной глупости – надо не во что-то, а в то, что все обстоит не так, как нам кажется, и что музыка вовсе не способ открыть наше лучшее «я» и открыть для нас лучший мир, а хитроумный способ завуалировать, спрятать от нас и наше безнадежное «я», и этот безрадостный мир, лекарство, которое не излечивает, горячительное, которое навеивает сон. Были, были наверняка и благоприятные времена, размышлял он, как, например, времена Пифагора, Аристоксена, когда прежних «собратьев по бытию» не мучили никакие сомненья, они не стремились, не порывались куда-то из-под сени наивной доверчивости и, зная, что божественная гармония принадлежит богам, довольствовались тем, что с помощью мелодий своих чисто настроенных инструментов могли как бы проникать в эту необозримую ширь. Однако позднее, в убогом стремлении освободиться от власти небесных феноменов, все, что они имели, превратилось в ничто, ибо помутившийся разум, высокомерно шагнувший в открывшийся хаос, уже не довольствовался лишь приобщением к хрупкой грезе, но хотел ухватить ее целиком, а поскольку от грубого прикосновения она тут же рассыпалась в прах, то

он, как умел, попытался ее возродить: решение вопроса было поручено блестящим специалистам, Салинасам и Веркмейстерам, которые в поте лица, не разбирая, где ночь и где день, где ложь и где правда, поставленную задачу, надо отдать им должное, решили с такой гениальной находчивостью, что публике, по сей день благодарной им, оставалось только воскликнуть, изумленно переглянувшись: «Вот так да!» Вот так да, подумал про себя Эстер и решил было изрубить в куски свой рояль или вышвырнуть его вон из гостиной, но вскоре понял, что это едва ли избавит его от воспоминания о постыдном самообмане, скорее наоборот, будет только сильнее мучить, поэтому он, поразмыслив немного, оставил «Стейнвей» где стоял, сам же решил приняться за дело, чтобы как следует проучить себя за глупое заблуждение. И с этого дня, вооружившись настроечным ключом и частотомером (раздобыть которые в связи с уже начавшимися в то время «серьезными перебоями в сфере торговли» было не так-то просто), он часами торчал у дряхлого фортепиано, и поскольку при этом он только и думал о том, что его ждет, когда работа будет закончена, то полагал, что звучание, которое он в результате услышит, вряд ли окажется большой неожиданностью. То был период генеральной перенастройки, или, как он еще называл его, скрупулезной коррекции Веркмейерова труда, а заодно и коррекции собственных чувств, но если первое ему вполне удалось, то нельзя было утверждать то же самое о втором. Потому что когда пришло время и он смог сесть за перенастроенный в духе Аристоксена рояль, чтобы отныне и до конца дней своих играть на нем один-единственный цикл, неисчерпаемый и непревзойденный, состоящий из истинных музыкальных жемчужин, пригодных для демонстрации всех возможных тональностей, а именно «Хорошо темперированный клавир», то при исполнении первой же выбранной им прелюдии – до-диез мажор – вместо радужных переливов его слух поразил умопомрачительный скрежет, к которому, как он вынужден был признать, подготовиться было невозможно. Знаменитая же прелюдия ми-бемоль минор – на этом настроенном на небесную чистоту инструменте – напомнила ему кошмарную деревенскую свадьбу с упившимися, сползающими со стульев гостями и дородной, тоже изрядно пьяной невестой, которая с грезами о будущем на кривоглазом лице жеманно выкатывается из задней комнаты; столь же

невыносимой показалась ему и – по стилю напоминающая французскую увертюру – прелюдия фа-диез минор из второго тома, как и все остальные, которые он начинал играть, пытаясь хоть как-то умерить боль. И если до этого он переживал фундаментальный период «генеральной перенастройки», то теперь наступил долгий период мучительного привыкания, усиленных тренировок, потребовавших полной самоотдачи, и когда по прошествии нескольких месяцев он заметил, что если и не привык к режущему слух шуму, то по крайней мере способен уже выносить его, он решил продолжительные – два раза по два часа – ежедневные попытки сократить до шестидесяти минут. И выдерживал этот минимум строго, неукоснительно, даже после появления в его доме Валушки, больше того, достаточно скоро, когда доставщик обедов и помощник во всех делах сделался его единственным приближенным, Эстер посвятил молодого друга и в саднящую тайну своего потрясения, и в терзания каждодневного самобичевания. Он рассказал ему, что представляет собой звукоряд, объяснил, что каждый из семи тонов, на первый взгляд установленных произвольно, является не просто седьмой частью октавы, то есть это не механическая система, ничего подобного – это семь разных качеств, как семь звезд в Плеядах; а также сказал о том, что и в музыке существуют ограничения, существуют «пределы возможного», и мелодию – именно в силу тех самых качественных отличий семи тонов – невозможно сыграть начиная с любого тона октавы, ибо «звукоряд – это, друг мой, не геометрически правильные ступени храма, по которым вы можете как вам заблагорассудится бегать к боженьке»; он посвятил его в печальную историю звукового строя, представил ему «целый сонм узких специалистов» от незрячего уроженца Бургоса до фламандского математика и при этом – словно бы для примера, дабы продемонстрировать, как шедевр звучит в исполнении на «божественном инструменте» – не упускал возможности сыграть что-нибудь из Иоганна Себастьяна. Уже несколько лет ежедневно после полудня, съев пару ложек, он с кислым видом отодвигал еду, чтобы разделить с Валушкой свое добровольное покаяние, и именно это, сыграть что-нибудь – в назидание – из Иоганна Себастьяна, он собирался сделать и теперь, чтобы как-нибудь оттянуть момент, когда откроется тайна записки и чемодана, ручку которого по-прежнему нервно сжимал его молодой друг; однако из этой затеи все же ничего

не вышло, ибо то ли он сам слишком затянул паузу, то ли Валушка наконец-то набрался храбрости – как бы то ни было, сверкающий глазами гость заговорил первым, и из его, пока еще путаных, слов, относящихся главным образом к его роли в истории с чемоданом, Эстер понял, что шевелившееся в душе недоброе предчувствие не обмануло его. Не обмануло – в смысле содержания полученного послания, а вот *от кого* оно поступило, это было для него неожиданным, хотя... если разобраться... ничего невероятного не случилось, потому что он знал с того самого часа, когда в свое время жена по первому его слову покинула дом, что этого – своего изгнания – она ему никогда не простит и однажды еще нагрянет, потому что не может оставить неотомщенным ущемление ее прав, точнее сказать, объявление их ничтожными, сделанное холодным, бесстрастным тоном. И каким бы далеким ни казался ему тот день, когда жена покинула дом, и сколько бы ни прошло с тех пор лет, он никогда не питал иллюзий, что госпожа Эстер больше его не потревожит, ибо если он ничего не понял из того факта, что о формальном разводе она «как бы случайно забыла», то из комедии с прачечным чемоданом он должен был ясно понять, что «сдаваться эта особа не собирается»; смысл же сей смехотворной акции сводился к тому, что после того, как она оставила дом, дородная госпожа Эстер, якобы втайне от мужа, раз в неделю стирала его белье, и доверчивый Валушка, которого можно было подбить на любое дело, затем приносил его как бы из прачечной. «Пусть обстирывает, если ни на что больше не годится», – в свое время отмахнулся Эстер и только теперь понял, как дорого ему может встать былая беспечность, ибо вскоре выяснилось, что в чемодане на этот раз находятся пожитки его благоверной, которая этим – нисколько не удивительным – пошлым жестом давала понять, что недалек тот час, когда она и сама вернется домой. Однако в этом – хотя вообще-то и этого было достаточно – еще не было ничего, что указывало бы на характерную именно для нее мстительность, тут Эстер пока что мог усмотреть только какую-то блажь жены, объяснить которую затруднялся, но из слов захлебывавшегося Валушки вдруг выяснилось, что неслыханный по своему злодейству «подвох» еще впереди. О нет, понял он из рассказа Валушки – который, по всей вероятности из страха перед этой женщиной, без устали восторгался ею, – пока она не планирует переезжать домой, а только завуалированно намекает, что

это может случиться в любой момент; и передает ему свою просьбу возглавить некое движение за чистоту, которое «просто не может существовать без такого вождя». А также посылает ему список тех горожан, понял он из восторженных слов Валушки, которые составляют цвет местного общества, с тем чтобы он убедил их подключиться к акции и начать – соревнуясь друг с другом! – убирать территорию вокруг их домов, причем агитацию эту она просила начать не завтра, а не откладывая, прямо сейчас, ибо времени на раскачку нет, и пусть он, Эстер то есть, не сомневается, чем может обернуться его отказ, – и далее, в конце этой устной ноты, еще следовал некий намек на «возможность совместного ужина прямо сегодняшним вечером...» Пока говорил его молодой друг, он не проронил ни слова, как продолжал молчать и когда Валушка – вне всяких сомнений, запуганный этой ведьмой – закончил свой панегирик во славу «верной и беспримерно заботливой» госпожи Эстер; он лежал среди взбитых подушек в лишенной былых украшений двуспальной кровати и безмолвно следил за вылетающими из печки и стремительно гаснущими искрами. Сопротивляться? Порвать записку? Или, если посмеет «сегодняшним вечером» приблизиться к дому, наброситься на нее с топором, как, наверное, набрасываются на рояль добропорядочные школяры в оставленной без его попечения Музыкальной школе? Нет, сказал себе Эстер, против подлого принуждения не попрешь, и, откинув одеяло, сел, сгорбившись посидел с минуту на краю кровати и медленно выпростался из халата. К невыразимому облегчению молодого друга, вынужденное решение Эстера в связи с таким «наглым форс-мажором» прервать на короткое время «бесценное наслаждение целебным забвением» было скорым и недвусмысленным, и не потому, что его охватила паника, а в силу его проницательности, ибо даже без длительных размышлений было легко понять, что если он не желает борьбы, но желает избежать наихудшего, то перед ним открыта единственная возможность – уступить шантажистке без малейшего сопротивления; гораздо меньше решительности проявил он, когда встал вопрос о подготовке к вылазке; едва Валушка, которому была поручена «дезинфекция» помещения, вышел из гостиной, чтобы – временно – разместить чемодан («Хотя бы чемодан, если уж нельзя вышвырнуть саму мысль об этой особе...») в самой дальней точке квартиры, Эстер в полной растерянности

остановился у платяного шкафа. Причина была не в том, что он разуверился в правильности решения, он просто не знал, что ему теперь делать, и, как человек, у которого вылетело из головы, какое следующее движение он должен сейчас совершить, застыл у платяного шкафа, таращась на дверцу, потом открыл ее и закрыл. Снова открыл и опять закрыл, вернулся к кровати, чтобы оттуда отправиться назад к шкафу, и поскольку стал уже понимать собственную беспомощность, попытался сосредоточить внимание лишь на одном вопросе: не стоит ли ему вместо серой – подходящей к цвету мертвого неба – остановить свой выбор на более отвечающей траурному характеру его миссии черной одежде. Он колебался между двумя вариантами, но так и не смог прийти к окончательному решению ни относительно рубашки и галстука, ни относительно шляпы и обуви, и если бы Валушка не загремел вдруг на кухне судками и он – быть может, как раз под воздействием этого звона – не понял бы наконец, что на самом-то деле ему бы сошелся не серый или черный цвет, а какой-то третий, не существующий в его гардеробе, который на улице защитил бы его как броня, то, скорее всего, он до вечера не решил бы, который из двух своих костюмов достать из шкафа. Вообще-то он предпочел бы сейчас выбирать не костюм, не галстук и не пальто, а латы, забрало и наколенники, потому что ему было совершенно понятно, что дикая смехотворность задачи, которую навязывает ему госпожа Эстер – стать кем-то вроде зрителя городских свалок, – не идет ни в какое сравнение с теми, возможно фатальными, трудностями, с которыми – как это случилось около двух месяцев назад, когда Эстер рискнул прогуляться до ближайшего перекрестка – он неизбежно столкнется. Ему предстоит вступить в контакт с воздухом и землей, с обманчивой иллюзией простора, быть свидетелем диалога «между жаждущей обвалиться кровлей домов и удушающе пошлыми, на века накрахмаленными занавесочками», а еще можно было ожидать – и на этот раз дело осложнялось тем, что он их действительно ждал – всяких «уличных сюрпризов», то есть счастливых случайностей, когда он непременно встретится с кем-нибудь из сограждан, и не с одним, а со многими. Он должен будет стойко выдерживать их беспощадные излияния радости по поводу встречи с ним, выдерживать все их духовные перлы, которое они с общеизвестной разнузданностью прохожих нежно обрушат на его голову, и, самое главное, помрачнел

он, оставаться слепоглухим к их непроходимой глупости, дабы не угодить в капкан непростительной жалости или смешанного с гадливостью сострадания, от чего с того времени, как он удалился от мира, его спасала «благодатная невнимательность». Уповая на то, что его помощник и на этот раз избавит его от бремени лишних подробностей, он нисколько не волновался о способах выполнения поручения, как не думал о том, за что, собственно, он берется, полагая, что не имеет никакого значения, возглавит ли он в ближайшее время курсы кройки и шитья, состязание по высадке горшечных растений или вот это движение за подметание улиц, которое со временем тоже наверняка обретет своих ярых сторонников, и поскольку все его мысли были сосредоточены на борьбе с обманчивыми иллюзиями, то, закончив одеваться и напоследок еще раз взглянув в зеркало на безупречный (серый, кстати сказать) костюм, он подумал о том, что все же имеется некоторый шанс вернуться с этой мучительной, как ожидалось, прогулки целым и невредимым и продолжить свои рассуждения о прискорбном состоянии мира или с несколько большим трудом облакаемые в слова раздумья об эфемерности вылетающих из печной трубы искр и «загадочно злобных происков разума» – продолжить их ровно там, где они, к великому сожалению, были прерваны акцией госпожи Эстер, неожиданной, хотя и вполне объяснимой. Да, он думал об этом, и даже в какой-то момент решил, что никаких усилий для борьбы с «возможно, фатальными» трудностями от него не потребуется: когда вместе с Валушкой, бодро помахивавшим пустыми судками, он прошел по прихожей сквозь редующий с каждой неделей строй книг, а затем, миновав полумрак подворотни, вышел на улицу, то, по-видимому, от резкого воздуха, словно вдохнул ядовитый газ, уже через несколько шагов почувствовал такое головокружение, что вместо того, чтобы беспокоиться по поводу «угрожающего урагана чувств со стороны сограждан», он мог думать только о том, сможет ли устоять на ногах в этом смутном, колеблющемся и плывущем пространстве и не разумнее ли прямо сейчас начать отступление, «пока, – продолжил он грустное размышление, – на вопрос, а надо ли продолжать все эти мучения, не откликнутся дружным „нет“ его легкие, сердце, мышцы и сухожилия». Вернуться домой, запереться в гостиной и снова нырнуть в объятия теплых подушек и пледов было, конечно, заманчиво, но рассматривать

это всерьез не хотелось, ведь он ясно представлял себе, что ожидает его в случае «неподчинения приказу», так что – как бы ни привлекала его заманчивая идея: «а может, и правда грохнуть эту чертовку сегодня вечером», – когда, опираясь на трость и на подбежавшего к нему перепуганного друга («Что с вами, господин Эстер?!»), он смог наконец обрести равновесие, то отбросил напрочь все планы оборонительных операций и, попытавшись принять как данность лабильное состояние колышущегося перед глазами мира, взял Валушку под руку и двинулся дальше. А двинувшись дальше, он понял, что его ангел-хранитель – то ли из объяснимого страха перед кошмарной женщиной, то ли от радости, что он наконец-то опять сможет показать ему места своих вечных блужданий – готов протащить престарелого друга по городу даже мертвого, а потому, рассеяв несколькими словами его тревогу («Ничего, ничего... все в порядке...»), он предпочел не вдаваться в подробности о своем головокружении и о том, что ему становится все хуже, и поэтому его друг, успокоившись и поняв, что прогулке ничто больше не угрожает, пустился в восторженный монолог о событии, по обыкновению пережитом как некое упоительное волшебство, когда на заре в очередной раз возникло то, что сейчас клубилось вокруг них в виде белесого жидковатого света, в то время как Эстер – будто слепоглухой – сосредоточил внимание только на равновесии, на том, как поставить одну стопу впереди другой, чтобы невредимым добраться хотя бы до следующего угла, где можно будет передохнуть. Ему казалось, будто на обоих глазах его выросли бельма и он плывет сквозь туманную пустоту, в ушах стоял звон, ноги дрожали, и по телу прокатывались волны жара. «Кажется, я сейчас упаду...» – подумал он, но, вместо того чтобы испугаться возможности столь эффектно потерять сознание, он, напротив, возжелал, чтобы именно так и произошло, ибо рухнуть на улице и затем, в окружении ошеломленных зевак, быть доставленным домой на носилках – ведь это означало бы, осенило его, провал плана госпожи Эстер и самый простой из всех возможных способ вырваться из расставленного ею капкана. Для того чтобы произошел столь благоприятный поворот событий, по его подсчетам, требовалось сделать примерно десять шагов, однако уже и половины их оказалось достаточно, чтобы стало понятно, что поворота не будет. Они добрались уже до улицы Сорок восьмого года, когда, вместо того

чтобы рухнуть, он почувствовал себя лучше: ноги больше не дрожали, звон в ушах прекратился и, к величайшей его досаде, даже чувство головокружения ослабло настолько, что уже не могло служить поводом, чтобы прервать прогулку. Он стоял на ногах, он слышал и видел, а раз видел, то вынужден был оглядеться – и тут же заметить, что со времени его последней экскурсии в «непроходимой городской трясине» что-то решительно изменилось. Определить, в чем именно состояло изменение, он в этой невиданной кутерьме не мог, но вынужден был признать, что рассказы госпожи Харрер не были лишены оснований. Не были, это верно, но вместе с тем внутренний голос подсказывал ему, что госпожа Харрер не совсем угодила в яблочко, ибо к тому времени, когда они выбрали на углу улицы Сорок восьмого года и проспекта место для первой временной передышки, ему стало понятно, что «если внимательно присмотреться», то «возлюбленная малая родина», в отличие от того, что думает на сей счет его верная благодетельница, являет собою не край, ожидающий светопреставления, а край, светопреставление уже переживший. Его поразило, что вместо тупых лиц случайных прохожих и подглядывающих из окон обывателей, застывших в терпеливом ожидании хоть каких-то событий, то есть вместо «привычного навозного благовония духовной спячки» проспект барона Венкхейма и окрестные улицы представляли собой доселе ему незнакомую форму безжизненности, когда «бездонную опустошенность» лиц сменило пустынное безмолвие запустения. Было странно, что, хотя всеобщая безлюдность окрестностей указывала на какое-то катастрофическое событие, все атрибуты обычной жизни – чего не бывает даже при паническом бегстве от чумы или радиоактивного цезия – практически в неизменном виде оставались на своих местах. Все это казалось странным и удивительным, но самым шокирующим было открытие, что он не может найти настоящего объяснения своему первому безотчетному впечатлению, будто он оказался в пространстве, скандальным образом изувеченном; не может найти ключа для разгадки этого, явственно ощутимого даже не глядя явления, – и тем временем в нем с каждой минутой росло убеждение, что в медленно проясняющейся картине имеется элемент, который он, даже если и видит – а он его, несомненно, видел, – не в состоянии распознать, некий ключевой момент, которым в конечном счете объясняется и все

остальное: безмолвие, сиротливость, безжизненная нетронутость вымерших улиц. Привалившись плечом к стене подворотни, облюбованной ими в качестве первого места отдыха, он осмотрел дома напротив, прикидывая ширину щелей между дверными коробками и оголившимися тут и там бетонными перемычками, а затем, по-прежнему слушая неумолкающего Валушку, ощупал штукатурку у себя за спиной в надежде, что состояние рассыпающегося в пальцах материала объяснит ему, что тут, собственно, происходит. Он бросил взгляд на уличные фонари и афишные тумбы, обозрел обнаженные кроны каштанов, глянул в один, а затем в другой конец проспекта, ища объяснение в изменившихся расстояниях или пропорциях. Однако разгадки он не нашел и потому, меняя ракурс, начал перемещать взгляд по хаотическому городскому пейзажу – все дальше и выше, пока не понял, что изучать сумеречный, несмотря на ранний послеполуденный час, небосвод бесполезно. Это небо, констатировал Эстер, наваливавшееся на них всей своею непостижимой массой, всем своим многослойным грузом, не изменилось не только в своем существовании, но даже в мельчайших оттенках, и тем самым оно как бы намекало, что нет смысла даже ожидать каких-либо изменений здесь, на земле. Решив прекратить ревностное дознание, он счел свое самое «первое безотчетное впечатление» ошибкой подвергшихся испытаниям чувств. С этим надо кончать, подумал он и внутренне согласился с тем, что в связи со все улучшающимся самочувствием ему уже невозможно рассчитывать на благоприятный исход в виде желанного обморока; он – теперь уже словно бы в подтверждение, что, несмотря на рассеянный вид, он внимает другу – продолжал всматриваться в равнодушное небо – по восторженным словам Валушки, лучащееся «бесконечно благими вестями», – когда, будто профессор из анекдота, искавший очки везде, кроме собственного носа, неожиданно осознал, что нужно попросту взглянуть себе под ноги, ибо то, что он так искал, реально настолько, что он просто на нем стоит. Именно так, он на нем стоял, топтался на нем уже и до этого и по нему же будет вынужден передвигаться и дальше, и когда он понял, что открытие пришло так поздно по причине неожиданной близости находящегося буквально под носом объекта и что разгадка потому и не находилась, что до нее было рукой – или, если точнее, ногой – подать, то одновременно он убедился и в том, что вовсе не ошибался, когда в первую минуту ландшафт представился

ему апокалиптическим и «скандальным образом изувеченным». Ошеломлял не сам по себе обнаруженный факт, ибо в городе по негласной договоренности – дабы ограничить страсть к захвату всего и вся – общественное пространство считалось как бы ничейной землей и по этой причине уборкой улиц никто не занимался и прежде, так что его поразили не какие-то специфические особенности составных частей этого неприглядного половодья, но его масштабы, которые Эстер – хотя про себя заметил лишь «...Интересненько!» – в действительности расценил, в отличие от двадцати пяти тысяч ежедневных прохожих (в том числе и от госпожи Харрер, которая, если бы обратила на это внимание, уж никак не смолчала бы), как нечто выходящее за пределы воображения. Такое количество, подумал он в изумлении, набросать или натащить сюда просто невозможно, и поскольку обозреваемая картина никак не могла быть объяснена с помощью здравого разума, он счел, что при всей абсурдности такого предположения имеются основания утверждать, что в возникновении этого «ужасающего феномена» исключительная роль «безграничной человеческой безалаберности и халатности» должна быть поставлена под сомнение. «Масштабы! Что за масштабы!» – качал головою Эстер и, уже не стараясь поддерживать видимость, будто внимает бесконечному повествованию Валушки об утренних впечатлениях, не отрываясь смотрел на захлестнувший окрестности монструозный поток; только теперь он смог впервые назвать то исключительное явление, которое в этот день, около трех пополудни, наконец обнаружил. Мусор. Вся сеть тротуаров и мостовых, куда хватало глаз, была покрыта почти сплошным панцирем всевозможной утоптанной и схваченной морозом дряни, и эта мусорная лавина, змеясь и поблескивая призрачным светом в закатных сумерках, растекалась по городу. Тут было все, от яблочных огрызков до старой обуви и ремешков для часов, от пуговиц до ржавых ключей, все, холодно констатировал Эстер, что может оставить человек о себе на память, и все же его поразило не сам этот «ледяной музей обесмысленного бытия», ибо по содержанию вся эта материя мало чем отличалась от своего предыдущего состояния, а то, как этот скользкий панцирь, переливаясь неземным серебристым светом, бледно флуоресцировал между домами, будучи как бы тенью неба. Понимание, где он находится, отрезвляло его, и он не терял

способности к хладнокровному наблюдению, однако чем дольше он наблюдал, как бы даже и сверху, этот чудовищный мусорный лабиринт, тем тверже делалось его убеждение, что «собратья по бытию» ничего этого не замечали и что их нельзя обвинять – «даже если предположить коллективное творчество» – в создании столь безупречной и монументальной метафоры катастрофы. Ибо казалось, будто разверзлась сама земля, демонстрируя, что же находится там, под городом, или будто, прорвавшись сквозь тонкую корку асфальта – стукнул он тростью о мостовую в подворотне, – улицы затопило какое-то мерзостное болото. Идеальный фундамент для нынешней обстановки, подумал Эстер, оглядывая застывшую мусорную стихию, и на мгновение ему показалось, что он уже видит, как она засасывает дома и деревья, фонарные столбы и афишные тумбы. Неужели таков он, спросил он себя, тот самый последний суд? Ни труб, ни всадников – тихо-мирно, без лишнего шума мы захлебнемся в дерьме? «Ничего удивительного, – поправил он шарф на шее, – закономерный итог», – и поскольку на этом он поставил в дознании точку, сочтя анализ сложившейся ситуации завершенным, Эстер решил, что в принципе они могут двинуться дальше. Но от одной только мысли, что из подворотни, где он стоял на асфальте, придется шагнуть в мусорную хлябь, его охватила понятная неуверенность, ибо застывшие адские отложения казались одновременно толстой студенистой массой и тоненькой пленкой, несокрушимо прочными и в то же время хрупкими, как однодневный лед, который проломится при первом же шаге. Если разум, понимавший, что это всего лишь поверхность гигантского мусорного массива, видел эти наслоения плотными и непробиваемыми, то телу они казались тоненькой пленкой, которая не удержит его, если оно рискнет на нее ступить; так еще какое-то время он пребывал на распутье между «уйти» и «остаться», однако в тот самый момент, когда в нем всколыхнулась волна отвращения, он принял решение: существенно упростив «в связи с непредвиденными обстоятельствами» предписания госпожи Эстер, он передаст список первым же встретившимся на его пути согражданам, дабы все это, в настоящих условиях *гениальное по бессмысленности*, предприятие, затеянное от его лица, осуществляли самостоятельно; ему же, сказал себе Эстер, ввиду состояния физического и психического здоровья необходимо, если это еще возможно, срочно покинуть этот покрытый

мусорной лавой лунный пейзаж. Однако шансов в конце концов встретить кого-нибудь было мало, ибо весь «органический мир», всю живую природу на проспекте барона Венкхейма в этот момент представлял один-единственный вид – чрезвычайно живучее племя кошек; сбившись в большие и малые шайки, они лениво курсировали на своих мягких лапах среди мерзлых остатков уже избавившихся от ненужного бремени исходного назначения, но для них по-прежнему притягательных вещей. То были разжиревшие и явно одичавшие животные, подобные представителям какого-то проснувшегося после долгой спячки вида, которые под влиянием неких благоприятных факторов весьма живописно возвращаются к своим древним – хищническим – повадкам; вот они, созерцатели и цари предсказанного – но, казалось, до бесконечности откладываемого – заката, новые хозяева города, в котором, усмехнулся он про себя, «наблюдается невероятный прогресс на пути к генеральному прорыву». Не было никаких сомнений в том, что *эти* кошки уже ничего не боятся, и словно бы в подтверждение одна из бродивших поблизости шаек, в том числе даже та кошка, которая, держа в пасти недоеденную крысу, явно не страдала от голода, как бы желая проверить доступность настоящей поживы, с неслыханной дерзостью приблизилась к ним – отдышавшим в подворотне двум особям из числа их бывших хозяев. Особого значения он этому не придал, хотя, заметив их приближение, попытался отпугивающим жестом отогнать их, однако заставить ретироваться эту разнузданную и, по всей видимости, до отвала нажравшуюся свору не удалось – этот знак уже не столь опасного превосходства вынудил их лишь слегка попятиться, и было понятно, что окончательно отделаться от них не получится: когда после передышки (покончив с колебаниями между «уйти» и «остаться») они двинулись дальше в сторону кинотеатра и гостиницы «Комло», кошки, вместо того чтобы оставить их в покое, «словно бы сознавая звериным чутьем изменившееся соотношение сил», еще долго следовали за ними, пока наконец – когда Валушка зашел с судками в гостиницу, чтобы забрать обед Эстера, – сделав вид, будто им надоело преследовать их, не развернувшись, чтобы, немного рассредоточившись среди выглядевших посвежее мусорных куч, продолжить прерванные поиски мясных обрезков, куриных костей и шустрых городских крыс. Казалось, совсем недавно здесь прошел какой-то неистовый карнавал,

тротуар перед безмолвным фасадом гостиницы был усеян опасными осколками от бутылок из-под спиртного, а на противоположной стороне улицы – как бы приткнувшись носом к галантерейной лавке Шустера – стоял на осях, будто на коленях, разграбленный и разбитый автобус. Когда же они, уже вместе с присоединившимся к нему Валушкой, дошли до кафе «Пенаты» и увидели поминавшийся госпожой Харрер знаменитый тополь (который, устав цепляться корнями за землю, отпустил ее и безобидным колоссом растянулся в узком просвете переулка Семи вождей), то Эстер, несомненно под впечатлением от увиденного, но прежде всего имея в виду именно горы мусора, указал на них спутнику и спросил: «Скажите, мой друг, неужели вы видите то же самое, что и я?!» Однако намерение поделиться с Валушкой своим изумлением оказалось напрасным, он знал это, можно сказать, еще не успев открыть рта, знал, что он не достигнет цели, ибо после минутного замешательства (даже неясно было, чьего – спутника или его собственного) в сияющем взгляде Валушки можно было прочесть, что он – закончив повествование о рассветном видении – теперь занят чем-то совсем другим; в самом деле, подумал Эстер, если до этого Валушка не находил ничего особенного в декорациях своих бесконечных блужданий, то почему это кошмарное зрелище должно броситься ему в глаза именно сейчас, когда, судя по его сияющему взгляду, он даже их скорбное ковыляние переживал так, словно оно – это балансирование по кошмарной местности – было неким торжественным и возвышенным предприятием, а если он, Эстер, находит, будто на месте знакомых улиц обнаружил какой-то город-призрак, то эта ошибка – которую ему в свое время придется признать – объясняется искажающим действием его слабости и ошеломления. С тех пор как они вышли из дома, все свои силы он направлял на то, чтобы исследовать и понять обстановку, а потому не слышал, что говорит его спутник, и даже его присутствие ощущал только благодаря тому, что тот поддерживал его под руку, однако теперь, неожиданно, по причине, которую он осознал много позже, все внимание его сосредоточилось на одном объекте – на самом Валушке, на его огромной и грубой казенной шинели, почтальонской фуражке и весело покачивающихся судках. До этого – ошибочно полагая, что имеет дело с обществом по природе своей безнадежным, но все же функционирующим – он никогда даже не задумывался о том,

что строго и безупречно, два раза в день, в полдень и ближе к вечеру, обнаруживающееся «ангельское присутствие», на которое почти безраздельно опирался однажды и навсегда установленный порядок его повседневной жизни, иными словами, что та исключительная и все же казавшаяся совершенно естественной регулярность, с которой его посещал Валушка, могла быть поставлена под угрозу; но в этот момент, здесь, на улице возле кафе «Пенаты», в день, который вполне обоснованно можно было назвать чрезвычайным, Эстер впервые со времени их знакомства, неожиданно осознав всю степень отваги своего помощника, испытал глубочайшее беспокойство. Увидеть этот приведенный к своему окончательному и завершенному виду человеческий ландшафт и вместе с тем осознать вдруг, представить, что это не ведающее, где находится и что ему угрожает, наивное, ослепленное своими воображенными звездами существо («Как какая-нибудь редкая нежная бабочка, беспечно порхающая в горящем лесу...») днем и ночью бродит здесь, по этому гиблому мусору, — осознать это значило для него понять, что если кто и нуждается в покровительстве, то скорее не он, а в гораздо большей степени как раз его преданный друг; и не только понять, но и тут же принять решение: если только удастся отсюда выбраться, он уже никогда не отпустит его от себя. Десятилетиями жил он в том убеждении, что, опираясь на доводы вкуса и разума, он отвергает мир, который, несмотря на невыносимое отсутствие в нем и рассудка, и вкуса, можно с их помощью хотя бы трезво оценивать, однако теперь, пройдя переулком Семи вождей на застывшую в мертвой тишине Ратушную улицу, он вынужден был признать: с помощью ясной логики и так называемого здравого смысла здесь уже ничего не добиться, ибо если когда-то этот город, расширительно называемый миром, сохранял хотя бы свою убийственную достоверность, то теперь он утратил — и сдается, уже безвозвратно — именно эту мучительную и очень даже земную подлинность. И как бы он ни старался, все было напрасно, привычное его остроумие теперь давало сбои, фразы, которые он пытался строить, и вообще превосходство заносчивого ума ровным счетом ничего не стоили, ибо — подобно свету в фонарике с разрядившейся батареей — в словах погас смысл, предметы же, с которыми этот смысл мог бы соотноситься, под грузом его полувековых терзаний развеялись в прах, уступив место декорациям химерического гран-гиньоля, в котором все

здравые слова и все здравые мысли оказались ошеломляюще недействительными. До мира, в котором нет места утверждениям, начинающимся такими словами, как «быть может» или «как будто», до пустынной империи, где всякого странника норовят, ибо имеют такую возможность, выгнать вон, и не потому, что он чего-то не понимает или чему-то противится, а потому, что он просто не ко двору, – словом, до такой «реальности», с глубочайшим презрением и гадливостью констатировал про себя Эстер, *ему никакого дела нет* – хотя в данный момент вряд ли можно было бы отрицать, что блуждать по этому лабиринту и одновременно с напыщенным видом делать такие дурацкие заявления – не что иное, как жалкая причуда. Но, как бы то ни было, он их делал, а с той минуты, когда во время очередного привала у газетного киоска на Ратушной улице его друг, неверно истолковавший последнее восклицание Эстера, заявил ему успокаивающим тоном, что ему известна причина этой «странной безлюдности» в городе, он думал уже только об одном: если, уладив дело, им удастся вернуться домой, то какой способ будет самым целесообразным, чтобы забаррикадироваться вместе с Валушкой в доме на проспекте барона Венкхейма? Ибо его уже не интересовало, что тут будет происходить, не интересовало, что грядет вслед за мусором, не интересовало ничего, кроме одного: как бы «еще до конца представления» скрыть этого чудака, занесенного сюда бог весть каким ветром, в надежном месте; замаскировать, как «мирную мелодию в какофонии», спрятать где-нибудь в доме, чтобы никто никогда не нашел его, спрятать – стучало в его мозгу – как последнее воспоминание о том, что когда-то реально существовал этот, последний быть может, представитель сиротливого и щемящетрогательного поэтического заблуждения. Он слушал вполуха восторженный отчет Валушки об утренних впечатлениях – о ките на площади Кошута, который, словно магнит, притянул к себе не одних только горожан, но даже – с очевидным и вместе с тем объяснимым преувеличением свидетеля вещал его друг – «и сотни людей из окрестностей», однако на самом деле Эстер думал теперь только о том, сколько времени имеется в их распоряжении для того, чтобы превратить дом на проспекте в неприступную крепость «на случай возможной беды». Тем временем его друг продолжал: «Да там просто весь город!» – и когда они двинулись по главной улице к угловому

зданию Водоканала, каковое название в последние месяцы приобрело несколько саркастическое звучание, стал вдохновенно живописать, какое чудесное зрелище ожидает их, когда они вместе – что явится кульминацией их прогулки – обозреют это бесподобное существо; однако его рассказ о матером циркаче в грязной майке, о многочасовом ожидании заполонившей рыночную площадь толпы, а также о невероятных размерах и фантастическом, сказочном виде кита не только не отрезвил Эстера, но даже наоборот, только масла в огонь подлил, ведь из того, что он видел вокруг, напрашивалось лишь то заключение, что этот дьявольский монстр если и может стать кульминацией, то не их каторжной прогулки, а скорее тех «бесконечных приготовлений», которые переживает мир. Если он, этот монстр, вообще существует, вздохнул сокрушенно Эстер, а не живет, вместе со всей этой публикой и матерым аттракционщиком, в воспаленной фантазии его друга, способной заселить эту необъяснимую пустоту кем угодно; сам же блестящий аттракцион существует, по-видимому, только на вывешенной у скорняжной мастерской афише, на которой тушью или, может, обмокнутым в чернила пальцем, кто-то еще добавил корявыми буквами: «ВЕЧЕРОМ – КАРНАВАЛ». Сколько он ни оглядывался по сторонам, все признаки указывали на то, что, помимо бродячих кошек, живыми душами в этой пустыне были только они с Валушкой – если, конечно, кисло подумал Эстер, считать позволительным так неточно и упрощенно характеризовать их убогое состояние. Ибо нельзя отрицать, что зрелище, которое они являли, было довольно странным: вцепившись друг в друга, они еле влачили в сторону углового здания Водоканала и, сражаясь на ледяном ветру буквально за каждый метр, на самом деле напоминали скорее двух слепых инопланетян, нежели respectable господина с его верным спутником, отправившихся убеждать сограждан принять участие не в чем-нибудь, а в движении за чистоту их города. При этом им нужно было согласовывать два способа ходьбы, две разные скорости и даже, можно сказать, два разных вида беспомощности, поскольку каждый шаг Эстера совершался по этой призрачно освещенной местности так, будто он был последним, то есть походка его была как бы приготовлением к остановке, между тем как Валушке приходилось все время сдерживать свое неутолимое желание ускорить темп, да еще – поскольку Эстер

явно зависел от него – приходилось скрывать, как ему, превосходившему вес учителя разве что мерой энтузиазма, было тяжело под грузом тела, с угрозой для собственного равновесия навалившегося на его левое плечо. Можно было бы даже утверждать, что Валушка тянул и тащил за собой учителя, а Эстер, наоборот, тормозил Валушку, что Валушка, по сути, бежал, в то время как Эстер, по сути, стоял на месте, однако на самом деле рассматривать их перемещение по отдельности было бы неуместно уже потому, что в этом неловком, мучительном, спотыкающемся продвижении слились воедино их отличающиеся по характеру шаги и отсутствующая или чрезмерная энергичность; больше того, их неуклюжая сцепленность и очевидная взаимозависимость не давали им быть отдельно Эстером и отдельно Валушкой, представляя их двойственность в одной замысловатой фигуре. В этом призрачном сочленении шаг за шагом продвигались они вперед, и сами, как едко заметил про себя Эстер, «под стать дьявольскому кошмару похожие на обессилевшего потустороннего лешего», на заблудшего демона, скитающегося в виде жалкой тени с двумя сросшимися телами, опирающейся одной рукой на палку, а другой весело помахивающей судками; миновав крохотный скверик перед Водоканалом и безмолвное здание Кассы рабочей взаимопомощи, они столкнулись у Джентльменского клуба Чулочной фабрики с тремя господами; все они – поскольку в тех тоже было не слишком много жизни – могли бы взаимно принять друг друга за привидения; вплоть до момента счастливого узнавания господа стояли, как было заметно, в полном оцепенении, будто к земле приросли, ожидая несправедного удара судьбы, медленно приближающейся к ним в виде страшного чудовища. «Троица самых смелых!» – обратил Эстер внимание Валушки, все еще разглагольствующего о ките, на пепельно-серую группу людей (проглотив, дабы не расстраивать друга, продолжение фразы: «...если предположить, что тут, кроме них, еще кто-то остался...»); затем после короткой передышки, вразумив его относительно их задач в связи с поручением госпожи Эстер, он двинулся на противоположную сторону улицы, готовый с достоинством встретить первые мутные волны радости узнавания и растроганности от выпавшей на их долю чести – словом, все то, что страстно хотели, но никак не могли толком сформулировать трое господ, счастливо опознавшие в Эстере и

Валушке живых людей. «Нужно что-то предпринимать!» – прокричал один из них, когда они утомились приветствовать его и Эстеру удалось наконец освободить захваченную ими руку; это был тугой на ухо господин Мадаи, имевший неисправимую привычку «в ходе обмена мнениями» благим матом орать в уши несчастных жертв, и хотя с этим призывом тут же согласились и двое других господ, их позиции относительно того, что именно нужно предпринимать, как выяснилось, весьма расходились. Сочтя, что тема их разговора во вступлениях не нуждается, и признав за Эстером роль хозяина положения, господин Надабан, дородный мясник, снискавший среди влиятельных горожан немалое уважение своими «чувствительными стихами», заявил, что он, со своей стороны, хотел бы привлечь внимание собравшихся к необходимости единства, однако господин Волент, мастер Башмачной фабрики и одержимый любитель всевозможных технических ребусов, покачал головой и предложил в качестве отправного принципа общих действий здравый смысл, с чем не согласился господин Мадаи, который, призвав остальных к молчанию, опять наклонился к Эстеру и во всю глотку гаркнул: «Бдительность, вот что нам требуется, господа!» Разумеется, ни один из них не дал повода усомниться в том, что обозначенные ими ключевые понятия – «бдительность», «здравый смысл» и «единство» – служат лишь многообещающими прологами к ответственным рассуждениям и что все они ждут не дождутся, когда смогут изложить свои неопровержимые аргументы, между тем Эстер – испытавший не меньшее облегчение оттого, что у входа в Джентльменский клуб Чулочно-носочной фабрики наткнулся на «трех живых идиотов», – конечно, предвидел, что будет, когда эти герои, трясущиеся как овечий хвост, вывалят на него свои разногласия, и чтобы предупредить их атаки и как можно скорее передать слово Валушке, который стоял чуть поодаль, рискнул осведомиться у господ, в чем причина такого (как можно понять по их горькому тону) единодушного пессимизма. Вопрос, видимо, изумил их, и на мгновенье три взбудораженных взгляда как бы сбегались в один, ибо никто из них не предполагал, что Дёрдь Эстер, человек, который – как было сказано в одном давнем памятном адресе – «благодаря выдающемуся таланту осветил нашу повседневность золотом возвышающего искусства», бывший кумиром общества и, как писал о нем в одном своем панегирике господин Надабан, служивший «нам

унылых будней альфой и омегой», – словом, никто и представить себе не мог, что Эстер, оказывается, ни о чем не знает; а с другой стороны, существовало ведь до смешного простое объяснение этой неосведомленности, состоявшее в признании известной рассеянности высоких умов и их стремления держаться подальше от мирского шума, и сие – ну конечно же! – означало, что они трое являются теми избранными счастливыми, кому предстоит просветить выдающегося сына их родины относительно ужасающих перемен, которые наступили в городе, – короче, найти это объяснение и осознать свою исключительность было для них делом одного мгновения. Со снабжением перебои, школы и учреждения, в сущности, не работают, наперебой заговорили они, ситуация с отоплением из-за нехватки угля просто катастрофическая. Медикаментов нет, со скорбными лицами жаловались они, автобусы и машины простаивают, а нынешним утром отключился и телефон, окончательно решив участь города. Так мало того, воскликнул горестно господин Волент, да к тому же еще, возопил господин Надабан, и в довершение ко всему, вскричал господин Мадаи, появился еще этот цирк, который перечеркнул последние надежды на прорыв и восстановление порядка, этот аттракцион с кошмарным китом, который мы простодушно пустили в город и с которым теперь уже ничего не поделаешь, ибо эта в высшей степени странная, приглушил голос господин Надабан, весьма подозрительная, закивал господин Мадаи, наводящая ужас компания, мрачно нахмурился господин Волент, прибыла нынче ночью на площадь Кошута. Не обращая внимания на Валушку, который смотрел на них со смесью грусти и замешательства, они заявили Эстеру, что речь, несомненно, идет о преступной шайке, но добиться от них каких-то конкретных фактов было довольно трудно. «Их там человек пятьсот!» – сказал кто-то из них, между тем как другой настаивал, что вообще-то в трупке их двое; что же касается самого аттракциона, о нем они то говорили как об ужаснейшей вещи на свете, то утверждали, что это всего лишь повод для того, чтобы с наступлением ночи какая-то непонятно откуда взявшаяся толпа обрушилась на них в чем не повинных граждан. Этот кит, говорили они, совершенно тут ни при чем, а потом вдруг оказывалось, что на самом-то деле он и есть причина всех неприятностей, но когда они заявили, что эти «злодеи» уже занялись грабежами и при этом – все до единого – неподвижно

стоят на площади, Эстер решил, что с него достаточно, и жестом дал знать, что он хочет говорить. Люди напуганы, опередив его, быстро добавил господин Волент, мы не можем так просто на это смотреть, подхватил господин Надабан, и сложа руки ждать, своим характерным тоном высказался господин Мадаи, пока на нас обрушится катастрофа. Ведь тут дети, вытер слезу господин Надабан, несчастные матери, трубным голосом взвизгнул господин Мадаи, и главное, заключил возбужденный господин Волент, в совершенно реальной опасности то, что дороже всего для нас, – тепло домашнего очага... Представить себе, чем закончился бы этот жалобный хор трех бравых организаторов сопротивления, разумеется, можно, но только теоретически, ибо Эстер, воспользовавшись кратким мгновением общей подавленности, взял слово и, учитывая их взвинченное состояние, решил облегчить душевные муки троих господ, заверив их в том, что безвыходных положений не бывает, нужна только непреклонная воля, и тогда есть надежда, что ситуация переменится. Коротко и без лишних предисловий он изложил им программу общественного движения «ЧИСТЫЙ ДВОР, ОПРЯТНЫЙ ДОМ», суть которого, на его взгляд – он повел глазами вверх их голов, – говорит сама за себя, после чего попросил молодого друга посвятить уважаемых господ в детали, сам же, отметив, что он облечен полномочиями не только «главного мусорного смотрителя» в рамках их городского движения, но и «инспектора всегалактической свалки», добавил, что, со своей стороны, ни секунды не сомневается в успехах их будущей организаторской деятельности. С трудом дождавшись, пока его спутник подробно проинструктирует трех господ относительно их задач и передаст им список, Эстер, ограничив прощальную церемонию скупым взмахом длани, повернулся на каблуках и оставил троицу переваривать услышанное. Он был уверен, что семя прекрасного замысла госпожи Эстер пало на благодатную почву и все, что ему осталось, это стереть из своей памяти события последней четверти часа; так он и сделал, и когда трое господ, изумленные молниеносным прощанием, но вскоре очухавшиеся, разразились согласными воплями: «Да, воспрянуть! Замечательная идея! Здравый смысл!.. Единство!.. Бдительность!.. Вот что самое главное!» – он этого даже не услышал и, черпая силы в сомнительном утешении, что этим нечеловеческим испытанием своего терпения

наконец-то освободился от свалившегося на него бремени, вернулся к своим еще только вырисовывающимся планам и попытался с возможной тщательностью обдумать, как ему теперь быть. Он знал, что известие об «успешном осуществлении акции» должно быть непременно и своевременно доставлено его жене («А ведь уже без нескольких минут четыре!»), в противном случае вечером ее угроза будет приведена в исполнение, и потому – положив конец попыткам Валушки, который пришел в замешательство от услышанных только что бредней, непременно доказать ему необоснованность опасений по поводу цирка – заявил, что «с сознанием честно выполненного долга» он отправляется домой, а его, Валушку – он загадочно посмотрел на друга, пока что не раскрывая ему сути своего плана, – он настоятельно просит, чтобы, выполнив свое поручение в переулке Гонведов, тот незамедлительно возвратился к нему. Валушка, конечно, пытался протестовать, мол, он не может отпустить его одного, да еще по такому морозу, не говоря уж о том, «что же будет тогда с китом», и Эстер, вновь отложив свои размышления о тактике предстоящих действий, вынужден был обосновать собственную позицию чуть подробнее, объяснив Валушке, что все будет в порядке и волноваться ему не стоит. «Видите ли, мой друг, – сказал он, – я вовсе не говорю, что мне по душе эта беспощадная тирания холода, равно как не утверждаю, будто являюсь тропическим существом, вынужденным дрожать в царстве вечного снега, тем более что, как вам хорошо известно, снега нет и уже никогда не будет. Однако если вы сомневаетесь в том, что я смогу проделать по этому холоду и без посторонней помощи оставшиеся несколько метров, то смею заверить вас: я на это способен. И еще, – добавил он, – не стоит жалеть о том, что кульминация наших сегодняшних походов не состоится. Право слово, я с удовольствием познакомился бы с его величеством, но согласитесь, что в данный момент это невозможно. Вообще-то, – улыбнулся он спутнику, – я всегда нахожу приятным наблюдать существа, пребывающие в той точке эволюции, в которой с радостью застрял бы и я, но эта прогулка меня утомила, а встречу с вашим китом ведь можно устроить и завтра...» Его голос звучал уже вовсе не так, как прежде; он и сам знал, что стремление быть остроумным чувствовалось в его словах гораздо яснее, чем само остроумие, но поскольку в них прозвучало скрытое обещание, Валушка, пускай

неохотно, принял его предложение, и в оставшееся до их расставания время ничто больше не мешало Эстеру прорабатывать план их грядущего общего бытия. Вскоре он пришел к заключению, что для того, чтобы сделать их дом пригодным для жизни, им, пожалуй, достаточно будет только забаррикадировать подворотню да заколотить окна (все остальное за них уже сделала госпожа Харрер с ее разрушительной страстью к уборке), и с чувством облегчения тут же принялся размышлять о том, «как она будет выглядеть, эта совместная жизнь». Валушку, с неослабным вниманием продолжал Эстер балансировать посреди гипнотической топи, он поместит в комнате по соседству с гостиной, как можно ближе к себе, и воображение уже рисовало ему их «идиллический завтрак вдвоем», чтобы затем погрузить в «тишину безмятежных вечеров». Они будут сидеть, представлял он себе картину, в глубочайшем покое, гонять кофеи, а на обед – по крайней мере дважды в неделю – будут готовить горячее; молодой его друг, как обычно, будет рассказывать ему свои звездные байки, а он, по обыкновению, что-нибудь возражать ему, и им будет совершенно неважно, существует ли еще за окном этот мир с его погружающимися в неизвестность мусорными кулисами... Он заметил (и оттого даже несколько смутился), что, дойдя в своих планах до этого места, он странным образом умилился, однако, оглянувшись еще раз по сторонам и вспомнив все свои злоключения, пришел к выводу, что ввиду пошатнувшегося здоровья («да и старости, что греха таить...») такое проявление эмоций вполне простительно. Он взял у Валушки холодные как лед судки, строго-настрога наказал ему, чтобы, покончив с делами, он тут же отправлялся к нему, затем снабдил друга еще несколькими советами, попрощался и вскоре, где-то у переулка Семи вождей, потерял его из вида.

Он потерял его из вида, и все же не потерял, ведь, несмотря на то что их уже разделяли дома, он все еще видел перед глазами возлюбленного учителя, ибо за час, проведенный ими на улицах, присутствие господина Эстера, благодаря Валушкиному напряженному вниманию, оставило на городе такой отпечаток, что его фигуру не могла скрыть уже никакая масса строений. Все указывало на то, что он побывал здесь, и от сознания, что друг еще где-то поблизости, все, куда бы он ни смотрел, говорило ему о том, что тот еще здесь, на целые минуты перенося момент их реального расставания и отодвигая таким образом финальный акцент столь волнующего для Валушки события, чтобы он как бы имел возможность проводить его до расположенного на проспекте Венкхейма дома и уже там, вздохнув с облегчением, констатировать: их променад, этот «внезапно и великолепно начавшийся, но не лишенный грустных моментов выход господина Эстера в мир», как бы там ни было, завершился благополучно. Стоять рядом с ним, когда он выходит в прихожую, присутствовать при первых шагах, тенью следовать за учителем, зная, сколь велико значение этой долгожданной прогулки для страстно желаемого выздоровления, – все это поначалу, пока они добирались от гостинной до подворотни, было для гордого очевидца истинной радостью и даже наградой (как он полагал, не совсем заслуженной); однако сказать, что их прогулка «не лишена была грустных моментов», значило почти ничего не сказать о настоящем положении вещей, ибо как только он понял, что для его престарелого друга каждый сделанный шаг – это мука, безоблачная радость «гордого очевидца» рассеялась, оставив после себя похмельное ощущение горечи. Он надеялся, что момент, когда Эстер поднимется из постели и наконец-то покинет комнату с занавешенными окнами, станет апофеозом выздоровления и возвращения к жизни, но уже через несколько метров ему стало ясно, что день этот, возможно, не только не облегчит тяжелое состояние больного, а сделает его еще более очевидным, и от пугающей этой возможности – что новое появление его учителя на людях, его прогулка, предпринятая ради организации общественного движения за наведение чистоты, станет не прелюдией к его возвращению в мир, а скорее прощанием с миром, отказом и окончательным отречением от него, – словом, ото всего этого Валушку – впервые со времени их

знакомства – охватила отчаянная тревога. То, что ему стало плохо на свежем воздухе, еще можно было как-то понять, учитывая, что он уже целую вечность жил уединенно, а в последние пару месяцев и вообще не покидал дома, однако когда постепенно выяснилась вся запредельность физической немощи Эстера и того нервного напряжения, в котором пребывал город, Валушка был этим шокирован и во всем укорял себя. Он испытывал все более острое чувство раскаяния из-за своей халатности и предосудительного легкомыслия, с которым он закрывал глаза на реальность и тешил себя иллюзиями насчет скорого исцеления; мучился тем, что если его товарища в ходе изнурительной прогулки постигнет несчастье, то это случится исключительно по его вине; и наконец, чувствовал некий смутный стыд оттого, что в этом всегда преисполненном достоинства и ума человеке, он, к глубочайшему своему сожалению, был способен видеть теперь лишь беззащитного старика, который к тому же из-за данного им, Валушкой, обещания госпоже Эстер, не мог принять единственно разумное сейчас решение – незамедлительно вернуться домой. Так что пришлось им идти, и господин Эстер, не думая даже скрывать свою беспомощность, оперся на его плечо, как бы давая этим понять, что нуждается не только в помощи, но и в руководстве, так что Валушке не оставалось ничего другого, кроме как попытаться отвлечь внимание своего друга теми прекрасными новостями, с которыми он прибыл в дом Эстера в два часа дня. Он говорил о восходе солнца, говорил о городе, в котором в утреннем свете один за другим оживают все его закоулки, говорил не переставая, но в словах его не было обычной живости, потому что сам он к себе не прислушивался. Вынужденный на все смотреть глазами другого, он неотрывно следил за взглядом Эстера и с нарастающей беспомощностью осознавал, что престарелый наставник видит сейчас вокруг подтверждения отнюдь не его, Валушкиных, жизнерадостных представлений о мире, а своих собственных мрачных суждений. В первые минуты он еще надеялся, что, освободившись из комнатного плена, Эстер естественным образом вернется к жизни, воспрянет духом и ему наконец-то удастся перевести внимание друга «с деталей на вещи в целом», однако когда – у гостиницы «Комло» – Валушка понял, что его все более пустозвонные фразы уже не способны скрывать эти детали от взгляда Эстера, он решил замолчать и попытался облегчить дальнейшие

испытания на их пути бессловесной, но искренней демонстрацией сострадания. Но из этого ничего не вышло: когда он покинул гостиницу, слова полились из него с еще большим отчаянием; дело в том, что, пока Валушка стоял на раздаче, он услышал жуткую новость, от которой пришел в полное замешательство. Вернее, дело было не в самой жуткой новости, потому что услышанным от работников кухни сплетням о том, что вскоре после полуночи «группа бандитов с рыночной площади» разграбила, точнее сказать, самым варварским образом разгромила все запасы спиртного в гостинице, он попросту не поверил, сочтя их обычными удручающими симптомами «панического расстройства» и «заразных тревог и страхов», однако когда он с наполненными судками возвращался к оставшемуся на улице Эстеру, его неожиданно поразило то, чего он до этого даже не замечал: в коридоре, в фойе и на тротуаре перед гостиницей все и правда было усеяно битым бутылочным стеклом. Он пришел в замешательство и в ответ на оправданный вопрос своего спутника после минутного колебания стал рассказывать ему про кита, а затем – после того как они, благополучно покончив дело с тремя господами, повернули назад – попытался рассеять страхи, порожденные этим китом, успокаивая уже не только Эстера, но, по совести говоря, и себя самого, ибо, хотя он был убежден, что достаточно трезво взглянуть на небесный свод, чтобы жизнь вернулась в нормальную колею, он никак не мог забыть реплику (а именно фразу шеф-повара: «Кто задержится ночью на улице, тот головой рискует, имейте это в виду!»), прозвучавшую на ресторанной кухне. Чтобы те «славные и добропорядочные люди», с которыми он провел несколько утренних часов у циркового фургона, были вандалами и бандитами – в это Валушка поверить не мог, тут какое-то заблуждение, думал он, причем такое заблуждение, которое из-за распространяющихся панических слухов (вон даже господин Надабан и тот перепуган!) нужно немедленно опровергнуть, и потому, когда, мысленно проводив господина Эстера до дома, он с Ратушной улицы вышел на рыночную площадь, то первым делом выбрал в гуще по-прежнему неподвижно стоявшей толпы какого-то человека, чтобы объяснить, потолковать с ним, ибо помимо безответственной фразы шеф-повара в его голове звучали свои («...трезво взглянуть!..», «...воззвать к разуму!..») собственные слова. И этому человеку он рассказал, какие слухи идут о

них по городу и что люди неправильно все толкуют, поведал ему о состоянии господина Эстера, заявил, что всем здесь присутствующим непременно следует познакомиться с этим славным ученым мужем, признался, как он за него тревожится, сказал, что полностью сознает ответственность, и под конец попросил извинить его, если он объяснился немного путано, но – добавил Валушка – за эти несколько минут он убедился в дружеском расположении своего собеседника, который наверняка хорошо его понимает. Собеседник на это ничего не ответил и только окинул Валушку с головы до ног долгим безжизненным взглядом, после чего – возможно, заметив растерянность на его лице – улыбнулся, похлопал его по плечу, вытащил из кармана бутылку палинки и дружелюбно протянул Валушке. Видя, что после придирчивого осмотра незнакомец повеселел, Валушка вздохнул с облегчением и решил, что ответить отказом на этот любезный жест никак невозможно, свежее испеченную дружбу следует закрепить, и потому, взяв бутылку окоченевшими пальцами, отвернул колпачок и, дабы завоевать доверие визави и убедить его в «искренности взаимных чувств», не просто для вида поднес бутылку ко рту, но основательно отхлебнул из нее. И это геройство дорого встало Валушке: от дьявольски крепкого алкоголя на него напал удушающий кашель, столь сильный, что, когда полминуты спустя он стал приходить в себя и с виноватой улыбкой оправдываться за слабость, речь его прерывалась все новыми приступами. Ему было стыдно, и он опасался, что может из-за этого потерять благорасположение своего нового знакомого, однако мучения его были такими искренними и он так забавно в поисках опоры ухватился за собеседника, что вызвал некоторое веселье не только у него, но даже у тех, кто стоял поблизости. В разрядившейся атмосфере он, отдышавшись, уже более раскрепощенно рассказал также, что господин Эстер, хотя он и отрицает это, работает в настоящее время над важнейшим открытием, и уже по этой причине он, Валушка, считает, что все здесь присутствующие должны объединить усилия ради восстановления тишины и покоя в доме на проспекте Венкхейма, – а затем, повернувшись к новому другу, доверительным тоном признался ему, что разговор доставил ему огромное удовольствие, еще раз поблагодарил его за доброжелательность, после чего с сожалением объявил, что вынужден – о причинах («Весьма

интересных!») он в следующий раз им расскажет – покинуть их общество. Ему пора, протянул он руку мужчине, и когда тот крепко сжал ее в своей клешне (сказав: «Расскажи сейчас, я с удовольствием выслушаю!»), то Валушка, пытаясь высвободиться из неожиданного капкана, со смущенной улыбкой забормотал, что сейчас ему недосуг, но он надеется, что в ближайшее время они увидятся, а если не доведется пересечься на улице, то пусть заглядывает в «Пефефер», к господину Хагельмайеру, либо просто – с недоумением и некоторой тревогой посмотрел он на свою все еще крепко стиснутую руку – пусть спросит Яноша Валушку, его тут все знают. Он понятия не имел, чего хотел от него новый знакомый, но узнать, что значила и чем могла завершиться эта выходка, ему было не дано, потому что мужчина внезапно разжал свою пятерню и вместе с сотнями других зевак, стоявших на площади, с напряженным лицом повернулся к фургону. Воспользовавшись ситуацией, Валушка, все еще напуганный странным рукопожатием, поспешил попрощаться с ним и стал пробиваться вперед, но спустя какое-то время – когда нового знакомого, сколько он ни оглядывался, уже не было видно в толпе – остановился от поразившей его мысли: а ведь он ошибался, какой же он идиот; и, застыдившись, стал укорять уже себя: как он мог заподозрить что-то плохое в этом вполне безобидном проявлении приятельской грубоватости, да это не просто глупость, это оскорбительная невоспитанность. Больше всего расстраивало Валушку то, что, непростительным образом превратно истолковав дружелюбный жест, он оставил его без ответа; испытываемый от собственной неотесанности стыд несколько заглушило лишь то, что от паники, вызванной этим рукопожатием, он избавился так же быстро, как и впал в нее. Он не мог понять, как это могло с ним случиться, ведь вместо ничем не оправданного недоверия, думал он, понимание и терпение его собеседника заслуживали искренней благодарности, и поскольку из-за необходимости срочно встретиться с госпожой Эстер вновь отыскать его в густой толпе ожидающих и объясниться с ним теперь было невозможно, он – с твердым намерением при первом удобном случае, когда они опять встретятся, непременно исправить свою оплошность – двинулся дальше и вскоре дошел до места, с которого стала понятна причина всеобщего возбуждения. Было уже совсем темно, лишь уличные фонари мерцали по сторонам площади да

сеялся слабый свет из открытого проема цирковой фуры, но поскольку Директор стоял не там, а у передней части фургона, то был виден только его силуэт. Ибо то был он – Валушка внезапно остановился; вне всяких сомнений, он, его можно было узнать даже в темноте по дородности, по невероятным размерам, которые и впрямь соответствовали всем распространяемым о нем слухам. На минуту он забыл о своем срочном деле и о том, что случилось с ним только что, и, чтобы лучше видеть, стал протискиваться сквозь толпу, сделавшуюся, чего не мог не заметить даже Валушка, более беспокойной, а затем, подойдя уже совсем близко и от любопытства поднявшись на цыпочки, затаил дыхание, боясь пропустить хоть слово. Директор держал в руке сигару, на нем была шуба до пят, и все это, вместе с гигантским пузом, с необычно широкими полями шляпы и огромным вторым подбородком, распластавшимся поверх аккуратно повязанного шелкового шарфа, тут же снискало уважение Валушки. Вместе с тем было очевидно, что этот необыкновенный господин пользуется на площади непререкаемым авторитетом не только благодаря величественным габаритам, но прежде всего потому, что никто ни на секунду не мог забыть о том, чем он владеет. Неземной характер аттракциона сообщал его личности исключительный вес, и Валушка взирал на него как на человека, хладнокровно властвующего над тем, что в других вызывает ужас и изумление. С сигарой, которую он держал сейчас на отлете напряженной рукой, он, казалось, глядел на все с высоты своей неуязвимой власти; и здесь, на площади Кошута, все взгляды тоже были прикованы к этой толстой сигаре, ибо она принадлежала тому, кто везде, где бы ни находился, неизменно был связан с этим чудом света – китом. Он выглядел усталым и изможденным, но изможденным не повседневными хлопотами и заботами, а как будто единственной мыслью – что в любую минуту его может убить эта невероятная масса собственного жира. Он долго молчал, по-видимому, дожидаясь полной тишины, а затем, когда уже не было слышно ни шороха, оглянулся по сторонам и раскурил потухшую сигару. Его лицо, искажившееся от облака едкого дыма, заплывшие жиром мышинные глазки, скользнувшие по толпе, поразили Валушку, ибо это лицо и эти глаза – хотя расстояние до них было не больше трех метров – смотрели на него из какого-то невообразимого далека. «Значит, так», – заговорил он, но с такой интонацией, как будто

на этом свое выступление и заканчивает или по меньшей мере хочет заранее предупредить публику, что на длинную речь можно не рассчитывать. Густым басом он объявил, что «на сегодня представление окончено», и добавил еще, что «до завтрашнего открытия кассы» он от имени труппы имеет честь раскланяться «с почтенной публикой и выразить ей искреннюю признательность за незаслуженное внимание». Грузно и медленно – снова отставив сигару – он прошел сквозь покорно раздвинувшуюся толпу вдоль фургона и, взобравшись по трапу, скрылся из виду. Всего несколько слов, однако, подумал Валушка, для доказательства уникальности цирка и великолепия его Директора («...это надо же с таким благородным почтением попрощаться с публикой!..») их вполне достаточно, и, как ему поначалу показалось по раздававшемуся вокруг него гулу, в этом своем – немного испуганном – восхищении он был не одинок. Но именно поначалу, ибо, волнами катясь по площади, гул все усиливался, и Валушке уже хотелось, чтобы Директор вернулся и дал какие-то элементарные объяснения относительно фантастического монстра и об их труппе, вместо того чтобы усугублять их загадочность. Он стоял в темноте не в силах понять, что говорят эти люди вокруг него, смущенно поправляя на плече ремень почтальонской сумки и ждал, чтобы недовольный ропот, а то был действительно ропот, как-нибудь утих. Он вдруг вспомнил слова шеф-повара и разговор, состоявшийся у Джентльменского клуба, и поскольку протестующий ропот не утихал, в голове у него мелькнуло, что казавшиеся до сих пор беспричинными страхи горожан, быть может, не так уж и беспричинны. Однако дожидаться, пока разочарованный ропот стихнет, или хотя бы понять, в чем его причины, Валушка не мог, он спешил и, даже протиснувшись через всю толпу и дойдя до угла переулка Гонведов, ситуацию так и не прояснил. Все было как в тумане... по дороге к дому госпожи Эстер в узком пустынном переулке перед глазами одно за другим всплывали события минувшего дня, но увязать их друг с другом не удавалось. Воспоминание о прогулке с господином Эстером наполняло его печалью, а мысли о городе и о площади – саднящим чувством вины за допущенную оплошность, и все это так быстро сменялось в его душе, что, выбитый из колеи привычных своих размышлений (то есть будучи вытолкнутым из собственной жизни в жизнь других людей), он совсем потерялся в

сумбуре чувств, и в голове его не осталось ничего, кроме отчаяния, хаоса непонимания и растущего нежелания что-либо знать об этом отчаянии и хаосе. К тому же, когда он вошел в калитку, все это сразу забылось, так как он спохватился, что четыре часа давно уже миновали и госпожа Эстер с ее непримиримым характером, конечно же, не простит ему опоздания. Но она простила, больше того, казалось, будто известия Валушки ее сейчас не особенно и волнуют – его рассказ, нетерпеливо кивая, она слушала вполуха, и когда Валушка, еще стоя у порога, взялся было расписывать, как успешно началась оргработа, госпожа Эстер оборвала его на полуслове, сказав, что «в связи с серьезными обстоятельствами в данный момент это неактуально», и указала на стоящий рядом с ней табурет. Только тут Валушка сообразил, что явился не вовремя, ибо в данный момент здесь проходило какое-то, по-видимому, весьма важное совещание, и поскольку ему было непонятно, зачем он тут нужен и почему госпожа Эстер – покончив с ним все дела – не отправит его восвояси, он сидел, робко стиснув колени и не смея пикнуть. Но даже если он угадал и тут действительно проходило важное совещание, то весь этот синклит производил весьма странное впечатление. Городской голова, словно терзаемый какой-то мучительной болью, бегал туда-сюда по комнате и тряс головой; затем, после нескольких кругов, он остановился и разразился горячей тирадой (вопя: «Это надо же... дожить до такого... чтобы начальствующее лицо... перемещалось по городу крадучись... огородами, так сказать!!..») и, пунцовый от возмущения, то ослаблял, то затягивал свой большой, в поперечную полоску галстук. О господине полицмейстере сказать что-то было непросто, ибо он, со слегка окровавленной физиономией, прижимая ко лбу мокрый носовой платок и уставившись в потолок, совершенно неподвижно лежал в форменном кителе на кровати, от которой распространялся крепкий дух спиртного. Но наиболее странно вела себя госпожа Эстер: не произнося ни слова, она с заметным напряжением размышляла о чем-то (время от времени кусая губы), посматривала на часы и бросала красноречивые взгляды на дверь. Оробевший Валушка сидел, куда его посадили, и хотя – если не по другим каким-то причинам, то из-за данного господину Эстеру обещания – должен был непременно уйти, не смел даже шорохом помешать напряженному совещанию. Однако довольно долго ничего особенного не происходило; городской голова

пробежал по комнате, наверное, уже метров двести, когда госпожа Эстер вдруг встала, откашлялась и заявила, что «больше ждать невозможно» и у нее имеется предложение. «Надо послать вот его, – показала она на Валушку, – чтобы выяснить ситуацию еще до того, как вернется Харрер». – «Отчаянную ситуацию, скажу я вам! Отчаянную!» – с тоскливым лицом остановился тут городской начальник и, вновь закачав головой, сказал, что он сомневается, «что этот славный молодой человек сможет справиться с такой задачей». Зато она («Зато я!..») в нем уверена, с не терпящей возражений усмешкой заявила госпожа Эстер, после чего уже с самым серьезным видом повернулась к Валушке и объяснила, что вся просьба их заключается в том, чтобы «ради общего дела» сходить на площадь Кошута, обстоятельно все там разведать и об увиденном «в простых словах» проинформировать чрезвычайную кризисную комиссию. «С полным моим удовольствием!» – вскочил с табурета Валушка, который, услышав об «общем деле», мгновенно сообразил, что, собственно, все это заседание посвящено его знаменитому другу; затем он неуверенно, ибо не знал, правильно ли поступает, встал навтыжку и заявил: он с готовностью предлагает свои услуги еще и потому, что вернулся как раз оттуда и кое в каких вещах, а если конкретно – в царящей там специфической атмосфере, он и сам хотел бы еще разобраться. «В специфической атмосфере?!» – сел при этих словах полицмейстер и с лицом, искаженным гримасой, вновь повалился на спину. Умирающим голосом он попросил госпожу Эстер еще раз смочить платок, а затем принести бумагу и карандаш и заняться ведением протокола, поскольку, как он полагает, речь идет о предмете, входящем в круг его полномочий, так что он вынужден «взять руководство операцией в свои руки». Та переглянулась с городским головой, и пока на чело больного водружался новый компресс, они тихо договорились, что «мир дороже», попросили Валушку приблизиться, и госпожа Эстер, вооружившись карандашом и бумагой, села у кровати. «Место, дата!» – измученно простонал полицмейстер, и когда женщина тут же сказала ему: «Готово!» – полицмейстер расшаркался и тоном человека, которого угораздило иметь дело с профанами, с расстановкой переспросил: «Что... готово?!» – «Как что? Место, дата. Я записала», – обиделась госпожа Эстер. «Это я у него спрашиваю: место, дата! – дернул он головой в сторону Валушки. –

Где? Когда? Записывать надо то, что он скажет, а не мои слова». Раздосадованная женщина даже отвернулась, видно было, каких усилий стоит ей сейчас сдерживаться и не возражать, но затем, многозначительно посмотрев сперва на городского начальника, который все так же как угорелый метался по комнате, а затем на Валушку, кивнула последнему, чтобы начинал. Тот замялся, не совсем понимая, чего от него хотят, и опасаясь, как бы гнев хворающего полицмейстера не обрушился на него, но потом попытался в самых «простых словах» изложить все подробности увиденного им на площади; правда, уже после нескольких фраз, дойдя в рассказе до новоиспеченного своего знакомого, он почувствовал, что говорит не то, – и в самом деле тут же был остановлен. «Не надо нам тут расписывать, что вы думали, да что слышали, и что представляли себе, – налитыми кровью глазами, но при этом с грустью посмотрел на него полицмейстер. – Нам надо знать, что вы наблюдали! Цвет глаз?.. Возраст?.. Рост?.. Особые приметы?.. Я уж не спрашиваю, – мрачно махнул он рукой, – год, число и месяц рождения». Валушка признался, что сообщить эти данные он действительно затрудняется, оправдываясь тем, что как раз в те минуты стемнело, и, хотя обещал сию же минуту собраться с мыслями, мало ли, вдруг придет еще что-то в голову, как ни пытался представить себе внешность нового друга, вспомнил только, что он был в шляпе и сером драповом пальто. Тут, однако, ко всеобщему, особенно же – Валушкиному, облегчению больного сморил благодатный сон, град свидетельствующих о нарастающем недовольстве, все более заковыристых вопросов внезапно прервался, и поскольку соблюдать уровень ограниченной исключительно существом дела точности, которому он не мог соответствовать, понятным образом больше не требовалось, в оставшейся части своего доклада Валушка освещал факты уже на основании собственных беспокойных переживаний. Он описал появление Директора, включая сигару и элегантную шубу, и воспроизвел его сказанные на прощанье слова; рассказал о том, как Директор удалился и как восприняла это толпа; а затем наконец – уверенный, что именно в этом ракурсе рассматривает все дела высокая Комиссия – признался, что из-за событий на рыночной площади и вообще в городе он крайне обеспокоен положением господина Эстера. Для поправки здоровья и сохранения творческих сил этому

замечательному ученому нужен прежде всего покой, именно так – покой, повторил Валушка, а не та все нарастающая и совершенно ему непонятная лихорадка, с которой человек, в кои-то веки покинувший дом, неизбежно («...хотя, поверьте, я делал все, чтобы этого не случилось!..») сталкивается. Всем известно, сколь удручающее и пагубное воздействие может оказать даже малейший беспорядок на человека, наделенного такой чрезвычайной чувствительностью, повернувшись к женщине, продолжал Валушка, поэтому он, особенно посмотрев на всеобщее возбуждение, охватившее публику на рыночной площади, теперь только и думает что о господине Эстере. Он, естественно, понимает, что его значение в этом деле по сравнению с госпожой Эстер и высокой Комиссией, по сути, равно нулю, но все же просил бы рассчитывать на него и быть уверенными, что любое их поручение он непременно исполнит. Он хотел добавить еще, что господин Эстер для него важнее всего на свете и что у него просто от сердца отлегло, когда он узнал, что судьба города (а стало быть, и его учителя) будет теперь препоручена высокой Комиссии, однако ни то, ни другое добавить не удалось, потому что госпожа Эстер суровым жестом остановила его, сказав: «Вот именно, надо не болтать, а безотлагательно действовать, в этом вы совершенно правы». Они еще раз обстоятельно разъяснили, что ему надлежит делать в городе, и он, как школяр, повторил указания относительно наблюдения «за величиной толпы... настроениями... особенно же за уродом, если оный появится в поле зрения...», а затем – так и не сообщив ему никаких сведений насчет последнего – члены Комиссии наказали ему главным образом, наряду с обстоятельностью, проявить максимальную оперативность, и Валушка, заверив их, что обернется за считанные минуты, на цыпочках, дабы не разбудить как раз в этот момент застонавшего на кровати больного, покинул место заседания. Преисполненный чувства ответственности за полученное задание, а еще больше – облегчения, что в заботах о господине Эстере теперь можно опереться на целую «кризисную комиссию», он так же, на цыпочках, проследовал по двору и перешел на обычный шаг, только ступив на улицу и затворив за собой ветхую калитку. Он, конечно, не мог сказать, что визит к госпоже Эстер его успокоил, но теперь его страхам и неуверенности по крайней мере противостояла целебная сила ее решительности, и хотя до сих пор Валушка не получил ответа

ни на один вопрос, он чувствовал, что наконец-то рядом есть человек, которому можно всецело довериться. В отличие от прежнего положения, когда во всем разбираться и принимать все решения приходилось ему одному – человеку, от мира далекому, – теперь у него была только одна забота – соответствовать полученному заданию, в чем он не усматривал никаких проблем. Раз десять он повторил про себя, что он должен будет разведать, от неясности же вокруг «урода» он избавился (решив, что наверняка имелся в виду кит, которого, таким образом, ему следует еще раз внимательно осмотреть) уже через несколько метров, а затем, вспомнив спокойный взгляд госпожи Эстер, избавился также от постоянно тревожившей его неуверенности относительно того, «как быть»; и потому когда, покидая переулок, он чуть ли не сбил с ног Харрера и тот остерег его на бегу («Ну, теперь уже все образуется, но все же не стоило бы молодому человеку болтаться здесь!..»), Валушка лишь улыбнулся в ответ и растворился в толпе, хотя с удовольствием объяснил бы ему, мол, «нет, нет, господин Харрер, вы ошибаетесь, мое место именно здесь!..» На площади, вскидываясь кое-где метровыми языками пламени, горело теперь множество костров, вокруг каждого грелся десяток-другой людей, намерзшихся здесь с рассвета, и поскольку перемещаться и оценивать ситуацию теперь стало немного удобнее, Валушка быстро и беспрепятственно все осмотрел. Быстро и беспрепятственно, совершенно верно, вот только не все было просто с этим «основательным осмотром», ибо даже вопрос о размерах толпы (ну а что еще мог он оценивать, если все оставалось как было?) казался неразрешимым, да и пункт касательно «настроений», который как бы подразумевал наличие некой опасности, применительно к явно мирным людям, потирающим у импровизированных костров окоченевшие руки, вызывал большие сомнения. «Все на месте, настроение мирное», – уже прикидывал он про себя слова будущего доклада, но они звучали все более лживо, а его миссия казалась все более тягостной. Украдкой подглядывать за ними, как будто они враги, вынюхивать, думая, что они сплошь убийцы и злодеи, подозревать недоброе в самом безобидном их жесте – на это, как вскоре понял Валушка, он не способен. И если только что, в доме госпожи Эстер, отрезвляющая напористость женщины избавила его от заразного страха, то здесь, буквально минуты спустя, вид мирно греющихся у

огня людей и исходящее от этого зрелища чувство уюта окончательно освободили его от простительного, но все же постыдного недоразумения, от заблуждения, в которое впали и шеф-повар гостиницы, и господин Надабан с компанией, и госпожа Эстер, от повального желания видеть причину «внутреннего беспокойства» (а до определенного времени и основание для тревоги за господина Эстера) именно в этом цирке и его верной публике – в этом, несомненно, загадочном цирке и его загадочно преданной публике, вынужден был признать про себя Валушка, только эта загадочность – вдруг прояснилась перед ним вся картина – имеет, возможно, совсем простое и поразительно очевидное объяснение. Он тоже пристроился к одному из костров погреться, и та молчаливость, с которой его товарищи смотрели, понурив головы, на языки пламени, бросая время от времени быстрые взгляды в сторону циркового фургона, уже не могла обмануть его, ибо он все яснее осознавал, что тайна кроется не в чем ином, как в ките, в том, что он пережил и сам, когда утром впервые его увидал. Удивительно ли, оглянувшись он, улыбаясь, по сторонам – от облегчения готовый жарко обнять их всех, – что стоящие рядом люди, как и он, все еще остаются изумленными пленниками этого чудовищного создания? Удивительно ли, что в глубине души они, вероятно, думают, что, находясь рядом с таким исключительным существом, они имеют некоторые основания ожидать чего-то чрезвычайного? Своей радостью от того, что «у него упала с глаз пелена», он непременно хотел с кем-нибудь поделиться и потому, заговорщицки подмигнув окружающим, заявил, как поражает его «неисчерпаемое богатство творения»; поражает, сказал он, и такие посланцы, как этот, сегодняшней, напоминают о «цельности бытия», которая нам казалась утраченной, – а затем, не дождавшись, что скажут на это другие, махнул на прощанье рукой и, пробираясь между людей, отправился дальше. Больше всего ему хотелось броситься с этой вестью назад, но в соответствии с поручением он должен был еще взглянуть на кита («На урода!..» – вспомнил он улыбнувшись), поэтому, чтобы, когда он предстанет перед Комиссией, его отчет был действительно полным, он решил, если удастся, бросить нынешним – так зловеще начавшимся и все-таки счастливо обернувшимся – вечером еще один беглый взгляд «на этого посланца цельного бытия» и только затем уж покинуть своих товарищей. Фургон был открыт, и

мостики еще не втащили обратно, так что трудно было удержаться от искушения, вместо того чтобы «бегло взглянуть», ненадолго зайти к чудесному великану. Кит, когда он был с ним один на один и тело освещали лишь две слабо мерцавшие лампочки, на холоде, даже более лютом в этом высоком металлическом боксе, чем снаружи, показался Валушке еще огромней, еще страшней, но он уже не боялся его, больше того, испытывая некоторое почтительное смущение, он смотрел теперь на него так, будто из-за событий, произошедших со времени их первой встречи, между ними установились какие-то тайные, близкие и чуть ли не панибратские отношения, и, уже направляясь к выходу, он хотел даже в шутку погрозить ему (эх, мол, брат, «сколько бед ты творишь, хотя ведь давно уже не способен никому причинить никакого зла...»), когда вдруг до его слуха из глубины фургона долетели обрывки каких-то невнятных звуков. Ему показалось, будто он сразу узнал этот голос, и в этом, как вскоре выяснилось, не ошибся, потому что когда он дошел до двери, расположенной в глубине фургона – которая, как он предположил еще утром, скорее всего вела в жилой отсек цирка, – и, приложив к ней ухо, разобрал несколько фраз («...я нанял его для того, чтобы он демонстрировал себя, а не для того, чтобы болтать всевозможные глупости. Я этого не позволю. Переведите!..»), у него не осталось сомнений, что голос принадлежит Директору. А вот то, что он услышал в ответ – какое-то глухое и безразличное ворчание, которое сменили резкие, визгливые звуки, напоминающие птичий щебет, – поначалу было начисто лишено какого бы то ни было смысла; но вскоре он понял, что Директор разговаривает не сам с собой и не общается с запертым в клетку медведем и какими-то птицами, а слова свои *адресует* кому-то, и источниками этого ворчания и щебета являются люди, ибо первый, ворчащий, голос вдруг произнес на ломаном венгерском такие слова: «Он говорит: никто не может его никак препятствовать. И он не понимает слова господин Директор...» Дослушав до этого места, Валушка осознал себя незванным, но все меньше способным унять свое любопытство слушателем разговора или, точнее сказать, перепалки, однако что было предметом спора и кто был кто в этой казавшейся весьма напряженной дискуссии, то есть кого призывал к порядку господин Директор (например, произнесенными затем словами: «Скажите ему, что я больше не

намерен подвергать риску доброе имя труппы. Прошлый раз был последний!»), это Валушке по-прежнему было неясно, и хотя ему удалось разделить очередное ворчание и ответивший ему щебет, ибо ворчливый голос опять перешел на венгерский («Он говорит: он не признает над собой никакая власть. И что господин Директор не может серьезно такое думать»), то понять наконец, кому он принадлежит и сколько их вообще в этом загадочном помещении, ему удалось только после следующих слов. «Постарайтесь запечатлеть в его младенческих мозгах, – теряя терпение, произнес за стенкой Директор, и Валушка, ощутив аромат, почти увидел перед собой струйку дыма, змейкой поднимающегося над сигарой, – что я не выпущу его, а ежели так случится, что выпущу, то не позволю произнести ни слова. А вам не позволю переводить. Вы останетесь здесь. Я сам его вынесу. Иначе я его вышибу. Вышибу вас обоих». Из этого угрожающего и кажущегося решительным заявления Валушка вдруг понял не только то, что это ворчание и этот щебет – которые, как и раньше, вновь прозвучали именно в этом порядке – объединяет какой-то никогда прежде не слышанный, но выходит, что все-таки человеческий язык, и не только то, что помимо хозяина властного баса в спальном отсеке – по-видимому, тесном, однако, судя по изысканному виду Директора, комфортном – находятся еще двое, – теперь он был почти уверен и в том, что одним из этих двоих, ворчуном, может быть только обладатель боксерского носа, которого утром он видел в роли кассира. Это предположение позволяла сделать приставшая к нему кличка – Подручный, и как только он осознал, что подслушиваемая и наполняющаяся все более ужасающим смыслом словесная перепалка имеет характер внутренний, касающийся дел труппы – а в труппе их было, по имевшимся сведениям, двое, – то Валушка (которому что-то уже подсказывало: он оказался в том месте, где получит ответы на все вопросы, и все стремительней неся навстречу тому моменту, когда наконец прояснится смысл загадочного разговора) почти физически ощутил за дверью фигуру дородного продавца билетов, который невозмутимым голосом, словно бы контрапунктом к двум другим, яростно спорящим, попеременно переводил слова Директора и носителя странного, кажущегося нечленораздельным наречия. Однако понять, чей это был голос, кто был тот третий в не имевшем других входов снаружи жилком отсеке, Валушка пока не мог, поскольку ни

ответ (в ворчливом переводе великана звучавший так: «Он говорит: он настаивает, чтобы был я, потому что боится, что господин Директор его уронит»), ни резкая реакция обладателя, по-видимому, все еще дымившейся за дверью сигары («Скажите ему: мне не нравится его наглость!») так ничего и не прояснили. Не прояснили, а скорее еще больше запутали дело, ибо на вопрос, почему этого, до сих не показывавшегося (и даже, как можно было понять из спора, по какой-то причине скрываемого) члена китовой свиты требовалось *носить* (это как, на руках?) ... словом, на этот вопрос – а также на тот, почему он не может показываться, если уж его ангажировали на цирковой номер – дать сколько-нибудь удовлетворительный ответ было невозможно, и то, как он парировал («Он говорит: он на это смеется, потому что вам надо знать, на площади у него сторонники. Сторонники помнить, кто он такой. У него магнетический мощь. Его просто так не брать!»), та надменность, с которой он отвечал, все более очевидно показывала, что Директор, который казался таким всемогущим и властным, в действительности находился в весьма затруднительном положении, потому что пытался спорить с тем, кто мог ему диктовать. «Что за наглость! – завопил он, как бы открыто признаваясь в своей зависимости и бессилии, между тем как свидетель за дверью, и сам испуганно содрогнувшийся, решил, что если не от чего другого, то от этого устрашающе зычного рева дискуссия перейдет в более спокойное русло. – Вся его магнетическая сила, – громыхал насмешливый голос Директора, – состоит всего лишь в физическом недостатке! Он урод, повторяю, у-род, он таким уродился и никакими другими выдающимися талантами не располагает, о чем знает не хуже меня. А имя Герцог, – воскликнул он с глубочайшим презрением, – я дал ему в чисто коммерческих видах! Скажите ему, что это я его создал! И что из нас двоих только я имею отдаленное представление о том мире, от имени которого он бессовестным образом несет всякую чепуху, подбивая плебс к бунту!!!» Ответ последовал тут же: «Он говорит: там, на улице, у него сторонники, у них нет терпения. Он для них – Герцог!» – «Ну тогда, – возопил Директор, – пускай убирается к чертовой матери!!!» Стычка – несмотря на неясность с ее участниками и предметом – уже и до этого давала достаточно оснований для страха, но только теперь Валушка, буквально окаменев у металлической перегородки, пришел в

настоящий ужас. Ему казалось, будто эти пугающие слова – «урод», «бунт», «магнетическая сила», «плебс» – подталкивают его в сторону жуткой грани, за которой все то, что он тщетно пытался понять в течение последних часов и чему он в последние месяцы даже не придавал значения, вдруг, собравшись из его путаных переживаний и впечатлений в страшную целостную картину, представится в четких контурах и – положив конец его бессознательной уверенности (в том, к примеру, что между усыпанным битым стеклом гостиничным полом, дружеской пятерней, сжавшей недавно в своих тисках его руку, взбудораженным заседанием в переулке Гонведов и упорно чего-то ждущей на рыночной площади публикой нет и не может быть никакой связи) – под воздействием этих «пугающих слов», словно пейзаж в рассеивающемся тумане, начнет проясняться то, что все эти вещи подчинены какому-то общему смыслу, сулящему «большую беду». В чем она в точности заключалась, эта беда, на данном этапе противоборства он еще не знал, но совсем скоро узнает – вопреки сопротивлению; потому что Валушка – сопротивлялся, будто можно было предотвратить это, потому что он – защищался, будто была надежда каким-то образом подавить инстинкт, до сих пор помогавший ему не замечать явной связи, например, между прибывшей сюда вслед за цирком толпой и истерическими предчувствиями горожан. Эта надежда, однако, все больше развеивалась, поскольку гневная речь Директора как бы нанизывала на общую нить все его прежние впечатления – от слов шеф-повара до опасений компании Надабана, от запомнившегося возмущения окоченевшей публики до указаний относительно так называемого «урода» – и ставила их в леденящую душу взаимосвязь как будто лишь для того, чтобы он наконец-то признался себе: когда он полагал неоправданными и даже порой вышучивал дурные предчувствия горожан, со вчерашнего дня переходящие чуть ли не в панику, то прав был не он, а они. С тех пор как – став свидетелем нескрываемого возмущения, вызванного пресловутой прощальной речью Директора – он впервые об этом подумал, ему удавалось как-то отмахиваться, отгонять от себя мысль, что факты подтверждают мрачные предсказания местных жителей; удалось даже тогда, когда в переулке Гонведов ему пришлось признать, что, пока он шел туда, всеобщее беспокойство, возможно ввиду тревоги за Эстера, овладело и им; однако теперь – уже не в силах

прекратить подслушивать и отойти от двери – он вынужден был признать: облегчение, всегда следующее за страхом, на этот раз не наступит, пугающий смысл событий уже никуда не денется, и освободиться от предчувствия адских последствий происходящих событий уже не получится. «Он говорит, – продолжался поединок за перегородкой, – хорошо. От этот момент он переходит к самостоятельность. Он покидает господин Директор, кит ему тоже неинтересный. А меня забирать с собой!» – «Вас?!» – «Я пойти, – безразлично ответил Подручный, – раз он говорит. Деньги дать только он. Господин Директор бедный, господин Директор зарабатывать только от Герцог». – «Да какой он вам Герцог! Заладили! – рывкнул на толмача Директор, а потом, сделав паузу, продолжил: – Скажите ему: я не сторонник скандалов. Я его выпущу, но с одним небольшим условием. Что он даже рта не откроет. Даже не пикнет. Будет помалкивать в тряпочку». Примирительный тон, унылая покорность, которой сменилась его былая ярость, не оставляли сомнений: поединок закончен, Директор потерпел поражение, и Валушка уже догадался – в чем; уже по чирикающему голосу понял, что то, чему всеми силами противился растерявший свое могущество хозяин труппы, неизбежно случится, и от этого неожиданного, слепящего озарения он оцепенел, как бродячая кошка в убийственном свете фар: не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, он стоял в промерзшем фургоне будто парализованный, беспомощно глядя на дверь. «Он говорит, – продолжал переводчик, – что господин Директор не ставить условия. Господин Директор получит деньги. Герцог получит сторонники. Все имеет своя цена. Спор бесполезный». – «Если эти бандиты по его наущению будут громить города, то со временем ему некуда будет ехать. Переведите». – «Он говорит, – последовал вскоре ответ, – что сам он никогда не ездить. Его всегда везет господин Директор. И он говорит: он не понимает, что значит со временем. Уже сейчас есть только ничего. В отличие с господином Директором, он думает, разум есть во всем. Но по отдельности. Не сразу в целом, это только господин Директор так себе представляет». – «Ничего я не представляю, – после длительной паузы ответил Директор. – Зато знаю, что если он будет не успокаивать их, а еще сильнее будоражить, они разгромят этот город». – «То, что они теперь строить, и то, что будут строить потом, – перевел Подручный зазвучавшее неожиданно

резко чириканье, – что они делают и что еще будут делать, все ложь и обман. Что они думают и что будут думать, это все смешно. Они думают, потому что боятся. А кто боится, ничего не может. Он говорит, что хочет, чтобы все вещи были руины. В руинах есть все: строительство, ложь и обман, как во льду воздух, так. В постройке всякая вещь только наполовину, а в руине всякая вещь уже целиком. Господин Директор боится, вот и не понимает, а сторонники не боятся, поэтому понимают, что он говорит». – «Ну вот что, – повысил тут голос Директор, – я попрошу сообщить ему следующее! Что касается этих его пророчеств, то я глубоко убежден, что все это сущий бред, пусть рассказывает это толпе, а не мне. И скажите ему, что я больше не желаю его выслушивать, я умываю руки, я не желаю за вас отвечать, с этой минуты вы, господа, свободны. А что касается лично вас, – добавил он, со значением откашливаясь, – то я бы вам посоветовал сунуть вашего герцогёнка в его нору, выдать ему двойную порцию сливок, самому же открыть учебник венгерского и заняться в конце концов языком». – «Герцог кричит, – с неизменной флегматичностью и не обращая внимания на слова Директора заметил Подручный на фоне теперь уже непрерывного истерического верещания. – Он говорит: он свободный всегда сам собой. Он находится между вещами. Только он видеть за ними целое. Это целое есть руина. Для сторонников он Герцог, уметь видеть он самый великий. Только он видеть целое, потому что он видеть, что целое не бывает, так он сказал. И это есть то, что Герцог всегда... всегда вынужден... видеть глазами. Сторонники будут делать руины, потому что они понимают правильно, что он видеть. Сторонники понимают: во всех вещах есть обман, но они не знают причина. Герцог знает: потому что целого – нет. Господин Директор понимает неправильно, господин Директор имеет препятствия. Герцогу надоело, он сейчас выйдет». Яростный птичий щебет прервался, и вместе с ним прервалось ворчание; Директор тоже молчал, но если бы даже и говорил, то Валушка уже ничего не услышал бы, ибо он при последних словах попятился, как бы в буквальном смысле отступая под натиском этих ужасных речей, и отступал до тех пор, пока не наткнулся спиной на распряленную подпорками пасть кита. А затем все вокруг него вдруг пришло в движение, побежал из-под ног пол фургона, побежали мимо люди на площади, и этот бег чуть затормозился только тогда, когда Валушка

понял, что не может найти в толпе своего новоиспеченного друга, чтобы сказать ему: все, к чему вскоре их будут призывать, – ужасно, и что слушать того, кого они ждут здесь, больше не следует, даже если они это делали раньше. А найти он его не мог потому, что голова у него гудела, плечи ломило, он отчаянно мерз и вместо лиц различал лишь размытые силуэты фигур; под внезапно навалившимся на него неподъемным бременем сделанного открытия рухнуло сразу все, что он прежде думал о цирке, о сегодняшнем утре и обо всем этом дне. Он бежал между кострами, судорожно выкрикивая отрывистые слова («... обман...», «... злодейство...», «позор...»), которые, кроме него, вряд ли кто-нибудь мог понять, бежал, но, пускай он хотел именно этого, был не в силах помочь никому и меньше всего себе, ибо какой толк с того, что, расставшись с глубокой доверчивостью и святой наивностью, он, разом догнав и опередив их в понимании ситуации, знал не только о существовании Герцога, но уже и о том, что он замышляет. «Это беда, большая беда!» – стучало в мозгу, и он не мог решить, куда же теперь бежать. Сперва он вспомнил про господина Эстера и уже было ринулся в сторону проспекта, но, вдруг передумав, повернул назад, чтобы через несколько шагов снова остановиться, как бывает с людьми, осознавшими, что повиноваться нужно самому первому побуждению. А после остановки снова пустился бегом, вокруг него опять заметались огни костров, опять мимо мчались люди, и он, огибая их, почувствовал, что над площадью нависла странная необъятная тишина – он уже ничего не слышал, кроме собственного прерывистого дыхания, причем слышал его словно бы изнутри, так отчетливо, как слышит звук мельничных жерновов человек, склонившийся к ним совсем близко. Он не заметил, как очутился в переулке Гонведов, и в следующее мгновение уже барабанил в дверь госпожи Эстер, однако напрасно он, еще не войдя, повторял вслух то, что прежде только стучало в его мозгу («Беда, большая беда, госпожа Эстер! Вы слышите? Городу грозит беда!»), напрасно выкрикивал это и переступив порог: ни хозяйка, ни ее гости, казалось, не обращали на него внимания, как будто не понимая смысла его слов. «Значит, это... тот самый урод? Это он вас так напугал? – уверенным тоном спросила госпожа Эстер, и когда он, испуганно глядя, кивнул, сказала только: – Это не удивительно!» – после чего самодовольная улыбка на ее лице легко сменилась выражением озабоченности и значительности;

подведя отчаянно упирившегося Валушку к единственному свободному табурету, она силком усадила его и, чтобы успокоить, рассказала, что «их стойкому дружескому собранию тоже пришлось потревожиться, пока наконец не явился с добрыми вестями господин Харрер», и теперь он, Валушка, может спокойно вздохнуть, потому что («слава те господи!») совсем недавно получены серьезные заверения, что эта компания баламутов, вместе с китом и Герцогом, в течение часа покинет город. Однако Валушка решительно потряс головой и, вскочив, повторил все еще завывавшую в его голове, как сирена, фразу, после чего попытался, по возможности в самых «простых словах», рассказать о ненароком подслушанном им жарком споре, из которого ему стало ясно, что об отъезде Герцога не может идти и речи. Это уже не проблема, заставила женщина сесть непослушного Валушку и, дабы утихомирить его, левой рукой надавила ему на плечо, хотя она понимает, что уже само присутствие негодяя, которого называют «герцогом», перевернуло ему всю душу, потому что ведь «если не ошибаюсь, – тихо добавила она улыбаясь, – вы только теперь уяснили по-настоящему, в чем заключается корень проблемы». Да, она понимает, как не понять, уже громче, чтобы все слышали, сказала невозмутимая хозяйка дома, не давая бедному Валушке пошевелиться на табурете, ведь она и сама через это прошла и представляет состояние человека, узнавшего, что скрывает в себе этот так называемый цирк («...этот троянский конь, если вы понимаете, что я имею в виду...»). «Каких-нибудь полчаса назад, – гремел в тесной комнате раскатистый голос госпожи Эстер, – мы имели все основания думать, что ничто не может остановить этого обнаглевшего подчиненного господина Директора, этого „пригретого на груди змееныша“, как он сам, ни в чем не повинный руководитель труппы, охарактеризовал его господину Харреру, в осуществлении задуманных планов, однако теперь наконец-то мы имеем все основания думать прямо противоположное, а именно, что осознавший всю меру своей ответственности Директор труппы проявит решительность и вскоре избавит нас от этого дьявольского отродья. Благодаря господину Харреру, – продолжала она страстно, почти торжественно и, как можно было почувствовать, сообразуя свои слова не с душевным состоянием присутствующих, а как бы с сознанием собственной безапелляционной значимости, – мы уже знаем, что стоит за этим ничтожным сбродом, у

всех нас – надо прямо сказать – вызывающим чувство тревоги, и вообще за всей этой более чем экстравагантной труппой, так что теперь нам уже опасаться нечего, ибо осталось только дожидаться известия об отъезде цирка; поэтому я предлагаю не разводить больше панику, как это, впрочем, вполне простительно, – улыбнулась она Валушке, – делаете вы, а лучше всем вместе задуматься над тем, каковы наши задачи на будущее, ибо после того, что случилось сегодня, мы просто обязаны, – она посмотрела на понурившегося главу города, – сделать выводы. Я не думаю, что прямо сию минуту мы способны принять окончательные решения по всем вопросам, нет, – потрянула головой госпожа Эстер, – утверждать подобное было бы неправильно, но даже при благоприятном исходе событий мы все же должны будем констатировать, что нашим городом, на котором лежит проклятие („Проклятие бесхребетности!“ – на правах старого знакомца госпожи Эстер встрял Харрер), больше нельзя управлять по-старому!» Речь, которая, по всей видимости, началась еще до прибытия Валушки, витала теперь в таких невообразимых высотах, до которых не мог подняться никто, кроме сметающей все на своем пути ораторши, то есть точно дозированный хмель вдохновенных слов достиг уже такой концентрации, что госпожа Эстер, торжествуя оглядевшись, сочла, что на этом можно остановиться. В углу городской голова, уставясь перед собой осоловевшим взглядом, согласно и споро закивал головой, но весь его изможденный вид говорил о том, что в нем все еще борются желанное облегчение и снедающая душу тревога. Позиция полицмейстера вопросов не вызывала, хотя в данный момент он и не изложил ее, потому что, закинув голову и раззявив рот, все еще спал на кровати сном праведника и это мешало ему заявить, что он, со своей стороны, целиком поддерживает прозвучавшие тезисы. Таким образом, единственным полностью сохранившим дееспособность и речевые навыки человеком, который мог назвать себя безусловным и даже восторженным сторонником госпожи Эстер и ее «потрясающей речи» (а если бы глаза и сердце могли говорить, то они сказали бы еще больше), был господин Харрер, гонец и добрый вестник, чье лицо, изукрашенное различных размеров жировиками, выражало такое растроганное смущение, как будто ему так и не удалось освоиться в фокусе того исключительного внимания, на которое роль, сыгранная им в последних событиях, несомненно, давала ему полное право. Он

сидел, плотно сжав колени, под металлической вешалкой, в одной руке держал служившую пепельницей банку из-под сардин, а другой – словно бы опасаясь уронить на чисто выметенный пол пепел – непрерывно стряхивал его с сигареты; затягивался и стряхивал, снова затягивался и, если полагал, что может сделать это, не рискуя сбиться с ритма, снизу вверх бросал на госпожу Эстер порывистый взгляд, стремительно отворачивался и снова стряхивал. Но по лицу его было заметно, что, опасаясь внести путаницу в последовательность своих действий и уронить пепел на пол, он вместе с тем ждет этой неизбежной катастрофы и готов дорого заплатить за храбрость, которая непременно нужна преступнику для того, чтобы заглянуть в глаза судьбе, который выносит ему приговор: он действительно производил впечатление человека, изнемогающего под бременем тяжкого прегрешения, которое он желает обязательно искупить; казалось, есть нечто, что для него гораздо важнее происходящего на рыночной площади, и что бы ни заявила по поводу этого нечто госпожа Эстер, он был с ней «заранее согласен». И потому не удивительно, что он, на протяжении ее речи буквально упивавшийся каждым словом, теперь, в тишине, вызванной ее заключительной фразой, сидел с видом человека, измученного жаждой, и что именно он, совершенно понятным образом – когда городской голова своими вздорными замечаниями стал «гадить» на безупречное, по его представлениям, полотно, написанное госпожой Эстер, – усмотрев в этом даже не сомнение в достоверности собственного отчета, а грубое посягательство на авторитет хозяйки, вскочил с места и, забыв под давлением обстоятельств о разнице в их положении, в знак немого протеста отчаянно замахал дымящейся в его руке сигаретой. А все дело было в том, что городской голова, потирая виски и нервно оглаживая ладонью – от складчатого лба к затылку – свой лысый, как бильярдный шар, череп, сказал: «Ну а что будет, если сей уважаемый господин все же возьмет да и останется тут на нашу голову?! Харреру он может все что угодно сказать, это его ни к чему не обязывает. И откуда, позвольте спросить, нам знать, с кем мы имеем дело? А что, если мы поспешили? Меня крайне беспокоит, не слишком ли мы, с позволения сказать, скоропалительно трубим отбой?!» В ультиматуме, строгим тоном заговорила госпожа Эстер и, поскольку Валушка опять предпринял попытку встать, с достоинством матери, успокаивающей

непоседливого ребенка, опять слегка придавила его к табурету, в их недвусмысленном ультиматуме, который от имени здесь присутствующего несгибаемого руководства господин Харрер («...как можно надеяться...») – уточнила она) передал дословно, они довели до сведения господина Директора, что его просьбу относительно безопасности их гастролей, что бы ни обещал ему вчера уже прихворнувший к тому времени господин полицмейстер, «мы, к сожалению, удовлетворить не сможем». Уже сам факт, подчеркнула она, что в городе имеется всего сорок два – бравых, надо признать – полицейских, которых едва ли разумно бросать против возбужденной толпы, должен был заставить его задуматься, «и он, как мы знаем от господина Харрера, действительно крепко задумался», так что в его решении незамедлительно, как потребовала кризисная комиссия, покинуть город лично она, госпожа Эстер, нисколько не сомневается, как не сомневается она и в том, что свое решение – поскольку такое, как говорят, с ними случается не впервые и ему известно, чем это может кончиться – он неукоснительно выполнит. «Простите, но в отличие от вас я своими глазами видел этого господина, – с чувством оскорбленного достоинства, но главным образом из желания заступиться за госпожу Эстер, заговорил Харрер, – это человек с такой непреклонной волей, что стоит ему только шевельнуть сигарой в сторону остальных, как те уже прыгают, как сверчки!» Она чрезвычайно признательна, с ледяным лицом сказала хозяйка дома, за то, что господин Харрер столь страстно поддерживает ее точку зрения, но все же хотела бы попросить его, вновь сконцентрировавшись на предмете, подумать, не забыл ли он что-либо рассказать, отчитываясь о своей встрече с господином Директором. «Ну, вообще-то, – начал он тихо и, поскольку речь шла о доверительной информации, чуть подавшись вперед, – люди много чего болтают. Говорят, будто у него, у карлика-то, три глаза, а весит он всего десять кило». – «Тогда, – перебила его с досадой госпожа Эстер, – поставим вопрос по-другому: говорил ли вам что-нибудь господин Директор помимо того, что мы уже знаем?» – «Н-н... нет», – заробев опустил глаза вестник и стал отчаянно стряхивать пепел в жестянку. «В таком случае, – после недолгого размышления заявила женщина, – я предложила бы следующее. Вы, господин Харрер, сейчас отправитесь на площадь и тут же вернетесь к нам с вестью, как только увидите, что цирк

трогается в путь. Мы, – повернулась она к городскому начальнику, – разумеется, остаемся здесь, ну а к вам, Янош, у меня будет личная просьба...» Впервые за добрые четверть часа она отпустила плечо Валушки, но лишь для того, чтобы тут же удержать его за локоть, ибо он, окончательно напуганный Харрером, городским головой, полицмейстером, а теперь и госпожой Эстер, уже было рванулся к выходу. Если он чувствует, что уже отошел от шока, совсем близко склонилась к нему госпожа Эстер, то хотелось бы попросить его об одном важном деле, которым сама она, при всем величайшем своем желании, заняться не в состоянии, ибо не может покинуть свой пост. Прискорбное состояние господина полицмейстера, кивнула она в сторону благоухающей винными парами кровати, – которое только на первый взгляд может показаться «серьезной степенью алкогольного опьянения», а на самом деле является результатом непомерной ответственности, что навалилась на него в этот чрезвычайный день – не позволяет ему должным образом исполнять свои отцовские обязанности. Она хочет сказать, пояснила госпожа Эстер, что в эти минуты в доме господина полицмейстера рядом с двумя сиротинками нет никого, кто успокоит, накормит и спать уложит «этих наверняка перепуганных крошек, поскольку уже семь часов», и первым, о ком она, госпожа Эстер, подумала в связи с этим, разумеется, был Валушка. Это мелочь, конечно, то, о чем она просит, ласково проворковала она и шутливо добавила, мол, в больших делах мелочей не бывает, и она будет признательна, если он с пониманием отнесется к просьбе и – поскольку сам видит, сколько у нее тут забот – не откажет ей в помощи. И Валушка, хотя бы уже для того только, чтобы от нее избавиться, конечно же, согласился бы, и ответ едва не сорвался у него с языка, но он все же не прозвучал, ибо в этот момент задребезжали стекла от раздавшегося за окном оглушительного, напоминающего взрыв, ураганного рева. Поскольку никто не сомневался, откуда он доносится, и еще до того, как он стих, все находившиеся в тесной комнате поняли, что на рыночной площади случилось нечто, что и вызвало этот рев толпы, то все замерли в ожидании, не повторится ли он опять. «Уходят», – нарушил Харрер наступившую наконец тишину, не смея пошевелиться. «Остаются», – прерывающимся голосом сказал городской голова, а затем, признавшись, что тысячу раз пожалел, что осмелился выйти из дома, и

ума не приложит, как возвращаться, ведь теперь «даже огородами» не пройти, внезапным прыжком подскочил к кровати и, дергая спящего за ногу, отчаянно завопил: «Вставайте! Вставайте!» Полицмейстер, которого нельзя было обвинить в том, что он своим буйством мешал напряженной работе кризисного синклита, не утратив, несмотря на нещадное дерганье, стоического спокойствия, медленно приподнялся на локте, оглядел присутствующих сквозь щелочки воспаленных глаз, а затем – не совсем четко выговаривая слова – сказал, мол, плевать, пока область не даст подкрепления, он и шага не сделает, и опять упал на подушку, чтобы тут же продолжить сон – единственное в его положении лекарство – на том месте, на котором он был по непонятным ему причинам прерван. Молчание хранила только госпожа Эстер. Устремив строгий взгляд в потолок, она замерла в ожидании. И медленно, заглядывая в каждую пару глаз по отдельности и пряча в уголках губ взволнованную улыбку, проговорила: «Час пробил, господа. Мне кажется, мы на верном пути к прорыву!» Харрер снова восторженно поддержал ее, городской голова, как будто по-прежнему в чем-то сомневавшийся, теребил свой галстук и тряс головой, и только Валушка не выказал потрясения от прозвучавшего громкого заявления, потому что его рука уже лежала на ручке двери, и когда хозяйка дома дала ему знак отправляться, он, оглянувшись, подавленно произнес («...А как же... господин Эстер?..») и на пару с последовавшим за ним Харрером покинул дом с горьким, затравленным видом человека, в душе которого рухнул мир; каждое его движение выдавало, что он, конечно, уходит, потому что не может здесь оставаться, но в отчаянии даже не представляет себе, куда же ему податься. И в душе его действительно рухнул мир, он глубоко обманулся в своих надеждах на госпожу Эстер и кризисную комиссию, ведь они совершили трагическую ошибку («Это уже не проблема...» – все еще эхом звучала в его мозгу первая фраза госпожи Эстер), видимо, от волнения перепутав время получения двух известий и *его информацию приняв за более раннюю по сравнению с информацией Харрера*, и вообще, от него отмахнулись, толком даже не выслушав, хуже того, хозяйка дома, видя его смятение, вместо того чтобы поинтересоваться его причинами, просто заставила его замолчать, так он и потерял последний шанс опереться на помощь других и поэтому вскоре – уже в тот момент, когда госпожа Эстер приступила к

критическому разбору вполне, впрочем, справедливых опасений городского начальника, – он вынужден был неожиданно осознать: повлиять каким бы то ни было образом на ход мысли непреклонной хозяйки дома невозможно, и со своим предчувствием катастрофического поворота событий на рыночной площади он оказался в полном одиночестве. А поскольку он понял, что судьба обитателя дома на проспекте Венкхейма здесь уже никого не интересует, то и с этой своей заботой Валушка остался один на один, – и казалось, будто по этой причине над комнатой, точно так же как прежде над площадью, вдруг повисла необъятная тишина; правда, Валушка видел, что люди вокруг него еще говорили, но уже никого не слышал, да и не желал их слышать, потому что единственным его желанием было сбросить с плеча лежащую на нем руку, бежать прочь из этого дома, куда он пришел напрасно, и утопить в скорости проносящихся мимо него домов свой бессильный страх и отчаяние оттого, что, с одной стороны, он не может смириться с неотвратимостью плана, прозвучавшего в спальном отсеке циркового фургона, а с другой стороны, не знает, что можно ему противопоставить. В самом деле, ему не оставалось ничего другого, как «утопить в скорости проносящихся мимо него домов» эту свою беспомощность; напоследок он еще оглянулся назад и вяло сказал: «Вы туда не ходите, господин Харрер!..» (на что тот, как глухой, лишь воскликнул восторженно: «Какая женщина! Какая женщина!» – и устремился в сторону площади Кошута), а затем поправил на плече ремень почтальонской сумки и, повернувшись спиной к рыночной площади и удаляющемуся квартирохозяину, тоже двинулся по узкому тротуару. Он шагал все быстрее, и вокруг все быстрее бежали дома и ограды, но он их не замечал, а скорее лишь чувствовал лихорадочный этот бег, потому что и правда почти ничего, даже тротуарной плитки у себя под ногами, не видел; накренив стволы, бежали мимо него деревья, загадочно взмахивая сухими ветвями на убийственно жгучем морозе, отскакивали в сторону телеграфные столбы, все несло, все мчалось, но только напрасно, ибо не было видно конца ни домам, ни тротуарной плитке, ни телеграфным столбам, ни деревьям (с их загадочно покачивающимися сухими ветвями), больше того, чем сильнее стремился он обогнать их, тем яснее чувствовал, что на самом деле – как будто они играли с ним в прятки, вновь и вновь выныривая

перед носом – он так и не обогнал ни единого дома, ни дерева, ни столба. Однажды мелькнула Больница, потом – Ледовый павильон, позднее – фонтан на площади Эркеля, но в бешеном сумбуре внутренних видений он даже при желании не смог бы решить, действительно ли находится рядом с ними или ему до сих пор так и не удалось вырваться из окрестностей дома госпожи Эстер, однако затем – как будто случайным образом все же осуществилось его желание оказаться как можно дальше от Герцога и его владений на площади Кошута и как можно ближе к «своим» – он обнаружил, что находится на углу проспекта Венкхейма и улицы Сорок восьмого года, и вскоре, немного придя в себя в этом ледящем лабиринте бегства, он, стоя у парадного госпожи Пфлаум, уже нажимал кнопку домофона. «Да это я, мама... – крикнул он, когда после неоднократных звонков – догадался по треску из домофона, что наверху сняли трубку, но ничего не произносили. – Это я, мама, я просто хотел ска...» – «Ты как оказался на улице в такой час?! – вдруг обрушился на Валушку голос из домофона, да так оглушительно, что лишил его дара речи. – Я спрашиваю, что ты делаешь до сих пор на улице?!» – «Тут большая беда, мама... – наклонившись ближе к решетке микрофона, начал он объяснять, – я хотел...» – «Большая беда?! – опять взвизгнул голос. – И ты этого даже не скрываешь?! И при этом болтаешься ночью по улицам?! Скажи мне, сию же минуту скажи, что ты опять вытворяешь?! Ты в гроб меня хочешь загнать?! Тебе мало того, что ты со мной сделал?!» – «Но мама... мама, послушай меня... ну послушай секунду... – лопотал в домофон Валушка. – Ну я правда... я не хочу ничего плохого, я просто... просто хотел сказать тебе, чтобы... чтобы... чтобы ты хорошенько закрылась и... и... и никого не впускала... потому что...» – «Ты пьян!!! – донесся из домофона разъяренный голос. – Опять выпил, хотя обещал мне, что в рот больше не возьмешь! И все же напился! Уже и угол свой есть, да разве тебя домашний уют удержит? Опять пьянствуешь да по городу шляешься! Ну так вот, дорогой сынок, – клокотал домофон, – я тебе так скажу! Сию же минуту ступай домой, и чтобы ноги твоей здесь больше не было! Ты меня понял?!» – «Да, мама...» – «Слушай внимательно, что я тебе говорю! Если я только узнаю, ты слышишь, если узнаю, что ты опять шляешься, что во что-нибудь вляпался, то спущусь и найду тебя, и за волосы тебя оттащу... засажу тебя... знаешь куда?! Чтобы ты меня

снова позорил – этому не бывать!!!» – «Нет, нет, что ты, мама!» – «Что ты заладил, мама да мама! Убирайся сию же минуту!!!» – «Да, мама... До свидания... Я ушел...» – сказал в домофон Валушка, хотя, не в силах смириться с тем, что так и не удалось донести до матери всю тяжесть истинного положения, еще долго раздумывал, не повернуть ли ему назад, не попытаться ли еще раз объяснить, но в конце концов понял: если то, что он пережил и чему оказался свидетелем, что уже случилось и что еще только грядет, он не смог объяснить даже госпоже Эстер, как можно надеяться, что можно объяснить это матери? Что бы он ни рассказывал ей про Герцога и Подручного, она точно ему не поверит, а если не поверит, если снова станет кричать на него, то обвинять ее в несправедливости или чрезмерной суровости будет неправильно, думал Валушка, ведь не услышь он все это своими ушами, не убедись в этом лично, то он был бы первым, кто усомнился бы в реальности подобных вещей. Тем не менее, думал Валушка, блуждая по пустынным улицам, Герцог действительно существует, и уже из-за этого ни о чем невозможно трезво судить, ведь дело не в том, что он вводит людей в заблуждение своей ложью о том, что он чей-то посланник, и не в яростном желании Герцога творить зло, а в том, что он изменяет реальность вокруг себя тем, что просто существует, вынуждая людей судить о мире не сообразно его природе, заставляя их верить, будто есть на земле и другие законы, помимо тех, которые признают подобных лжецов отпетыми шарлатанами. Вместе с тем само его существование, мчался Валушка дальше, включает в себя эту ложь и ярость, это притворство и желание все крушить, которые он в гордыне своей даже не пытался скрывать от Директора; включает в себя, но отнюдь ими не исчерпывается, они, вероятно, лишь следствия очевидной необыкновенности его существа – необыкновенности страшной, но непонятной ни в мере своей, ни в природе, ибо судить о ней он мог только по отдельным, случайно услышанным замечаниям. Он шагал по городу, и снова и снова ему вспоминались слова Герцога; и хотя он несколько не сомневался в абсолютной правоте Директора, утверждавшего, что то, чем занимается Герцог, есть злостное надувательство, он все же был убежден, что этот, самый загадочный, член цирковой труппы не просто плут, который, пользуясь доверчивостью приверженцев, наслаждается своей властью над ними. Нет, в отличие от господина Директора Валушка ощущал некую

устрашающую глубину в его странных высказываниях, крайне чуждый и крайне жестокий смысл которых делался еще более леденящим оттого, что в устах переводчика, коверкавшего венгерский, он как бы раскалывался на куски; он ощущал глубину и неотвратимость или скорее... какую-то беспредельную и бездонную наглость, которой невозможно было противопоставить предельность и ограниченность мысли. Невозможно по той причине, что Герцог, казалось, был порождением мира теней, где уже не действовали правила вещного мира, то есть он был воплощением недоступности и неправдоподобности и поэтому обладал мощной аурой, что и объясняло его высочайший авторитет среди «приверженцев» и то положение, которое никогда бы не смог занять обычный уродец, каких демонстрируют в цирке. А стало быть, немислима и напрасна – вдруг замедлили бег дома, деревья, телеграфные столбы и тротуарная плитка – надежда понять эту неправдоподобность, однако смириться с тем – вдруг увидел он перед собой напряженные взгляды людей на рыночной площади, – что по чудовищному приказу будет разгромлен город, а значит (ведь он по наивности сам их навел!), ворвутся и к господину Эстеру, человеку, который ни сном ни духом ни о чем не ведает и полностью беззащитен, словом, смириться с этим и беспомощно наблюдать за происходящим – тут все вокруг него окончательно замерло – было, чувствовал он, никоим образом невозможно. Ему показалось, будто он снова слышит визгливый щебет, и его опять обуял страх, он стоял в этом страхе и знал, что он должен, обязан предупредить людей, чтобы закрылись как следует и не высывались на улицу. Он оповестит всех, подумал Валушка, всех от господина Эстера до своих друзей из «Пефедера», от служащих станционной экспедиции до ночного портье, предупредит всех-всех, в том числе и сынишек полицмейстера, неожиданно вспомнил он, а когда, оглянувшись по сторонам, обнаружил, что находится от них в какой-нибудь сотне метров, то решил бить тревогу начиная с детей, тем более что он обещал о них позаботиться, а потом уж отправиться к своему учителю и ко всем остальным. Доходный дом, в котором жил полицмейстер, искусно скрывал, что во втором его этаже квартирует столь важная личность: штукатурка на стенах уцелела только местами, часть водосточной трубы наверху обрушилась, а на двери подъезда, словно предрешая вопрос, а надо ли этой двери открываться и

закрывается, отсутствовала ручка. Приблизиться к дому можно было, только пробравшись между терриконами мусора, а дорожку, ведущую к зданию от тротуара, перегораживала железная балка, и если так обстояли дела снаружи, то, конечно, не лучше была ситуация и внутри: едва Валушка вошел в подъезд, он попал на такой сквозняк, что с его головы – словно сама природа предупреждала, кто здесь хозяин – тут же слетела форменная фуражка. Он двинулся вверх по бетонной лестнице, однако сквозняк не только не прекратился, но сделался еще более капризным, временами на мгновение затихая, чтобы затем с новой силой наброситься на свою жертву, так что он вынужден был держать головной убор в руке и дышать по возможности только носом; добравшись до второго этажа, он нажал на звонок и с таким видом, будто спасается от настоящего урагана, стал дожидаться, пока его впустят. Но дверь ему не открыли, а вскоре за нею затихла и паническая беготня, слышавшаяся, как только задребезжал звонок, так что он позвонил еще раз, а потом еще и еще; он решил уже было, что в квартире стряслось что-то непредвиденное, когда послышался звук поворачиваемого ключа, а затем опять топот ног и далее – тишина... В квартире, на стенах которой, украшенных цветочным накатом, понизу расплывались пятна какой-то влаги, было тепло, точнее сказать, даже жарко, и когда он, лавируя между расшвырянными по полу пальто, обувью и газетами, прошел по тесной прихожей, заглянул в кухню и наконец в поисках объяснения столь необычного приема достиг гостиной, его продрогшее тело так зазнобило, что у него зуб на зуб не попадал. Сбросив с плеча ремень сумки, он расстегнул шинель и, чтобы как-то унять озноб, принялся растирать окоченевшие члены. Внезапно ему почудилось, будто кто-то стоит у него за спиной. Он испуганно обернулся – и действительно: в дверях гостиной, молча и неподвижно, глядя на него снизу вверх, стояли двое мальчишек. «Эй, – воскликнул Валушка, – вы меня напугали!» – «Мы думали, это папа...» – сказали они, продолжая тарачиться на него. «А вы всегда прячетесь, когда он приходит?» Мальчишки не отвечали, серьезно и пристально разглядывая Валушку. Одному на вид было лет шесть, другому – лет восемь, младший был светленький, старший – темноволосый, но оба унаследовали от полицмейстера его пуговичные глаза, одежду же, по всей видимости, они унаследовали от соседских детей – она, в особенности штанишки,

но также и рубашонки, была вся такая застиранная, что не представлялось возможным даже определить ее цвет. «Ну вот что, – смущенно заговорил Валушка, почувствовав, что они не просто смотрят, но меряют его недоверчивыми взглядами, – сегодня ваш папа вернется поздно, и он попросил меня, чтобы... чтобы я уложил вас спать... Мне надо идти, я спешу, ну а вы, это очень важно, – он опять содрогнулся всем телом, – закройте за мной как следует, и кто бы ни позвонил, никого не впускайте... Короче... – добавил он наконец, еще больше смутившись, потому что мальчишки даже не шелохнулись, – идите-ка лучше спать». Он стал теребить на себе шинель и откашливаться, потом, не зная, что сделать, чтобы они не смотрели на него так, мучительно улыбнулся, после чего младший, немного оттаяв, осмелился подойти поближе и поинтересовался: «А что у тебя в сумке?» Этот вопрос так изумил Валушку, что он открыл сумку и заглянул в нее, а потом, сев на корточки, показал ребенку: «Это... просто газеты. Я их разношу по домам!» – «Почтальон!» – оставаясь в дверях, с высокомерным пренебрежением просветил братишку старший. «Да нет, он не почтальон, – ополчился на брата младший, – он дурачок, нам отец говорил. – Затем снова повернулся к гостю и окинул его подозрительным взглядом. – А ты... настоящий дурак?» – «Да нет! – потряс головой Валушка и встал. – Какой я дурак, ну взгляни на меня!» – «А жаль, – надул губы младший. – Я вот хочу дурачком стать, чтобы сказать королю, что дерьмовая у него империя». – «Ерунда!» – скроил у него за спиной насмешливую рожу брат, и Валушка, чтобы как-то завоевать и его симпатию, спросил: «Почему? А ты кем хочешь стать?» – «Я-то? Я... правильным полицейским, – сказал он с гордостью и вместе с тем недовольно, как человек, не желающий говорить с посторонними о своих планах. – Я посажу в тюрьму, – заявил он, скрестив на груди ручки и привалившись плечом к косяку, – всех пьяниц и дураков». – «Пьяниц я бы тоже посадил!» – бойко поддержал его младший и с криками «Пьянству бой!» заскакал по комнате. Валушка чувствовал, что должен сказать еще что-нибудь, чем можно окончательно завоевать их доверие, чтобы уговорить затем лечь в постель, но так и не смог ничего придумать; он застегнул свою сумку, попытался опять улыбнуться им, потом подошел к окну, выглянул на темную улицу и от мысли, что ему давно уже следовало отправиться к господину Эстеру,

неожиданно потерял терпение. «К сожалению, – приподнял он дрожащей от возбуждения рукой фуражку и пригладил волосы, – я должен идти...» – «А у меня настоящая форма есть! – перебил его старший из братьев и, видя, что Валушка уже повернулся, чтобы направиться к двери, добавил: – Если дядя не верит, могу показать!» – «Я тоже! Я тоже!» – прыгая, закричал младший и, изображая автомобиль, с урчанием развернулся и бросился вслед за братом. Спасения не было: не успел он сделать и нескольких шагов к прихожей, как у него за спиной распахнулась и тут же захлопнулась дверь и оба мальчишка уже стояли перед ним, ухмыляясь и вытянувшись по стойке смирно. На обоих была полицейская униформа, на младшем китель подметал пол, а старшему уже доходил только до колена, и хотя они выглядели очень забавно, ибо в униформу, как говорится, могли бы поместиться и трое таких, и ту и другую скроили так ловко, так точно выдержали пропорции, что мальчуганам оставалось только вращаться в нее. «Ну и ну... это надо же...» – одобрительно отозвался Валушка и направился было к выходу, но был остановлен: младший вынул из-за спины какой-то футляр и, взглянув снизу вверх на Валушку, отрывисто бросил: «Гляди!» Пришлось ему подивиться на сей предмет – заостренный наподобие карандаша стержень, которым, как ему объяснили, «мы будем выкалывать глаза врагам», и еще ему объяснили, что «если врагу нужно будет перерезать глотку», то лучше всего это делать опасной бритвой, а также он должен был согласиться с тем, что противника «можно устранить», незаметно подсыпав ему в напиток толченого стекла, они уже накопили в склянке с притертой пробкой как минимум на двоих врагов. «Ерунда!.. Это все для детсадовцев!.. – презрительно отозвался старший, стоя в дверях на кухню. – Но если дяденька хочет увидеть что-то поинтереснее, то пожалуйста!» И вытащил из кармана кителя всамделишный револьвер. Он положил его на ладонь и медленно обхватил пальцами рукоятку; Валушка невольно отступил назад, не в силах вздохнуть от испуга. «Ты это... ты где это взял?!» – «Не имеет значения», – пожал плечами мальчишка и попытался крутнуть револьвер вокруг пальца, но от чрезмерно резкого движения тот шлепнулся на пол. «Дай мне, я прошу...» – испуганно потянулся за ним Валушка, но мальчишка оказался проворней и, подхватив револьвер, направил на него ствол. «Это очень опасно... – заслонясь

рукой, стал объяснять Валушка, – это не игрушка... – Поскольку револьвер замер в воздухе, а оба мальчика уставились на него точно так же, как смотрели с порога гостиной, когда он пришел, то Валушка невольно стал пятиться, пока не дошел до выхода. – Ну хорошо... – нащупал он ручку двери, – ...вы меня напугали... Достаточно... – открыл он дверь, – ...положи на место, а то папа... будет сердиться... Ложитесь быстро в постель, – выскользнул он за дверь, – не упрямитесь... – И, осторожно прикрыв ее, от ужаса уже скорее самому себе пробормотал: – Закройтесь как следует и никого не впускайте...» Он услышал, как за дверью раздался хохот, как повернулся в замочной скважине ключ, и, сжимая в руке фуражку, под ураганный вой сквозняка двинулся вниз по лестнице. Перед глазами его стояли две пары застывших зрачков, он не мог вырваться из-под прицела этих пронзительных цепких взглядов, и если в диких джунглях квартиры Валушку бил озноб от жары, то теперь, когда он ступил на улицу, его затрясло от холода. Он дрожал и от пробирающего до костей мороза, и от мысли, что вещи, казалось бы, исключают друг друга – эти двое детишек и свирепая кровожадность, – могут все-таки совмещаться. Он перекинул сумку на другое плечо, застегнул шинель и, поскольку чувствовал, что не знает, как быть с этой кровожадностью, решил просто забыть и о наставленном на него револьвере, и о наглом хохоте за дверью, а думать только о том, чтобы как можно скорее добраться до дома на проспекте Венкхейма. Он пытался забыть о них, но двое мальчишек в огромных полицейских мундирах так и стояли перед его глазами, и терзавшим его угрызениям совести – ведь он их оставил там, возможно, с заряженным пистолетом, – а также сомнениям, не повернуть ли ему назад, пришел конец, причем решительный и бесповоротный, лишь когда он, свернув с улицы Арпада на проспект, вдруг заметил, что где-то недалеко, над самым центром города, прямо над домами небо словно бы полыхает. От охватившего его ужаса – «никак уже начались поджоги» – он забыл о только что мучивших его сомнениях, обхватил руками сумку, чтобы не шлепала по бедру, и, вынуждая посторониться бродячих кошек, побежал к дому Эстера. А когда добежал, то понял остатками трезвого разума, что, ворвавшись сейчас к учителю, смертельно его напугает и, раскинув руки, загородил вход, да так и остался стоять у ворот с отчаянной решимостью защищать на этом посту ничего не подозревающего

обитателя от любого, кто осмелится приблизиться к дому. О том, каким образом защищать, он, конечно же, не имел ни малейшего представления, да и страх его перед нападением невозможно было объяснить иначе, как тем, что он потерял голову от мысли всего лишь о возможных (ведь он в них не убедился) поджогах. В одном месте небо действительно оставалось красным, и Валушка, приготовившись к обороне, ходил взад-вперед у ворот, четыре шага туда, четыре обратно, не больше, потому что на пятом он бы точно почувствовал, что оставленная без присмотра противоположная сторона подворотни теряется в густом мраке. А все остальное разыгралось стремительно и вместилось в одно краткое мгновение. Он внезапно услышал шаги; казалось, устало утюжа землю, к нему приближались сотни башмаков и сапог. И вот уже его медленно обступила группа мужчин. Он глядел на их руки, на короткие пальцы и хотел было что-то сказать. Но в это время из-за их спин послышался хриплый голос (мол, постойте), и Валушке даже не нужно было смотреть на лицо, он узнал его по серому драповому пальто, догадался, что человек, перед которым расступилось кольцо окруживших его людей, не кто иной, как его новый друг, с которым он познакомился днем на площади. «Не надо бояться. Идем», – тихо проговорил он, наклонившись к уху Валушки, и обнял его за плечи. Тот, не в силах выдать из себя ни слова, отправился с ними. Мужчина тоже молчал; подавшись вперед, он оттолкнул свободной рукой какого-то человека, который, ухмыляясь в темноте, пристроился было к Валушке с другой стороны. Он слышал за спиной шум сотен ног, устало волочившихся по земле, видел перед собой бродячих кошек, шарахавшихся в сторону при виде безмолвно поднятого куска арматуры, но при этом он ничего не чувствовал, кроме этой руки на своем плече, которая увлекала его за собой в потоке сапог и бараньих шапок. «Не надо бояться», – снова сказал мужчина, на что Валушка кивнул и взглянул на небо. Но когда он поднял глаза, ему показалось, что небо куда-то пропало. Он испуганно посмотрел опять, увидел, что на месте неба действительно нет ничего, и, опустив голову, двинулся дальше среди этих сапог и бараньих шапок; он словно бы вдруг осознал, что тщетно пытается найти то, что ищет, оно пропало, его поглотила земля, поглотил этот марш, поглотил заговор деталей.

«Заговор деталей. Определенно, заговор», – без особых эмоций и словно бы отстраняясь от собственной неумелости, констатировал

Эстер в этот судьбоносный для него вечер, когда, приближаясь к концу многотрудных хлопот по превращению своего дома в крепость, наверное, уже в двадцатый раз шарахнул себе молотком по пальцу. Спрятав в кулак ушибленный палец, он окинул глазами хаотическое нагромождение всевозможных досок и планок на окнах, и поскольку как-то исправить этот плачевный шедевр недотепства было уже невозможно, Эстер, во избежание хотя бы дополнительных злосчастий подобного рода, решил, раз уж, к стыду своему, он не удосужился это сделать за столько десятилетий, разобраться хотя бы сейчас в том, как следует правильным образом забивать гвозди. После возвращения, отдохнув минуту-другую, он притащил со двора и свалил между стеллажами в прихожей кучу древесных обрезков, и теперь, выбрав, на его взгляд, подходящую доску, он – продолжая попутно усиленно думать о том, не нуждается ли в некоторых поправках та, напрочь опровергающая все его прежние размышления и «где-то даже революционная» мысль о полной никчемности разума, которая три часа назад осенила его в подворотне – подошел к последнему не до конца заколоченному окну и приложил к нему деревяшку пониже других, вкривь и вкось набитых планок и горбылей; однако когда он, решительно закусив губу, вновь, в надежде на точное попадание, сделал замах молотком, то тут же и опустил его, осознав, что для того, чтобы сила и направление удара оказались в конце концов безошибочными, одного желания недостаточно. «Следует контролировать дугу, которую описывает инструмент, двигаясь к шляпке гвоздя», – решил он после недолгого размышления и, вернувшись опять к своей «революционной» идее, травмированной левой рукой что было мочи прижал доску к раме, а правой отважно хватил по гвоздю молотком. На этот раз обошлось без большой катастрофы, напротив, гвоздь даже немного вошел в древесину, однако от мысли, казалось бы, столь разумной, что впредь ему следует концентрировать и без того рассеянное внимание на этой самой дуге, ему пришлось отказаться. Дело в том, что молоток он держал в руке все более неуверенно и исход каждой новой попытки становился все менее предсказуемым, так что уже после третьего удара он вынужден был признать: то, что он трижды подряд умудрился не промахнуться, было отнюдь не итогом духовных усилий, а исключительно результатом счастливой случайности или, как он называл это про себя,

«высшей милости, объявившей о временной передышке в процессе систематического изувечения моих пальцев», ибо общая неудача его попыток подсказывала: когда он сосредотачивается только на этой желаемой траектории инструмента, то непременно с этой желаемой траектории сбивается, потому что контролировать движение молотка, добавлял он – с изысканностью, может быть, излишней с точки зрения проделываемой им и в данный момент еще явно недооцененной операции, однако более чем уместной в плане сделанного судьбоносного заключения, – означает примерно то же, что «представить в воображении то, чего еще нет на свете, зафиксировать нечто, что еще только будет», и таким образом опять блистательно впасть в заблуждение, от которого он «после добрых шестидесяти лет идиотских плутаний» наконец-то отрекся на последних метрах пути, ведущего к дому... Какое-то чувство подсказывало ему, что следует уделить этому вопросу максимум сил, если он хочет добиться хорошего результата, как можно больше сил, повторял себе Эстер, и, еще не догадываясь, что отдаление от предмета поможет к нему приблизиться, перешел от дилеммы, пусть незначительной, но захватившей все его существо – а именно: как это может быть, чтобы полный отказ от разума совмещался с практической сметкой, – к вещам более осязаемым. Мысль о том, что следует концентрироваться на дуге, пусть и не слишком глубокую, он решил все же не отбрасывать целиком, ибо причина неудачи, подумал он, заключается «не в содержательном, а, несомненно, в методологическом» заблуждении, и потому, переводя взгляд с покачивающегося в его руке молотка на шляпку гвоздя и обратно, сначала задался вопросом, а есть ли на этой искомой дуге такая точка, сконцентрировавшись на которой можно сделать процесс действительно управляемым, а затем – обнаружив сразу две подобные точки – стал думать о том, на какой же из них лучше остановиться. «Гвоздь в доске неподвижен, в то время как положение молотка изменчиво...» – размышлял он, и из этого размышления сам собой напрашивался вывод, что внимание должно быть направлено на ударную часть инструмента, однако когда, в соответствии с этим рациональным суждением, он попытался в очередной раз ударить, следя глазами за движением бойка, то с кислой миной вынужден был констатировать, что, хотя он держит молоток в руке уже более твердо, попасть таким способом по гвоздю ему удастся

разве что в каждом десятом случае. «Тут, наверно, имеет значение, – поправился он, – куда я хочу ударить... что хочу им забить... – ухватился он за идею, – ...вот что самое главное!» – и с видом человека, осознавшего, что он наконец-то на верном пути, буквально впившись глазами в мишень, снова поднял молоток. Удар оказался точным, больше того, ударить точнее, удовлетворенно заметил он, было бы просто невозможно, и чтобы не оставалось сомнений в том, что он твердо овладел этим главным движением, как-то сами собой образовались и вспомогательные приемы; так, он понял, что до этого держал в руке молоток неправильно и гораздо сподручней держать его за конец рукоятки, затем он понял, с какой силой следует наносить удар и насколько широким должен быть замах, а кроме того, в этот вдохновенный момент до него дошло, что прибиваемую доску можно легко придерживать большим пальцем руки и наваливаться на нее всем телом вовсе не обязательно... Словом, движения и приемы естественным образом упорядочились, последние две доски встали на свое место в мгновение ока, и когда он позднее обошел дом, дабы обозреть работу, и даже внес в нее некоторые существенные поправки, то, вернувшись в тускло освещенную прихожую, с сожалением осознал, что как раз теперь, когда он уже мог бы насладиться свежей радостью найденного решения, вся работа, связанная с заколачиванием окон, иссякла. А ведь он с удовольствием постучал бы еще молотком, переполненный «свежим открытием», которое после долгих часов беспомощного плутания в лабиринте с этими дугами, шляпками и бойками, пусть в последнюю минуту, но все же вывело его на свет божий. А еще под конец обхода он с радостью обнаружил, что метод, который ему помогал и одновременно мешал разгадать секрет этой простой операции, внес к тому же совершенно необыкновенные и ошеломляющие поправки в его «революционную» мысль о никчемности разума, с которой после шокирующей прогулки – «окрыленный и словно бы вновь родившийся» – он переступил порог дома. Открытие было внезапным, все верно, однако, как все в этом мире, оно имело свои причины; ведь поначалу, еще до обхода, он ощущал только очевидную смехотворность воодушевления, с которым – дабы оградить свою левую руку от дальнейшего лупцевания – он ринулся, мобилизовав всю неповоротливую армаду разума, решать пустяковую эту задачку, но вскоре он осознал, что острая, как бритва,

сила его ума тут не очень нужна, во всяком случае, за смехотворностью этих секретов владения инструментом (а может, благодаря ей) обнаружилась одна, ничуть не меньшая, загадка, а именно: что же все-таки привело его столь счастливым образом к пониманию безупречной техники заколачивания гвоздей? Прокрутив в голове все этапы своих исследовательских дерзаний, он не нашел ничего, что рассеяло бы – в его состоянии неудивительные – сомнения в том, что результат был получен благодаря его личному умственному вмешательству: ведь когда Эстер отъединил весь свой интеллектуальный арсенал, якобы руководивший отчаянными поисками решения, от «череды практических коррекций», то перед ним остался не молоток, не гвоздь и не эксперимент по его забиванию, а некий не поддающийся никакому воздействию, но в то же время навеки привязанный к постоянно меняющимся потребностям механизм, который, ничуть не препятствуя его духовным усилиям, попросту игнорировал их. На первый взгляд, резюмировал он, при решении этой задачки, довольно смешной на фоне серьезных вопросов, триумф был одержан благодаря логическому мышлению и гибкому применению комбинаторных способностей, и ничто не указывало на то, что поначалу ошибочные, а затем все более верные варианты возникали не благодаря его «бесподобной логике», а в результате все новых и новых попыток; ничто (двинулся с места Эстер, дабы обследовать дом, не нужно ли где-то еще укрепить неплотно прибитые доски), на первый взгляд ничто не указывало на это, ведь трансмиссия, привязывающая нас к реальности, этот наш хорошо смазанный управляющий орган (он вошел в кухню), расположенный между деятельным разумом и послушной ему рукой, скрыт точно таким же образом, «как между миражом и взирающим на него глазом, если такое вообще возможно, скрыто ясное понимание того, что такое мираж». Поначалу могло показаться, что в ходе эксперимента смещение внимания с дуги на боек молотка и с последнего – на шляпку гвоздя определялся свободно обдумываемым выбором между возможностями, однако на самом деле, окинул он взглядом два маленьких оконца в комнате для прислуги, что была рядом с кухней, именно ход эксперимента с его машинальными переходами между наличными вариантами и строго очерченными возможностями определял тут все остальное, или – грубо упрощая – сам этот процесс

проб и ошибок определял «свободно обдумываемый выбор», в котором не было ни свободы, ни выбора, а если что-то и было – помимо назойливых попыток вмешаться в хронологический порядок событий, – то чистая регистрация, наблюдение этих проб и ошибок, результатом чего («Если позволить себе категоричность формулировок...» – категорично сформулировал про себя Эстер) станет мгновенная гуманизация всего процесса, культивирование веры в то, будто путь к любому, даже самому захудалому открытию, как, например, в случае с правильным способом забивать гвозди, находится под контролем нашего «светлого» разума и нашей «феноменальной» изобретательности. Ан нет, минуя комнату Валушки, продолжал он свой путь в сторону гостиной, нет, не мы – это нас держит под контролем сила, которая, правда, не ставит под сомнение наше мнимое превосходство, во всяком случае, пока наш тщеславный разум должным образом соответствует скромному назначению – наблюдать и регистрировать, потому как, нажал он на ручку двери, ведущей в гостиную, потому как все остальное, улыбнулся он, лежит за пределами его компетенции; и как человек, после длительной слепоты заглянувший вдруг в царство реальных связей, он зажмурился и застыл на пороге гостиной, пораженный представившимся зрелищем. Он увидел перед собой мириады вещей, беспокойных и вечно стремящихся к изменениям, ведущих между собой не прерывающийся диалог, мириады событий и связей; мириады – но находящиеся внутри одной общей связи, мириады воинствующих отношений между тем, что сопротивляется (потому что живет), и тем, что его подавляет (потому что оно в своем праве). И в этом насыщенном и живом пространстве он видел и самого себя, минуту назад стоявшего перед последним окном в прихожей, и только теперь понял он, какой силе он подчинился и что представляет собою то... с чем он в эту минуту слился. Ибо он теперь понял, что всем этим движет, осознал, что сила эта – энергия бытия, что энергия эта рождает потребность, а из той, в свою очередь, возникает участие, наступательное участие в системе заданных связей, в которой мы посредством predetermined рефлексов пытаемся разобраться и выделить благоприятствующие нам отношения, и счастливый исход зависит уже от того, что эти желанные отношения действительно существуют, ну и конечно, мелькнуло в его голове, от нашего терпения, от случайных зигзагов борьбы, ведь

успешность подобного отношения к жизни, незаметного, обезличенного существования в мире, согласно кивнул он, это, как видим, еще и вопрос удачи. Он вглядывался в открывшийся ему бескрайний, четкий и чистый ландшафт, поражающий прежде всего своей реальностью – поражающий, ибо невероятно тяжело было смотреть на то, как настоящий мир, достигший предела невыносимого разброда, подходит – во всяком случае, для нас – к своему концу; подходит к концу, хотя у него вовсе нет ни конца, ни края, ни центра, и мы просто болтаемся в нем наряду с мириадами прочих вещей, прокладывая в этом пульсирующем пространстве свой путь с помощью рефлексов... Но все это длилось не дольше мгновения, и краткое сияющее видение развеялось, едва успев возникнуть; развеялось, может быть, под влиянием искры, вылетевшей из печи, чтобы предупредить, что огонь внутри угасает, вспыхнуло и развеялось как незаслуженное, мигом погасло, сверкнув, дабы осветить ярким светом то, что в своих размышлениях по пути домой после принятого им в подворотне судьбоносного решения он признал «заблуждением, которое может стоить жизни». Шагнув к печке, он поворошил в ней угли, взбодрил огонь и, подбросив в него три полена, двинулся к окну, но на сей раз он подошел к нему совершенно напрасно, потому что, сколько ни всматривался, вместо досок и шляпок гвоздей вновь и вновь видел только себя. Видел себя стоящим перед кафе «Пенаты», видел тополь, вывороченный из земли, груды мусора под ногами, потому что в этот момент, в драматический предвечерний час описываемого чрезвычайного дня он, чуть ли не силой вытолкнутый из дома, потерпел фиаско, был вынужден сдаться, капитулировать, признать: весь его арсенал, вся армия доводов «трезвого разума», все его объективные наблюдения бессильны против того, с чем он теперь столкнулся. Именно здесь потерпел он первое поражение, осознав, что *не понимает* масштабов разрухи и не знает, как можно ее сдержать, но, что главное, он до сих пор не видел («Будто слепец!..»), что истинным поражением и верхом духовной беспомощности было как раз его поведение. Десятилетиями предсказывавший «крушение аномальных форм», он почему-то был поражен им и – в полном согласии с собой прежним, – вместо того чтобы констатировать всеобщий крах, спрятался за таким суждением: все наблюдаемое на улицах его отныне ни в малейшей степени не

интересует, и если события, перевернувшие город, произошли с таким явным пренебрежением к его «опирающемуся на разум и вкус» существу, то плевать он на них хотел. Он подумал тогда, причем, в общем-то, справедливо, что «неуловимые приготовления» направлены лично против него, стремясь уничтожить и растоптать в нем все то, что всегда восставало против гнусных и пагубных сил; стремясь разmozжить его разум, свободную, ясную мысль, лишив его последнего убежища, где можно было еще оставаться свободным и ясным. Последнего убежища (принок он тогда к Валушке), а затем, в тревоге о нем, принял решение: разобрать все мосты, и без того хлипкие и ведущие в уже не особенно нужном ему направлении, еще больше ужесточить меры уединения и вместе с другом покинуть сей оторвавшийся от своих законов мир с его смертоносным сумбуром. Он будет жить на другом берегу, решил Эстер, направляясь к зданию Водоканала, но, обдумывая вопрос, каким образом превратить свой дом на проспекте Венкхейма в неприступную крепость, он всеми силами стремился не растерять тщеславной уверенности в себе; не растерять, а если точнее, вернуть себе то, что поставило под сомнение призрачное видение свалки, безлюдных улиц, вывороченного из земли тополя и всего, всего прочего, и каким-то образом несмотря ни на что сохранить надежду остаться самим собой. Но одно он вернул себе только благодаря тому, что потерял другое, ведь цена той тщеславной уверенности в том-то и состояла, чтобы не продолжать с того, на чем он остановился, да это было и невозможно, потому что на обратном пути, после всего пережитого у Джентльменского клуба, он ощутил небывалое чувство: планы по обустройству их будущей совместной жизни подарили ему «элементарную радость покоя». Словно освобождаясь мало-помалу от непосильного бремени, он чувствовал себя все более легким и, попрощавшись с Валушкой на углу переулка Семи вождей, уже ощутил, как эта легкость теперь направляет его стопы, и нисколько не сожалел о том, что прежний Эстер, каким он был до этого, стал куда-то проваливаться. Но для того, чтобы он исчез безвозвратно и уже никогда не вернулся, требовался еще последний шаг, окончательный вывод, и он его сделал, чтобы дальше осталось лишь тихо причалить к другому берегу; он принял решение: «пережить горькое поражение победителем». Затаиться внутри, потому что снаружи все рушится, отказаться от неумного желания вмешиваться,

потому что высокий смысл действия разбивается об отсутствие всякого смысла, самоустраниться, потому что единственный разумный ответ – это протест, неприятие, невмешательство, размышлял Эстер на трескучем морозе по пути домой, но порвать с этим абсурдным миром и вместе с тем продолжать наблюдать за ним, как он это делал прежде, – все это было, конечно, трусостью, не ошибкой, а раболепием, бегством и нежеланием признать: даже если он бунтовал против этого мира, «оторвавшегося от своих законов», то все же ни на мгновение не покидал его. Он бунтовал, возмущался тем, почему мир устроен так неразумно, но при этом жужжал и вился вокруг него, будто муха; однако теперь с этим жужжанием он хотел покончить, ибо, кажется, уже понял, что когда он дотошно исследовал и оспаривал порядок вещей, то пытался не мир приковать к своему тающему рассудку, а приковывал к миру себя. Он заблуждался, констатировал Эстер уже в нескольких шагах от дома, полагая, что суть ситуации заключается в постоянном ее ухудшении, заблуждался, потому что с таким же успехом мог бы сказать, что в ней, в ситуации этой, всегда было и что-то хорошее, но в ней ничего подобного не было и быть не могло, в чем убедила его прогулка, и не было вовсе не потому, что все доброе и разумное куда-то пропало, а потому, что в этом «предельно сейчас обнажившемся мире» разум отсутствовал изначально. Мир создан не для того или этого, замедлил Эстер шаги у ворот, он не распался, не деградирует, в известном смысле он всегда совершенен и для этого совершенства отнюдь не нуждается в каком-то организующем разуме, ибо в нем нет порядка, а есть лишь хаос, так что без устали палить по нему из тяжелых орудий разума, яростно спорить с ним о том, чего не было и не будет, и всматриваться, всматриваться в него до изнеможения, до полной потери себя не только утомительно, – вставил он в замочную скважину ключ, – но и совершенно излишне. «Я отказываюсь от мышления, – оглянулся он напоследок назад, – я отвергаю все ясные и свободные мысли как смертельную глупость, отказываюсь впредь пользоваться разумом, ограничиваясь с этой минуты только радостью по поводу этого шага», – только радостью, повторил он, нажал на ручку, вошел и запер калитку с другой стороны. Словно невероятный груз упал с его плеч, уже на пороге он испытал какое-то небывалое облегчение, как будто прежний господин Эстер остался снаружи, и ощутил неожиданный

прилив сил и привычную самоуверенность, которая постепенно покинула его в необычном процессе заколачивая окон и лишь позднее – уже здесь, в гостиной – вновь вернулась к нему, но теперь это было уже не надменное превосходство судьи над «жутким ландшафтом мира», а уверенность, понимающая, почему он таков, и смиренная, то есть действительно – окончательная. Если что-то и можно было назвать революционным, как он это делал, пока не пришел – через обретение чрезвычайно ценных навыков заколачивая гвоздей – от менее значительной коррекции к более кардинальной, бесповоротной, словом, если что-то и можно было теперь назвать революционным в решении, принятом после отдыха в подворотне, то разве только надменную ограниченность, не позволившую понять, что между вещами нет качественных различий, самонадеянность, которая обрекала его – ибо жить с чувством исключительности все же нечеловечески трудно – на едва ли не безысходную горечь. Между тем как для горечи, машинально погладил он одну из досок, нет решительно никаких оснований, а если и есть, то причин для горечи ровно столько же, сколько, к примеру сказать, для восторга, то есть – несколько, ведь из того, что наивному разуму человека не дано «разобраться в реальных связях», еще вовсе не следует, что тотальное беспокойство, наблюдаемое в этих связях, начисто лишено разумности; равно как из того, что человеческое создание – всего лишь слуга этого неизбывного беспокойства, вовсе не вытекает ни горечи, ни восторга. Если видение феерического ледяного царства, молниеносно вспыхнув, тут же исчезло, то волны его улеглись в душе Эстера далеко не сразу, и он все стоял, объятый живой картиной, не чувствуя ни горечи, ни восторга; то, что он чувствовал, было покорностью и согласием с тем, что видение это немислимо превосходит его, было трепетом и смирением перед той, исключительной, впрочем, милостью, что ему может быть доступно лишь то, что его касается. И он понял в эту минуту, что решение, торжественно принятое им в подворотне, было по-детски наивной глупостью; мысль об «ужасной нехватке» ясности, последовательности и упорядоченности в мире – плодом «как минимум шестидесятилетнего» заблуждения; а все эти шестьдесят лет – жизнью с бельмом на глазах, по каковой причине он был не способен понять то, что видит теперь совершенно ясно: что разум, – задумчиво

поглядел он на две прожилки, вьющиеся на доске, – это не зияющая лакуна мира, напротив, разум настолько в него вовлечен, что является его тенью. Тенью, ибо в этом нескончаемом растревоженном диалоге разум вместе с руководящими нашим существом рефлексам движется – ведь он постоянно должен переводить их нам – вслед за малейшими нюансами касающихся нас событий, однако он ничего не сообщит нам о том, в чем же смысл этого диалога, ибо мир, который он тенью сопровождает, тоже не раскрывает о себе ничего, кроме того, что он существует и действует. Только это – тень в зеркале, уточнил Эстер, в котором изображение полностью слито с самим зеркалом, но мы все же стремимся к тому, чтобы разделить то, что, в сущности, было изначально единым, разделить, разорвать на две части, что неразрывно, чтобы, утратив невесомую радость от нахождения внутри стремительного бытия, попытаться вместо легчайшей, словно пушинка, мелодии бессмертного соучастия, – отошел он от окна гостиной, – овладеть *знанием* о бессмертии. Таким образом, – опустив голову, медленно двинулся он к дверям, – приглашение оборачивается изгнанием, а ошибившийся относительно своей роли разум – мышлением, которое осознало «себя» как нечто отличное от того, что действительно, несмотря ни на что, существует, мышлением, которое в ходе странствий по собственному лабиринту оставило уйму нелепых свидетельств как приглашения, так и изгнания. И таким образом, размышлял, неспешно ступая, Эстер, вместо сокровенного диалога мы получили «мир» и вместо неуловимого содержания этого диалога – горький вопрос: «А для чего это все?»; мы попытались дисциплинировать неуемность, на бесконечность набросить сеть и описать языком мираж; так раздвоилось то, что было единым: отдельно вещь и отдельно – смысл вещи. Смысл, который, подобно руке, распутывает и затем удерживает разбегающиеся, как ему представляется, нити этой загадочной круговерти; смысл, который, подобно цементу, хотел бы скреплять все здание, да только, – дойдя до уже раскалившейся печки, улыбнулся Эстер, – даже если эта рука, как вот он сейчас, эти нити отпустит, то драматический диалог не прервется и здание не развалится. Не развалится, как не распался на части он сам, хотя вроде бы отпустил уже все, за что прежде держался; и – наверное, потому, что он понял: мышление ведет к буйным иллюзиям либо к необъяснимой депрессии, – ко времени, когда из

гостиной он вернулся в прихожую, Эстер больше не «мыслил» в банальном и удручающем смысле слова; нет, он вовсе не «отказался» от мысли и не «отверг» ее, а попросту принял к сведению, что больше не чувствует самоедской страсти к так называемым размышлениям, и таким образом, подобно тому как в давний прекрасный день, благодаря старику Фрахбергеру, ему удалось отказаться от музыкальных иллюзий, он – на сей раз, похоже, и правда «революционным» образом – освободился от угнетавшей его депрессии. Вот и все, ему больше не нужно вечно быть начеку, заботясь о сохранении воображаемого достоинства; идиотской необходимости о чем-то вечно судить пришел конец, ибо теперь, полагал Эстер, ему уже все понятно относительно собственной роли; да, все кончено, сказал он себе, и, казалось, до слуха его донесся оглушительный грохот, с которым в этот необычайный вечер обрушилась вся его жизнь; и если до этого каждая ее минута была сумасшедшим бегом – куда-то, за чем-то или прочь от чего-то, – то теперь, констатировал он, завершая обход у той самой, последней, доски, ему в этой гонке вместо очередного рывка наконец удалось где-то счастливо приземлиться и после долгих приготовлений куда-то прибыть. Опустив молоток, он стоял в тусклом свете лампы и, действительно наслаждаясь «свежей радостью найденного решения», смотрел на один из тех самых гвоздей, точнее – на крохотную веселую капельку света, оброненную на доску то ли вливающимся через открытую дверь гостиной световым потоком, то ли слабыми лучами висевшего над головой светильника; он смотрел на нее, как на точку, поставленную в конце предложения, потому что здесь и теперь завершился не только обход квартиры, но и прощальное размышление ее хозяина, в ходе которого, напоследок еще раз мобилизовав «неповоротливую армаду разума», он сложным окольным путем вернулся к исходной точке: к ощущению небывалой легкости, испытанной им на пути домой. Ибо в радостном блеске этого гвоздика от всего, что произошло – от приоткрывшегося на мгновение царства реальных связей, от только что пережитой им одиссеи постижения и уразумения, от нелепых усилий, в результате которых он опроверг ошибочный метод своего решающего открытия с помощью этого самого ни к чему не пригодного метода, – от всего этого в свете сверкающей шляпки гвоздя если что и осталось, то лишь загадочное и непостижимое ощущение, которое изумило его, когда он, под

впечатлением от состояния города, в то время еще казавшегося ему нетерпимым, возвращался домой: ощущение радости оттого, что он просто живет, оттого, что он... дышит, и оттого, что рядом с ним здесь вскоре будет дышать Валушка; он радовался теплу, которым минуту назад повеяло на него в гостиной, радовался дому, который отныне действительно станет родным очагом; очагом, оглянувшись Эстер по сторонам, где будет иметь значение каждая, даже самая незначительная деталь, и, положив на пол молоток, выпростался из халата, в котором госпожа Харрер обычно занималась уборкой, повесил его на кухне и вернулся в гостиную, чтобы передохнуть перед тем, как заняться растопкой печи в комнате, предназначенной для Валушки. Ощущение было загадочным не из-за сложности, а как раз в силу его простоты, и по этой причине все находившееся вокруг совершенно естественным образом возвращало себе изначальный смысл: окно снова стало окном, предназначенным для того, чтобы смотреть наружу, печка – печкой, дающей тепло, и гостиная уже больше не была убежищем от «всепоглощающего распада», точно так же как внешний мир перестал быть ареной «нечеловеческих испытаний». Внешний мир, где все еще пропадал Валушка, похоже, не слишком серьезно отнесшийся к своему обещанию поспешить назад, представлялся улегшемуся на кровати Эстеру уже не в том виде, в каком он виделся ему днем; в его сознании как бы развеялись миазмы «химического болота», и внутренний голос подсказывал, что призрачный мусор тоже был, скорее всего, порождением нездорового зрения, которому ничего ведь не стоит найти объект для мрачных своих ожиданий, хотя можно на этот мусор – как и на страхи, обуявшие пошатнувшихся в рассудке граждан – смотреть как на вещи, которые можно в конце концов одолеть. Но все это очистительное озарение продлилось не дольше мгновения, потому что внимание его опять целиком приковали к себе гостиная, мебель, ковер, зеркало, люстра, какие-то трещинки на потолке и огонь, уже совсем весело полыхавший в печи. И сколько бы ни искал, он не мог найти объяснения, почему ему кажется, будто он здесь впервые, и как так случилось, что место, куда он «ретировался от человеческой глупости», неожиданно стало надежным прибежищем мира, спокойствия и благодатного комфорта. Перебирая причины, он пытался объяснить это старостью, одиночеством, может быть, страхом

смерти или жаждой какого-то окончательного покоя, думал, не охватила ли его тихая паника при виде того, как сбываются его предсказания, ему даже подумалось: а что, если он сошел с ума; или этот внезапный поворот в его жизни объяснялся трусостью, отступлением перед опасностями, которые таили в себе дальнейшие размышления, а может, и тем, и другим, и третьим одновременно, но как он ни поворачивал дело, ни одна из причин не казалась ему убедительной, больше того, ему даже казалось, что более трезвого, взвешенного взгляда на окружающее, чем его взгляд, просто не может быть. Он поправил на себе темно-бордовую домашнюю курку, заложил сцепленные руки под голову и, вслушиваясь в едва различимый шорох наручных часов, неожиданно осознал, что почти всю жизнь только тем и занимался, что сдавал позиции: от грубости жизни ретировался в музыку, от музыки бежал к самобичеванию, затем — просто к размышлениям, чтобы потом сдать и эти позиции, и так отступал, отступал, словно ведомый каким-то лукавым ангелом, который в конце концов привел его к цели прямо противоположной его устремлениям — к почти идиотской радости по поводу обыкновенных вещей, к тому, что он понял, что понимать-то и нечего, что осознал, что «смысл мироздания», ежели таковой существует, все равно превосходит предел его понимания, и поэтому совершенно достаточно замечать и держать в уме то, что все же у человека имеется. Он действительно отступил к «почти идиотской радости по поводу самых обыкновенных вещей», потому что теперь, на минуту прикрыв глаза, ощутил мягкие очертания домашнего очага, надежность крыши над головой, сквозную безопасность комнат и вечный полумрак заставленной книжными стеллажами прихожей, которая, огибая внутренний двор, как бы передавала дому покой пока что пустынного и не наполненного внешним цветением сада; он слышал глубоко отпечатавшиеся в его памяти звуки шагов, которые издавали расшитые пуговицами тапочки госпожи Харрер и башмаки Валушки; чувствовал вкус воздуха и запах пыли в квартире, видел рельеф полов и легкий, будто дыхание, дымчатый ореол вокруг лампочек в люстрах, ощущая при этом ту благодатную сладость вкусов и ароматов, цветов и звуков надежного маленького мирка, которую от просветленного воспоминания отличало лишь то, что это сладкое ощущение не нужно было вновь и вновь оживлять, потому что оно не проходило со временем, оставалось при

нем и – в чем Эстер не сомневался – останется навсегда. С этим он и уснул и с этим же несколько часов спустя проснулся, чувствуя под щекой тепло подушки. Глаза он открыл не сразу, и, поскольку ему казалось, что намерение вздремнуть пару минут именно этим и обернулось, он, ощутив от тепла подушки покой, что чувствовал перед сном, продолжил благодарный учет своего богатства с того, на чем он остановился. Ему казалось, что у него есть время вновь погрузиться в мирную тишину, окутывающую его, как окутывал его тело плед, в нерушимый порядок стабильности, где все – мебель, ковер, люстру, зеркало – он застанет на прежнем месте и где времени хватит также на мелочи, на то, чтобы разглядеть все подробности этого неисчерпаемого добра с его недавно обнаруженной ценностью, а также увидеть – в воображении, прямо сейчас – расширяющуюся в сторону наблюдателя перспективу прихожей, куда вскорости ступит тот, кого все это ожидает, куда явится тот, кто придаст всему этому смысл: Валушка. Ибо все в этой «благодатной сладости» говорило о нем; о чем бы Эстер сейчас ни подумал, и причиной, и целью был его друг Валушка, и если до сих пор он только чувствовал это, но не был уверен, то теперь у него не осталось и тени сомнений, что решительным поворотом в своей судьбе он был обязан не какой-то неуловимой случайности, но именно этому человеку, в котором годами он видел только необъяснимое, но целебное средство против своей, день ото дня все более изощренной, горечи и чью хрупкость, берущую за душу, чьи подлинные черты и всю суть его – доброту, – в струящемся полусне уже само собой разумеющуюся, он открыл для себя лишь сегодня, на пути от кафе «Пенаты» до дома. На пути от кафе до дома, но впервые по-настоящему – в переулке Семи вождей, вскоре после кафе, после того как он увидал вывороченный из земли тополь и, оставшись один на один с этой ошеломившей его картиной, вдруг ощутил: нет, он не один; то была беглая, почти неосознанная догадка, но настолько внезапная и настолько глубокая, что он вынужден был тут же спрятать, отодвинуть ее от себя подальше, завернуть в обертку обеспокоенности о своем друге, в спасительное решение об убежище, принятое в ответ на невыносимое зрелище, которое явил ему город, чтобы затем, сам не подозревая, какой силе он подчиняется, как бы в качестве веского подтверждения этой все еще смутной догадки, с головой окунуться в планирование их будущего житья-бытья. И в дальнейшем это смутное,

клубящееся в душе чувство уже не покидало его, сопровождая на каждом оставшемся метре прогулки, на протяжении всех событий этого дня и вечера: это им объяснялась его растроганность, когда он прощался с Валужкой, и об этом же говорила «небывалая легкость его шагов» на пути домой; это чувство было и в том решении, которое Эстер принял еще в подворотне, и в каждом его движении, пока он баррикадировался в доме, а затем тщательно исправлял недоделки; весь дом, каждый его уголок наполнился снова богатым смыслом, и теперь, когда он освободился от пелены полудремы, уже ничто не скрывало, что в фокусе этого, судьбоносного для него, дня стоял Валужка. Ему казалось, что уже с самого начала, когда его осенила эта догадка, это было не ощущение только, но и зрелище, он был убежден, что сразу же разгадал смысл стоп-кадра, внезапно явившегося его глазам, – ибо действительно, поворот, случившийся в его жизни, питала единственная картина, только тогда она была еще не совсем ясна, он мог и не обратить на нее внимания, ведь когда в нем вспыхнула «беглая, почти неосознанная догадка», картина чем-то напоминала ему морское течение, неуправляемое, несущееся куда-то безмолвно и незаметно. В тот знаменательный миг после кафе «Пенаты», когда уже позади остался вывороченный из земли тополь, то есть после кафе, но еще не дойдя до скорняжного ателье, он, Эстер, не в силах больше сдерживать свое возмущение и скрываемое отчаяние, остановился сам и, поскольку держался за локоть друга, заставил остановиться Валужку. Он спросил, указывая на мусор, что-то вроде того, видит ли его друг то же самое, что и он, и, обернувшись, заметил, что на лицо его спутника вернулся привычный «сияющий» взгляд, которого, стало быть, за секунду до этого на нем не было. Что-то подсказывало ему, что в предшествующее мгновение с ним произошло нечто не соответствующее этому взгляду; он посмотрел на него, но, не заметив ничего такого, что подтвердило бы это чувство, как ни в чем не бывало – уже подчиняясь своей неосознанной догадке – двинулся дальше; как ни в чем не бывало – ну да, но все уже понимая, думал он теперь, когда, постепенно очнувшись от полудремы, наконец-то нашел в этой трогательно простой позе Валужки, застывшего наподобие немой скульптуры, то движение, которое могло объяснить все детали случившегося в этот день и вечер. Он теперь видел то, что тогда только чувствовал: своего благодетеля и

защитника с опущенными плечами и поникшей головой, стоящего в переулке Семи вождей рядом с ним, его притомившимся старым другом Эстером, который указывает ему на мусор; опущенные плечи и поникшая голова, однако, отнюдь не являлись признаками какой-то внезапной печали, нет, пронзила Эстера мысль, он просто *отдыхал*: отдыхал, потому что и сам устал, вынужденный чуть ли не на себе тащить еле волочащего ноги спутника, он отдыхал украдкой, как бы немного смущаясь и считая невозможным обременять своего товарища признанием собственной слабости, и когда тот взглянул на него опять, он выглядел уже прежним. Он смотрел на его опущенные плечи, на форменную шинель, топорщившуюся на сутулой спине, смотрел на поникшую голову в надвинутой на глаза фуражке, из-под которой на лоб падали несколько прядей волос, на почтальонскую сумку через плечо... смотрел на стоптанные башмаки... и чувствовал: он уже знает все, что только возможно знать об этой щемящей картине, и понимает все, что возможно в ней понимать. А потом он опять увидел перед собой Валушку, но в очень давний момент – шесть, семь или восемь лет назад, точно он не помнил, – когда как-то утром госпожа Харрер явилась к нему с предложением («Я вот что скажу: не мешало бы вам завести человека, который бы доставлял в дом обеды!»), и в тот же день, вежливо держась за спину женщины, он появился в гостиной; смущаясь, пояснил, по какому явился делу, при этом от предложенной платы отказался, мол, лучше без этого обойтись, и больше того, сказал, что он с удовольствием, «на добровольных началах», кроме доставки обедов, если Эстер ему поручит, и в магазин ходит, и на почту, если надо отправить что, да и двор иногда привести в порядок, наверное, тоже не помешает, – и, как будто это хозяин дома оказывал ему любезность, слегка смутившись и словно бы признавая, что кому-то подобные предложения могут показаться странными, в сопровождении виноватого жеста улыбнулся. И поскольку в порядке нуждался не только двор, но и вся жизнь Эстера, причем не иногда, а, можно сказать, постоянно, в доме поселилась сама собой разумеющаяся доброжелательность, какая-то жертвенная, незаметная, непоколебимая и не знающая покоя забота, с которой Валушка (точно так же, как уже шесть, семь или восемь лет? – семь, решил он – на свой лад опекала разрушающийся дом госпожа Харрер) оберегал его беспомощного хозяина – от самого себя. И, насколько это было возможно, Валушка

спасал его своим постоянным присутствием, и даже когда его не было здесь, когда он сюда только направлялся, он все равно защищал Эстера от самых тяжелых последствий деятельности его мозга, направленного против самого себя, или по крайней мере смягчал, ослаблял их, тем самым не допуская, чтобы на человека, маниакально хулившего «мир», роковым образом не обрушились однажды его собственные убийственные рефлексии; ведь он, Эстер, был очень похож на свой город и на свою страну, которые вполне заслужили свою судьбу и которые во все времена разрушали себя какими-то эпохальными идеями, с идиотским высокомерием перекраивая под них человеческие порядки; аналогичным образом, из-за своих навязчивых идей был бы обречен и он – если бы Валушка, сей «виртуоз созерцательного бытия», нынче не разбудил его; обречен на позорную расплату за то же самое, за что и его страна и город, за то, что все эпохальные идеи, все мании и все категорические суждения, желающие видеть «мир» в предписанных рамках, без усталости рушат вокруг себя живую организацию жизни с ее неопишущим богатством и «реальными отношениями». Однако сегодня его и в самом деле разбудил Валушка – или, быть может, скорее то чувство, которое провело его от памятного мгновения, пережитого после кафе, к этой вот полудреме, когда ему стало понятно, от чего, собственно, защищает его преданность и... любовь товарища; когда он пришел к осознанию, что его, Эстера, «опирающееся на разум и строгий вкус существо», свобода и ясность его так называемого мышления, его тайно лелеемая духовность гроша ломаного не стоят и что, кроме этой товарищеской любви, его больше ничто в мире не волнует. В течение – приблизительно – семи лет всякий раз, думая о молодом друге, Эстер видел в нем «избыточное и непостижимое проявление ангельской легкости», сплошную эфирность, одухотворенность, парение на воздушных шарах, словно тот состоял не из плоти и крови, словно по дому перемещалось само волшебное простодушие, заслуживающее специального изучения, но теперь он видел его иначе: видел форменную фуражку на голове и длинную, до пят, шинель, видел, как он приходит в полдень, тихо стучится, здоровается, с позвякивающими судками в руке, стараясь даже в грубых своих башмаках передвигаться на цыпочках, дабы не потревожить покой гостиной, а затем, миновав коридор, удаляется, проходит длинной подворотней и словно бы очищает своей

естественной добротой, по крайней мере до следующего визита, тяжелую от навязчивых хозяйских идей атмосферу дома, окружая немного забавной, но от этого еще более трогательной деликатностью, рачительной домовитостью и – такой же бесхитростной – простотой человека, который всего этого даже не замечал, как будто считал самым естественным делом на свете, что кто-то стоически и в самом глубоком смысле этого слова служит ему. Эстер проснулся уже окончательно, но продолжал лежать на кровати не шевелясь, потому что перед глазами вдруг снова возникло лицо Валушки: большие глаза, сказочно длинный и красный нос, вечно готовый к мягкой улыбке рот и высокий лоб, – ему казалось, что точно так же, как он разглядел в своем жилище домашний очаг, так он увидел теперь настоящий облик Валушки, открыв за отблеском «небесных связей» – который в своих заблуждениях он принимал за «ангельский» – земную сущность его первоначальных черт. Это лицо теперь целиком исчерпывалось для него улыбкой, или серьезно уставленным куда-то взглядом, или тем, как оно опять прояснялось, и изучать в нем совершенно нечего, ибо эта улыбка, эта серьезность и эта ясность самодостаточны; он понял, что «небесные связи» Валушки ему, в сущности, вовсе неинтересны, его напрямую касается только это лицо: не Валушкино мироздание, а взгляд его глаз. Здравость этого взгляда, который, продолжал думать Эстер, словно бы вечно прикидывал, как навести порядок в том тарараме, что неустанно устраивал вокруг себя обитатель гостиной, взгляда, в котором были основательность, домовитость, стремление разобраться в ворохе мелких дел, – то есть все то, что было сейчас и в его глазах, когда он сел на кровати и оглянулся по сторонам, соображая, что еще предстоит ему сделать до возвращения его друга. Первоначальный план состоял в том, чтобы, заколотив окна и растопив печку, продолжить укрепление дома: забаррикадировать уличные ворота и дверь на другом конце подворотни, что вела во двор; но поскольку за это время смысл строительства баррикад основательно изменился и с этой минуты сама идея создания неприступной крепости и то, что ему уже удалось реализовать внутри дома, превратились в жалкий памятник его многолетнему недомыслию, он решил сконцентрировать все внимание на комнате Валушки: затопить в ней печку, если понадобится, навести порядок, приготовить постельные принадлежности и ждать – ждать, пока его заплутавший

помощник все же вспомнит о своем обещании, «покончив с делами», поспешить в дом на проспекте барона Венкхейма. Ибо он был уверен, что Валушка, верный своей натуре, и сейчас шатается где-то по улицам или забрел на карнавал, объявленный на афише в переулке Семи вождей, и не может оттуда выбраться, и встревожился только тогда, когда, взглянув раз-другой на часы, наконец-то сообразил, что вместо нескольких минут он проспал без малого пять часов – пять часов, ужаснулся Эстер и выскочил из постели, готовый одновременно рвануться сразу в двух направлениях: растапливать печку в соседней комнате и бежать, за отсутствием окон, к воротам – посмотреть, не идет ли Валушка. В результате он не сделал ни того, ни другого, потому что заметил, что погасла печка в гостиной; первым делом поспешив к ней, он напихал в нее дров и подсунул снизу скомканную газету. Огонь долго не занимался, и ему пришлось повозиться – дважды опорожня топку и начиная все заново, – пока в печке запылало пламя, но это было еще полбеды по сравнению с тем, что его ожидало в соседней комнате: там стояла буржуйка, которой не пользовались годами, и после часа возни дело так и не заладилось. Он пытался растопить ее подсмотренным у госпожи Харрер способом, но дрова гореть не хотели. Он испробовал все: и складывал их шалашиком, и свободно набрасывал друг на друга, и отчаянно хлопал дверцей буржуйки, и дул что было мочи – все без толку, из печи валил густой дым, как будто за время длительного простоя она забыла, что должна делать в таких ситуациях. Будущее жилище Валушки превратилось в настоящее поле битвы, пол был усеян закопченными чурками и золой; он по-прежнему мучился в едком дыму у буржуйки, чуть ли не поминутно выбегая в гостиную глотнуть воздуха. На бегу окинув глазами изысканную домашнюю куртку, он вспомнил о висевшем на кухне халате госпожи Харрер и так огорчился, что не смог по-настоящему обрадоваться, когда до его ушей – как раз опять на пути в гостиную – донесся гул разгоревшегося огня и он, обернувшись назад, констатировал: борьба была не напрасной, буржуйка, как будто из ее трубы вдруг выдернули затычку, принялась за дело. На то, чтобы снять доски с окна, которое в этой комнате тоже смотрело на улицу, времени из-за проволочки с растопкой не осталось, поэтому, широко распахнув все двери, он принялся через комнату для прислуги, которая была проходной, и кухню выгонять дым в

прихожую; он попытался очистить куртку, но только размазал на себе копоть, затем присел отдохнуть; после этого, уже, разумеется, облачившись в халат госпожи Харрер, с тряпкой, веником и совком в одной руке и с мусорным ведром в другой поспешно вернулся в Валушкину комнату, дабы убрать следы битвы с буржуйкой. Если прежде, загроможденное горками, в которых сверкали фарфор и столовое серебро, коллекциями раковин и улиток, резным столом и кроватью, помещение это выглядело семейным музеем, где роль смотрительницы исполняла госпожа Харрер, то теперь оно производило впечатление музея, пострадавшего от пожара, откуда только что, немного расстроенные тем, что по-настоящему жаркой работы им тут не досталось, удалились пожарные: все было покрыто золой и пеплом, а если что-то и не было, то он, словно над ним тяготело то же проклятье, что и над госпожой Харрер, с помощью тряпки и веника делал так, чтобы было; хотя он, конечно, знал, что проклятье тут ни при чем, а причиной была тревога, с которой он, совершенно забыв о том, чем он занят, после каждого движения прислушивался, не стучит ли его долгожданный гость в окно гостиной – как было условлено на тот случай, если ворота с наступлением темноты будут уже заперты. Смахнув кое-как золу с кровати и подкинув еще поленьев в буржуйку, он решил прервать бессмысленные труды, чтобы утром продолжить уборку уже вместе с Валушкой, вернулся в гостиную, взял стул и сел греться к печке. Он поминутно глядел на часы: «Уже половина третьего!» – думал он, или: «Еще только без четверти!» – полагая, в зависимости от тревоживших его мыслей, что время идет слишком быстро или слишком медленно. Иногда ему казалось, что его друг уже не придет, потому что либо забыл о своем обещании, либо думает, что раз уж не получилось явиться вовремя, то беспокоить его среди ночи он не будет ни в коем случае; а потом он стал размышлять о том, что Валушка может сейчас сидеть в газетной экспедиции или в «Комло», в каморке портье, куда он во время своих ночных рейдов непременно заглядывал, и ежели это так и он вот сейчас вспомнит про обещание, то сколько ему понадобится времени, чтобы добраться оттуда до его дома. А спустя еще какое-то время Эстер уже не думал ни о том, что «все еще нет четырех», ни о том, что «уже без четверти», потому что ему показалось, что постучали в окно, и он поспешил к воротам, выглянув

из которых заключил, исходя из яркого света и людского столпотворения в районе кинотеатра и гостиницы «Комло», что анонсированный «карнавал» действительно состоялся, после чего с разочарованным видом вернулся в дом и снова уселся у печки. А возможно, мелькнула у Эстера и такая мысль, Валушка был тут, пока он дремал, и поскольку на стук ему не ответили, он не стал проявлять настойчивость и пошел домой; или, продолжал размышлять Эстер, как изредка с ним случалось, его напоили на «карнавале» либо у Хагельмайера и он не решился явиться к нему в пьяном виде. Он смотрел на стрелки часов, которые то еле тащились, то не в меру спешили, ложился, вставал, подкидывал дров в обе печки, потом, потеряв глаза, чтобы вновь не заснуть, уселся в то кресло, где по вечерам обычно сидел Валушка. Но просидел недолго – у него разламывалась поясница, ныла травмированная левая рука, и поэтому вскоре он принял решение больше не ждать, однако потом все же передумал, решив подождать еще, но только пока минутная стрелка часов дойдет до цифры 12, – а когда очнулся, то обнаружил, что часы показывают уже девять минут восьмого, и в это же время в окно – совершенно отчетливо – кто-то постучал. Он вскочил, напряженно прислушался, желая убедиться, что не ослышался и истерзанные чувства не обманывают его в очередной раз, однако повторный стук развеял его сомнения и как рукой снял усталость от ночного бдения. Когда он вышел комнаты и, вытаскивая из кармана ключ, поспешно прошел вдоль прихожей, то почувствовал, что ночные его мучения снова обрели смысл, и до ворот по обжигающему морозу он дошел таким бодрым и в таком счастливом волнении, словно все эти, бесконечные, как казалось, часы ожидания только для того и понадобились, чтобы можно было о них отчитаться гостю, который, даже не предполагая, что будет не гостем здесь, а полноправным жильцом, наконец-то, – повернул Эстер ключ в замке, – явился. Однако, к величайшему его разочарованию, вместо Валушки перед ним, изможденная и какая-то необычная, стояла госпожа Харрер, которая, не давая ему опомниться и ни слова не говоря о причинах неурочного появления, протиснулась мимо Эстера в подворотню и, ломая руки, метнулась в прихожую, а затем – в гостиную, где, совершенно не свойственным для нее образом, плюхнулась в кресло, расстегнула пальто и устала на него такими отчаявшимися

глазами, как будто сказать что-либо сейчас было невозможно – только сидеть и смотреть на другого в этом не требующем объяснений отчаянии. Одежда на ней была обычная – двое спортивных штанов, надетых одни на другие, лимонно-желтая кофта да кирпично-красное тканевое пальто, и, пожалуй, только эта экипировка напоминала ему прежнюю госпожу Харрер, ту, которая вчерашним утром с возгласом «До среды!» и с чувством отлично выполненной работы заглянула к нему в гостиную, чтобы затем, сменив расшитые пуговицами тапочки на уличные сапоги на меху, шаркающими шагами покинуть дом. Одной рукой она держалась за сердце, другая висела бессильной плетью, под красными глазами пролегли темные тени, и, чего еще никогда не бывало на памяти Эстера, пуговицы на кофте были вдеты не в свои петли, – вообще вся она производила впечатление измученного, сломленного человека, которого выбили из колеи, и теперь он не понимает, что с ним произошло, и в отчаянии ждет объяснения. «Я все еще в ужасе, господин директор! – воскликнула она, задыхаясь и безысходно тряся головой. – Все еще не могу поверить, что это кончилось, хотя, – икнула она, – уже и солдаты прибыли!» Эстер в растерянности застыл перед печкой, не в силах понять, о чем речь; заметив, что женщина вот-вот разрыдается, он шагнул было к ней, чтобы успокоить, но затем – полагая, что если уж она хочет плакать, то останавливать ее бесполезно – передумал и присел на кровать. «Я, господин директор, ей-богу, даже не знаю, жива я или мертва... – шмыгнула носом госпожа Харрер и вытащила из кармана пальто скомканный носовой платок. – Но вот пришла, потому как мне муж сказал, ступай, дело жизненной, говорит, важности, а у меня-то... душа... – она размазала по щекам слезы, – вся в пятках...» Эстер откашлялся: «Да что стряслось?» Но госпожа Харрер только горестно отмахнулась. «Я всегда говорила, что это добром не кончится. Вы ведь помните, господин директор, что я говорила, когда зашаталась башня в Народном саду? Я от вас ничего не скрывала». Эстер начал терять терпение. Наверное, опять муж напился, упал и расшиб себе голову. Но при чем здесь тогда солдаты? Что все это значит?! Вся эта ахиня?! Ему захотелось лечь и хоть пару часов вздремнуть, пока не придет – теперь уж наверняка только в полдень, в обычное время – Валушка. «Вы попробуйте все сначала, госпожа Харрер». Та снова вытерла слезы и уронила руки в подол. «Ох, не знаю, с чего и начать.

Не так-то это легко, потому что вчера, когда мой-то до ночи глаз не казал, я сказала себе, ну ладно, пусть только вернется, я задам ему перцу, ведь вы, господин директор, меня понимаете, что с таким наказанием, как этот пропойца, который все из дому тащит, а я должна жилы рвать, кишки, прости господи, из себя выматывать, да с таким забулдыгой иначе нельзя, только так, думала я весь вечер, пока дожидалась, что вот вернется и я ему задам феферу. Гляжу на часы: шесть, семь, полвосьмого, а в восемь уж думаю про себя, ну, значит, опять назюзюкается, хотя ведь не далее как вчера чуть концы не отдал с похмелья – так сердце зашло, плохое оно у него, но хотя бы не в такой день, когда в городе хуйлюганов этих полно, еще приключится что, пока он домой шкандыбает, а тут еще этот кит проклятуший, или как там ее называют, эту зверюгу, говорю я себе. Но чтоб так обернулось, я все же не думала! Сижу в кухне, смотрю на часы, посуду уже помыла, уже подмела, телевизор включила, смотрю оперетку, потому что по просьбам зрителей они вчерашнюю повторяли, потом, опять в кухне, глядь на часы – уже полдесятого. Тут я уж встревожилась не на шутку, потому что так долго обычно он не задерживается, даже если наклюкается, к этому времени завсегда уже дома. Он ведь, хоть и любитель за воротник заложить, не может угнаться за остальными, разморит его, он озябнет да и воротится. А тут нет и нет его, я сижу, гляжу в телевизор, но ничего там не вижу, потому как другим голова занята – что с моим-то случилось, ведь старик уже, говорю, могло бы хватить ума не шататься в такую пору по улицам, когда, сами знаете, там хуйлиганы эти разбойничают, а ведь я наперед сказала, вы, господин директор, помните, когда башня-то зашаталась, так нет, – продолжала она, комкая в руках носовой платок, – часы уж пробили одиннадцать, а я все сижу перед телеком, уж и гимн отыграли, экран зарябил, а его все нет. Ну, тут я не утерпела, вскочила и побежала к соседям, вдруг что-то знают. Стучу, барабаню в дверь, в окно – тишина, как будто не слышат, хотя дома ведь, где им быть в такую погоду, когда от мороза ноздри слипаются. Я стала кричать во весь голос, чтобы слышали – это я; наконец открыли, только про мужа их спрашивать было бесполезно. А потом мне сосед говорит: а знаю ли я, что в городе происходит? Отвечаю: почему мне знать? Так большие волнения, говорит, настоящий бунт! Все крушат, говорит, а меня будто обухомхватило по голове: так ведь муж-то мой

там, и вы не поверите, господин директор, я думала, прямо там, у соседей, и рухну, насилу домой добралась, свалилась в кухне мешком на стул и сидела, держалась вот так за голову, потому что чувствовала, она вот-вот лопнет. И чего я только не думала, лучше об этом не говорить, напоследок даже такое: а может, он уже воротился и в постирочной спрятался, где квартирует Валушка; он, бывалыча, уже прятался у него, выжидая, пока протрезвеет немного, а тот его покрывал, но если бы муж мой знал, что с нашим постояльцем будет, уж точно туда не пошел бы, потому что хоть и закладывает и деньги из дому тащит, человек-то он все же порядочный, этого не отнимешь. Ну, заглянула я, там никого, вернулась обратно в дом, и такая меня одолела усталость, день в трудах, а потом еще эти переживания, что я думала, упаду на месте, и решила себя чем-нибудь занять, сварить кофея, от него, поди, оклемаюсь чуток. И вот, вы, господин директор, мне не поверите, потому что знаете уже много лет, что у меня в руках все горит, но тут будто что нашло, наверное, полчаса проваландалась, пока этот несчастный кофея на газ поставила, еле смогла развинтить кофеварку, потому что думала о другом и забывала все время, чего собираюсь сделать, но спохватилась все же, поставила кофеварку на газ и зажгла огонь. Выпила кофея, ополоснула чашку, гляжу на часы – двенадцать, ну и решилась, думала, все же лучше, чем в кухне сидеть и ждать, ждать и ждать без конца, а его все нет, вы, господин директор, это чувство знаете, каково это, не спускать глаз со стрелок, ну а я уж тем более, я, сколько себя помню, уже лет сорок как минимум, только вкалываю да на часы таращусь, наградил меня Бог муженьком, а ведь мог, Он свидетель, мне и получше достаться. Одним словом, решилась, накинула на себя что под рукой было, вот это пальто, а через несколько шагов за воротами, не так далеко от меня, у первого перекрестка вижу, толпа стоит, человек пятьдесят, ну, мне объяснять не надо, что это за народ, я сразу смекнула, едва услышала, как что-то со звоном разбилось, что надо спасаться, вернулась домой, заперла все двери и даже свет не включала, и вот, верите ли, сижу в темноте, затаилась, а у самой сердце из груди выскакивает, потому как тот звон раздавался все ближе и ближе, и понятно было, что это за звон, его ни с чем не спутаешь. Вы и представить не можете, господин директор, что я пережила, сижу, затаилась, не смею дыхнуть, – завсхлипывала опять госпожа Харрер, – одна-одинешенька... в пустом доме... и к соседям

уже не пойдешь... сиди, жди что будет. Темно было, как в гробу, а я еще и глаза закрыла, не дай бог что увидеть, достаточно и того, что я слышала, как наверху вдребезги разлетаются два окна, летят вниз осколки, четыре больших стекла там было, потому как мы наверху-то в свое время двойные рамы поставили, но тогда я, ей-богу, думала не о том, что ради стекол этих, чтоб оплатить их, я неделю горбатилась, нет, я только молила Господа, чтобы они на этом остановились, боялась – ворвутся во двор и неизвестно что учинят, они и дом могут разнести. Однако Господь меня пощадил, они ушли, а я еще долго сидела с выбитыми окнами над головой и слышала, как колотится сердце и как они уже у соседей бьют стекла, сидела в потемках, боже упаси свет зажечь, даже пошевелиться и то только через час осмелилась, на ощупь дошла кое-как до комнаты, как была, в одежде, легла на кровать и лежала там, будто мертвая, прислушивалась, а ну как они вернуться, чтобы еще и внизу одинарные окна выбить. Всего и не рассказать, что я там передумала, да и времени нет сейчас, думала, вот оно, светопреставление, вот он, ад земной, и всякое прочее, вы, господин директор, лучше меня понимаете, что я имею в виду, в общем, лежу я пластом, лежу час, другой, сна ни в одном глазу, уж лучше бы я уснула, тогда бы хоть бестолковые эти мысли не мучили, потому что, когда муженек мой вернулся, а он все же вернулся под утро, я даже обрадоваться не смогла, что он отыскался, да еще и не выпивши – стоял у кровати трезвый как стеклышко, потом сел и не раздеваясь, прямо в пальто стал меня успокаивать, видел, что я лежу и признаков жизни не подаю, сама-то я говорю себе, мол, вставай, соберись, все в порядке уже, пришел он, теперь, поди, все образуется. Он вышел на кухню, принес мне стакан воды из-под крана, я выпила и стала мало-помалу в себя приходиться, зажгли свет в комнате, потому что до этого я не позволяла, но он говорит, да уже успокойся, можно и здесь включить, на кухне-то все равно горит, ну а что касается тех двух окон, то пусть у меня голова не болит, Управа заплатит. Видел он, как было не увидеть, когда входил, что у входа земля вся в осколках, сама-то я не осмелилась, а он посмотрел, когда стакан выносил на кухню, и вернувшись, сказал, ничего, мол, Управа все возместит, он теперь там авторитет имеет. К тому времени я уж немного пришла в себя, села в кровати и спрашиваю, что, мол, ты, где шатался всю ночь, неужто ни совести у тебя, ни чести, оставить меня одну в пустом доме, а самому

где-то шляться, и это вместо того, чтобы сказать, слава те господи, что он цел, что не пострадал, только вы сами знаете, господин директор, страх берет свое, да еще хуйлиганы эти проклятые, и окон опять же жалко. А мой все молчит и смотрит, странно этак поглядывает, я и спрашиваю, да что, черт возьми, происходит, может, скажешь в конце концов, и опять было начала про окна на верхнем этаже, а он говорит, да уже ничего, все кончилось, и палец вот так воздевает, отныне я состою, говорит, в этой самой... в комиссии при Управе и прошу ко мне соответственно относиться, мне еще и медаль дадут. Мать честная, вы думаете, господин директор, я из этого поняла хоть слово? У меня глаза на лоб, а он кивает и говорит, что всю ночь был на совещании, а не в корчме, в Управе они совещались, потому что он член какой-то... необычайной комиссии, которая защитила город от хуйлиганов, на что я ему: ну хорош гусь, он, видите ли, заседает, а я погибай тут одна в пустом доме и даже свет не моги включить. На что он мне, мол, ты, баба, не выступай, я глаз не смыкал всю ночь в заботах о безопасности вашей, и спрашивает, нет ли в доме чего-нибудь выпить, а я уже так обрадовалась, что он жив-здоров, сидит со мной рядом, на одеяле, что сказала, где выпивка, и он, шмыгнув в кладовку, выудил из-за банок с вареньем палинку, потому что приходится ее там держать, от греха подальше. Я спрашиваю у него, что это за народ был на нашей улице, а он говорит, темные элементы, но удалось обуздать их, сейчас ведутся аресты, проходят облавы, потому что в город вошли военные, в общем, порядок уже восстановлен, заявил мне муж и приложился к бутылке, повсюду солдаты, представляешь, говорит, даже танк с собой привезли, он сейчас у Большого храма на Монастырской аллее стоит; я позволила ему еще раз отхлебнуть и строго сказала: ну, хватит уже, – отняла бутылку и поставила рядом с собой у кровати. А откуда здесь взялась армия, спросила я, потому что тот танк никак не укладывался в моей голове, на что муж мне ответил, что причиной всему был цирк, это из за него вся буча, не будь этого цирка, они никогда не посмели бы напасть на город, но напали вот, сказал муж, и я видела, как его всего передернуло, напали, и лицо его потемнело, они грабили, поджигали, ты только представь себе, говорит, бедная Ютка Сабо с телефонной станции, да вы ее знаете, господин директор, вместе с сослуживицей тоже пострадали, – на глазах госпожи Харрер заблестели слезы, – они

тоже. Но есть и погибшие, рассказывал муж, и я тут опять от страха вся обмерла, потому что военные, кроме почты, сразу заняли и другие учреждения, и, к примеру, на станции, говорил он, одну женщину – ты только представь – заодно с ребенком... но тут я не выдержала – не могла больше слушать – и спрашиваю, это как же вы со своей комиссией защитили город, если такое могло случиться, на что муж отвечал, что если бы не они и, в первую очередь, не супруга господина директора, которая, во всяком случае по словам мужа, ринулась в бой как львица, да, если бы не она, им бы не удалось уговорить двоих полицейских как-то выбраться на машине из города, и тогда бы и армии не было, и ущерб было бы не два стекла – четыре, поправила я, – а море убитых и раненых. Потому что полиция, и тут мой муж сильно помрачнел, вся испарилась, так он выразился, испарилась, и никого из них невозможно было найти, кроме тех двоих, которые и отправились в областной центр за помощью, а единственная причина этого состояла в том, что полиция потеряла голову, именно так, как я говорю, голову, со значением заявил мой муж. Господин полицмейстер, добавил он, с издевкой произнося слово „господин“, потому что, не знаю уж по какой причине, он последние два-три года люто его ненавидит, так люто, что, стоит ему услышать о нем, сам не свой делается от ненависти, хотя люди не понимают, какая кошка между ними пробежала, я тоже не понимаю, да и сам он всегда отпирается, короче, полицмейстер и есть эта голова, которую потеряла полиция, объяснил он и весь аж побагровел от гнева. Он был пьян, сказал муж, пьян в дымину, настолько, что, представляешь, весь день проспал, а когда его разбудить удавалось, то проку от него было мало, и только на рассвете он куда-то ушел, и тогда все подумали, включая супругу господина директора, что теперь уж он примет меры, но ничего подобного, те двое стражей порядка, которые привели солдат, рассказали, что видели его в стельку пьяного, успел где-то опять набраться, потому что на граждан города, как выразился мой муж, ему просто насрать. Он вон тоже, случается, выпивает, сказал муж, но когда на кону судьба общества, он себя соблюдает, не то что господин полицмейстер, и опять произнес „господина“ с издевкой, который снова нажрался, и вообще неизвестно, что с ним, потому как те двое, что его видели, смогли только сказать, что, судя по его походке, он направлялся уже домой. Ну а я все лежала и слушала эти ужасы, но это

было только начало погрома, рассказывал дальше муж, сколько в общей сложности раненых и убитых, кто где лежит, еще только предстоит расследовать, тряс он головой, как потерянный; потому что, к примеру, когда уже появились солдаты, когда уже танк стоял у Большого храма и люди осмелились высунуться на улицу, то здесь на проспекте, у мясной лавки Надабана, вы знаете, где это, господин директор, он, направляясь домой, чтобы успокоить меня, встретился с госпожой Вираг, которая тоже была в полном отчаянии. Она, эта госпожа Вираг, рассказала мужу, что разыскивает соседку, которая целый вечер сидела у окна и наблюдала за ужасами, что творились на улице, а потом, натерпевшись страха, пригласила ее, сказала госпожа Вираг, и дальше они сидели у окна вдвоем, но уж лучше бы не сидели, потому что после полуночи внизу, на проспекте, опять появилась толпа этих хуйлиганов, с дубинами и бог знает с чем еще в руках, они с этими палками за кошками на тротуарах охотились, так рассказывала госпожа Вираг, а мне уж потом пересказывал муж. И тогда они якобы увидели в этой толпе, и муж мой умышленно не назвал его имени, а сказал: увидели сына соседки госпожи Вираг, так в точности и сказал, туманно так выразился, а он этого и хотел, чтобы я раньше времени не смекнула, сказал и к палинке потянулся, что у ножки кровати стояла, но я прикрикнула, мол, оставь бутылку в покое, и спрашиваю: соседка госпожи Вираг? Да, говорит; я прикидываю так и этак, ничего не могу понять, а он продолжает, что смотрят они и глазам не верят, сын соседки госпожи Вираг идет в толпе хуйлиганов этих, ты не поверишь, говорит мне муж, и не пытайся – не угадаешь ни в жисть, какого гаденыша мы на груди пригрели. Я вытаращила глаза, все еще не в силах понять, кого он имеет в виду, а он продолжает, что в таком бешенстве эту женщину, соседку свою, госпожа Вираг еще никогда не видала, она стала кричать, мол, с нее достаточно, ее сын замучил, будь что будет, но она этого не потерпит: всю жизнь он ее позорил, но теперь уж все, терпение ее лопнуло, схватила пальто, рассказывала моему мужу эта Вираг, и напрасно та ее успокаивала, надела пальто, – посмотрела она на остолбеневшего Эстера, – и бросилась на улицу. И при этом кричала сама не своя, что она его за волосы оттуда вытащит, так рассказывала мужу госпожа Вираг, которая была очень напугана, стояла у мясной лавки Надабана и говорила, что та женщина ушла за ними после полуночи и до сих пор не вернулась. Да наверно, их много

еще таких, вздохнул мой муж. Он оставил госпожу Вираг и пошел по проспекту дальше, ты представить себе не можешь эту разруху, говорил он мне, совсем сгорбившись рядом со мной на кровати, а затем он свернул на улицу Йокаи и наткнулся там на солдат. У меня-то они документы не проверяли, ведь это мы передали город силам правопорядка, только показали мне список разыскиваемых лиц с описанием их примет, потому что к этому времени в городской Управе уже опросили свидетелей, видевших, что тут творилось ночью, и теперь, рассказывал мне мой муж, эти солдаты, разбившись на группы, уже охраняют покой населения и ищут преступников, но в том списке, который ему показали на улице Йокаи, имен значилось не так много, фигурировали чаще только приметы, потому как местных среди этих хулиганов мало, пришлые в основном. И вот смотрит он в этот список и глазам не верит, да он ведь и госпоже Вираг не хотел верить, а военные спрашивают у него, вы кого-нибудь знаете из этих людей, а он говорит, не знаю, потому что испуган был сильно, а на самом-то деле знал. Я вся обомлела, когда имя услышала, и тоже ушам своим не поверила, с ума спятил, думаю; а он говорит, нельзя терять времени, его ищут, он затем и домой пришел, меня успокоить да чтобы я одевалась и скорей, что есть духу, к господину директору, потому что оба они, господин директор и муж мой, ему обязаны, а я только смотрю на него, не могу понять, чего это он. И думаю про себя, а ведь я знала, что квартирант этим кончит, я сразу сказала, как только он объявился у нас, что не надо, нам это боком выйдет, брать сюда этого сумасшедшего, но муж, конечно, меня не послушал, и вот нате вам, да я тогда еще думала, что за такие деньги нельзя с полоумным связываться, и говорю ему, никуда не пойду, ни шагу из дому не сделаю, а сама уж с кровати спускаюсь и пальто надеваю, словно бы не в своем уме. Мы вышли на улицу, под ногами хрустит стекло, муж говорит – он пойдет искать, а потом ему нужно в Управу, потому что жена господина директора строго-настрого ему наказала, чтобы самое позднее в семь часов был там, чего это, говорю, в семь-то, а мне одной опять шлепать по городу, но он знай твердит, мол, так надо, там медаль его ждет, и потом, честь обязывает, он теперь человек уважаемый, раз сказали к семи, значит, к семи. Уж я его умоляла и так и этак, но все без толку, и когда мы дошли до угла проспекта и улицы Йокаи, он мне сказал, что сходит на станцию и вернется, а мне велел к вам идти,

может быть, господину директору еще удастся что-нибудь сделать, ну а я, даром что говорила себе, нет, мол, ради этого человека я шагу не сделаю, видимо, помешалась, и все шла и шла, не глядя по сторонам, как ослепшая, вон даже не поздоровалась у ворот, уж не знаю, что господин директор обо мне теперь думает. Так ворваться ни свет ни заря и даже не поприветствовать, но что делать-то, господин директор, когда кругом все рушится, когда тут уже и солдаты, – упавшим голосом проговорила госпожа Харрер, – и даже этот танк...» Эстер сидел на краю кровати оцепеневший и, казалось, пронзал ее своим взглядом. Будто столп соляной, так он выглядел под конец, рассказывала она позднее Харреру, когда около полудня тот вернулся домой... А потом она видела, как ее хозяин вскочил с кровати, бросился к платяному шкафу, сорвал с плечиков пальто и, бросив на нее укоряющий и какой-то затравленный взгляд, будто во всем была виновата она, без единого слова умчался. Она, оставаясь в кресле, испуганно заморгала, а услышав, как снаружи оглушительно грохнули ворота, содрогнулась, опять расплакалась – затем развернула платок и, высморкавшись, осмотрелась по сторонам. И только теперь заметила доски на окнах. Она медленно поднялась и, склонив на бок голову, потому что никак не могла понять, зачем они тут нужны, семена и приглядываясь, с вытянувшимся лицом подошла ближе, провела рукой по одной из досок и, убедившись, что она настоящая, по очереди постучала по остальным костяшками пальцев, а потом вдруг, когда все поняла, с видом эксперта, которого не обманешь, когда у него четыре стекла за плечами, горько пробормотала себе под нос: «Да ведь надо снаружи окна-то заколачивать – не изнутри!» Она устало проковыляла к печке, заглянула в нее, подбросила на огонь поленьев, качая головой, погасила свет и, напоследок еще раз окинув взглядом погружившуюся в полумрак гостиную, повторила: «Снаружи... не изнутри! Это надо такое удумать, о господи...»

Огосподи, да провалитесь вы прямо в ад, откуда явились, кричал застывший взгляд человека в углу разгромленного помещения, которое незадолго до этого привлекло их внимание необычной вывеской «Ортопед» и отсутствием металлических жалюзи на витрине, между тем как разбитые губы шептали «не надо», «прошу вас», «остановитесь», и они, словно эти отчаянные мольбы послужили сигналом отбоя, не обращая больше внимания на охрипшего от страха

сапожника, остановились посреди разгромленной мастерской, а затем – так же молча, как ворвались сюда, – лавируя между поваленными стеллажами с кожами, перевернутыми верстаками и грудями политых мочой ортопедических туфель, тапочек и сапог, дружно высыпали на улицу. Даже не видя остальных, по крикам, разносившимся то ближе, то в отдалении, они понимали, что вся масса, несколько часов назад ринувшаяся с площади, разбившись в крошечной тьме на примерно равные по численности банды, находится где-то рядом, и если было хоть что-то, что руководило этим погромным потоком, то именно это знание, которое побуждало их действовать независимо от своих товарищей, потому что клубящийся гнев, не знавший ни цели, ни направления, требовал, чтобы каждая совершаемая ими мерзость была увенчана еще более жуткой мерзостью; так было и теперь, когда они после мастерской сапожника в поисках объекта, достойного их необузданной – и только формально подчиняющейся вожаку – ярости, двинулись по обсаженному каштанами проспекту назад к центру города. Кинотеатр все еще горел, и в багровом, порой ярко вспыхивающем свете пожара – застыв, как скульптурные группы зачарованных созерцателей – стояли без дела уже три отряда, сквозь которые, точно так же как позднее сквозь подозрительно многочисленную толпу своих товарищей у горящей часовни, они прошли таким образом, чтобы ни в коем случае не нарушить темпа своей, как казалось им, нескончаемой экспедиции и чтобы постоянством – устрашающе медленного, кстати – печатного шага обеспечить размеренность энергичного марша сперва от кинотеатра до устья площади и оттуда – в безлюдную тишину улицы Святого Иштвана, позади пылающей богомольни. Они не обменивались уже ни словом, только изредка вспыхивала чья-нибудь спичка, которой отвечал разгоревшийся уголек сигарки; глаза их были уставлены в спину идущего впереди или в землю, они шли вперед по трескучему морозу, невольно держа общий шаг, и поскольку с первым актом было уже покончено (когда они для заводки били подряд все окна, а в некоторые и *заглядывали*), то теперь они почти ни к чему не притрагивались, пока не дошли до угла, где свернули и, обогнув привлекавшее их внимание здание, наткнулись на крашенные синей краской металлические ворота, за которыми виднелся покрытый пучками мерзлой травы парк с несколькими затемненными корпусами

вдали. Для того чтобы сбить на воротах замок, а затем вдребезги разнести будку сторожа, который, похоже, давно уже драпанул, достаточно было нескольких прицельных ударов железными прутьями; гораздо хуже пошло дело, когда, устремившись по одной из дорожек парка, они попытались ворваться в ближайший дом, ибо, чтобы проникнуть в него, уже миновав главный вход, им пришлось одолеть еще две двери, которые здешние обитатели – несомненно, напуганные жуткими вестями из города, то есть как раз из-за них – не только заперли на ключ, а одну еще и заложили засовом, но и забаррикадировали кучей столов и стульев, словно заранее зная, что в интересах самозащиты – насколько эффективной, на это отряд, который с медлительностью нацелившейся на добычу кобры поднимался сейчас по лестнице, вскоре даст исчерпывающий ответ – следует принять все, какие только возможно, меры. В длинном отапливаемом коридоре высокого первого этажа стоял кромешный мрак, да и в палатах дежурная сестра (которая, заслышав приближающийся шум, в последний момент еще попыталась спастись через черный ход), по всей видимости, сразу после первых известий, призвав в помощь ходячих больных, выключила ночники над кроватями в наивной надежде, что вместе с замками и баррикадами этого будет достаточно для безопасности обитателей здания, ведь, несмотря на панические предчувствия, никто не верил в то, что захлестнувшее город насилие может принять столь варварский оборот, что выльется в реальное нападение на больницу. А они между тем уже были здесь: взломав последнюю дверь и нащупав выключатели в коридоре, они легко – как будто больных, затаившихся под одеялами, выдавало испуганное молчание – обнаруживали их в палатах, выходящих в коридор с правой стороны, а обнаружив, переворачивали кровати; но вот наступил момент, когда фантазия их иссякла и они не знали, что делать дальше со стонущими на полу людьми: когда они замахивались на них, их руки сводила судорога, а в ногах не осталось сил для пинков и ударов, и, словно бы в подтверждение того, что ярость больше не находит объекта, все очевидней делалась их предательская беспомощность и все более смешными – погромные действия. Забыв о первоначальных намерениях, они попросту перешагивали через людей и двигались дальше, вырывая розетки и швыряя об стену все щелкающие,

журчащие и мигающие лампочками приборы, опрокидывали тумбочки и растаптывали пузырьки с лекарствами, термометры и самую безобидную личную ерунду – вплоть до очечников, семейных фото и бумажных пакетов с увядшими фруктами; они продвигались то порознь, то снова сбиваясь в стаю, ступая все менее твердо, пока не поняли, что всеобщая обезоруженность и полное отсутствие сопротивления все сильнее парализуют их и что перед этой устрашающей своей немотой покорностью – еще недавно приносившей им садистское наслаждение – придется в конце концов отступить. В глубочайшем молчании застыли они в дрожащем неоновом свете коридора (где из-за закрытых дверей раздавался, издали и глухо, только визг медсестры), а затем, вместо того чтобы в яростном замешательстве все же кинуться на несчастных или продолжить акцию на верхних этажах больницы, дождались, пока подойдут отставшие, и уже не армией, а нестройной толпой покинули здание, прошагали по парку к железным воротам и, несколько долгих минут растерянно потоптавшись на месте, впервые отчетливо осознали, что понятия не имеют, куда и зачем им идти, ибо, подобно их изнуренным товарищам, виденным у кинотеатра и у часовни, они тоже выдохлись, растратили весь запас кровавой энергии, и самым невыносимым было именно понимание, что на этом адское предприятие закончилось и для них. Сознание, что они лишь нагадили, а дела, на которое по единому мановению своего князя ринулись вчера вечером, так и не сделали, не порушили все вокруг, смертельно их тяготило, и когда они в нерешительности двинулись наконец от ворот больницы, мучимые подозрением, что во всем этом предприятии, в том числе и в их зверских безумствах, нет никакого смысла, то не только сбились с печатного шага, но и сам их союз, казалось, распался, больше не было никакого марша, сцементированный дисциплиной отряд превратился в жалкое стадо, рать, ведомая чудовищным отвращением, – в два-три десятка сокрушенно бредущих людей, которые не просто догадываются, но и знают – однако нисколько не беспокоятся – о том, что последует дальше, ибо они вступили в пустое, тотально пустое пространство, из которого не просто нельзя освободиться – находясь в нем, невозможно даже хотеть свободы. Они взломали еще один магазин (над входом значилось только: «...ЕХНО...АРКЕТ»), однако когда, сорвав металлические жалюзи и

высадив дверь, оказались внутри, то каждое их движение выдавало, что это начало не новой атаки, но отступления, словно все они были смертельно ранеными и теперь искали убежища, где могли бы испустить дух; и действительно, когда они переступили порог и, включив свет, огляделись в сплошь заставленном стиральными машинами – и больше напоминавшем склад, нежели магазин – помещении, в их взглядах уже не было и следа прежней жестокости, и они, будто люди, пленившие сами себя, которым неважно где находиться, довольно долго с безучастными лицами слушали только скрип болтавшейся на одной петле двери и отошли от входа, только когда этот леденящий кровь звук затих под низким потолком промерзшего магазина, словно бы запечатав убежище. Один из них неожиданно, как бы очнувшись от общей летаргии или только сейчас осознав смысл жалкого состояния, овладевшего его товарищами, резко повернулся и, презрительно сплюнув назад («...Ссыкуны!»), гулким шагом направился к выходу, словно бы говоря, что уж если сдаваться, то он предпочтет сделать это в одиночку; а другой стал бить металлическим ломом по одной из стиральных машин, как две капли воды похожих одна на другую и выстроенных в по-военному строгом порядке, и, найдя в пластмассовом корпусе слабое место, выломал из нее двигатель, после чего остервенело стал крушить уже более мелкие, разлетающиеся в разные стороны детали; но остальные – не реагируя на поведение этих двоих и ни к чему не притрагиваясь – неуверенно двинулись по узким проходам и, стараясь расположиться подальше друг от друга, улеглись на покрытый линолеумом пол. Однако их было слишком много, чтобы, рассыпавшись по этому лесу стиральных машин, каждый нашел себе укромное место, откуда бы его не видели товарищи, тем более не мог на это рассчитывать Валушка, который к тому же был убежден (хотя какое уж это имело значение), что за ним присматривают: например, человек, который расположился на углу второго от него «перекрестка», вперил взгляд прямо перед собой, а затем, положив на колени блокнот, с ожесточенным лицом стал что-то писать в нем, – потому что его устрашающий опекун, самый среди них жестокий, оставив после себя лишь тяжелую память о своей шляпе, сапогах и драповом пальто, минуту назад удалился, и, наверное, остальные – не зная, что с Валушкой «уже все в порядке» – могли решить, что жертва освободилась. Как они собирались с ним

поступить, ему было уже все равно, его не интересовало, расправятся с ним сейчас или спустя какое-то время, в нем не осталось страха, он не пытался бежать, ведь от того, что он осознал в ходе этой убийственно исцеляющей ночи, бежать он и не хотел, да и невозможно было от этого убежать; наверное, он мог бы сбежать от них, благоприятные случаи для этого выдавались неоднократно, но он уже никогда не смог бы освободиться от страшного груза увиденного – если, конечно, можно сказать, что он видел тот ужас, от которого в первый момент буквально ослеп, и продолжалось это до решающего поворота, когда он, можно сказать, заново родился. Ибо проявленная им немислимая беспомощность в тот момент, когда перед домом господина Эстера его спас – но это он понял позднее! – новый друг с рыночной площади, который обнял Валушку и под «шарканье башмаков и сапог» повлек за собой вдоль проспекта, а затем это невыносимое чувство, когда через сотню метров отряд, словно по немоной команде, буквально обрушился на какое-то здание и он в отчаянии метнулся было наперерез им, а на плечо ему тяжело опустилась дружеская рука и предостерегающе его стиснула, в зародыше подавив порыв, – так вот, это бессилие и эта чудовищная безвыходность, когда он одновременно хотел защитить и тех, кого били, и избивающих, вскоре и правда сменились глубочайшим ужасом, который не только не позволял ему ни бежать, ни сопротивляться, но и не давал понять: из многолетних дебрей прекраснотных мечтаний его, неисправимого, как казалось, глупца, безжалостным образом выведет именно эта адская ночь. Валушка уже не осознавал тогда, в какой части города они находятся, понял только, что вот они снова взломали какую-то дверь и – впервые с тех пор, как стали бить окна и фонари над воротами – все вместе вломились в дом. Его конвоир, в котором на тот момент он еще видел злодея, с вполне правомерной жестокостью толкнул его вслед за другими, и он поневоле тоже влетел в тесное помещение, где почувствовал, как вокруг все невероятно замедлилось: и голос старухи, шагнувшей им навстречу, что-то крича, и движения тех двоих, которые – с потрясающим равнодушием на искаженных лицах – направились к ней. Он еще видел, как один из них неторопливо заносит кулак и как старуха пытается пятиться, но не может пошевелиться, это он еще видел, но затем с огромным усилием, как будто любое движение требовало от него нечеловеческого напряжения, отвернул голову, и

взгляд его упал в угол комнаты, в этот момент для него окончательно онемевшей. В углу не было ничего, лишь неопределенного вида клубящаяся тень, медленно покотившись, зависла в нем над очерченным двумя стенами клином тухлявого пола; этот угол не закрывали привычные шкаф или гардероб, он был пуст и вонял чем-то кислым, насколько пустым и кисло воняющим может быть только глухой угол комнаты, и все же в глазах Валушки он был полон ужасов, ему казалось, будто он вдохнул в себя все, что уже случилось и может еще случиться здесь, будто заглянул внутрь оскалившегося чудовища, о существовании которого даже не догадывался. Он не мог оторвать от него глаз, и куда бы его ни толкали в комнате, с этой минуты он видел в ней только резко очерченный угол с неподвижно застывшей в нем тенью; там, казалось, возникнув из облака темного и тяжелого пара, присел домовой; видение ослепило его, обожгло сознание и парализовало взгляд, а когда они вышли из дома, последовало за ним... Он шагал, когда шагали другие, и останавливался, когда останавливались они, не осознавал, что делает, и что делают с ним, и что у него на глазах творится в обрушившемся на него безмолвии, — этого он тоже не осознавал еще очень долго. Часами, а в действительности на протяжении времени, не измеряемого ни минутами, ни веками, он тащил на себе это мучительное видение, не ощущая при этом его непосильного веса, и уже невозможно было понять, что крепче: цепь, приковывающая его к видению, или судорожная хватка, с которой он за него цепляется. Однажды кто-то, примнилось ему, хотел поднять его с земли, но, переоценив требуемое усилие, потерял равновесие и с раздражением (прорывав: «И чего это он такой легкий, зараза?!») отпустил его, точнее, со злостью швырнул обратно; а потом, много позже, снова лежа на тротуаре, он почувствовал, как кто-то вливает ему в рот палинку и он от этого поднимается, и снова — рука, то давящая ему на плечо, то подхватывающая под мышку, рука, которая, очевидно, уже столько раз настойчиво, с терпеливой решимостью удерживала его от побега, настойчиво, но совершенно излишне, ибо, если догадка о будущем пробуждении пока что не овладела им, он был целиком во власти навалившегося на него видения, не мог отделаться от неясного смысла того угла, и куда бы его ни толкали, куда бы ни дергали, ни тянули, он видел лишь этот призрак, а все остальное — что они маршируют, что

кто-то бежит, что где-то что-то горит – лишь короткими вспышками и очень расплывчато. Нет, не мог он освободиться, потому что тот человек, не успев его уронить, уже поднимал обратно, и какое имело значение, здесь ли или в другом месте, он в любом случае будет безвольной куклой, парализованной его магнетической силой; а потом наступил момент, когда на него навалилась чудовищная усталость, в ледяных башмаках саднили обмороженные пальцы ног, ему (вновь?) захотелось улечься на тротуар, но этот тип в драповом пальто – в ком он все еще не готов был признать учителя, – почесав заросший подбородок, насмешливо на него прикрикнул. И то была первая фраза, реально дошедшая до его сознания, и от этого – не сказать чтобы неоправданно – язвительного голоса («Что, придурок, опять палинки захотел?!») он снова понял, где и среди кого находится, и, как будто тот тягостный угол с его неиссякаемой кислой вонью стал в эту ужасающую ночь ослепительной сценой, разглядел наконец в призрачном освещении устрашающе сложные черты лица своего наставника. Нет, палинки он не хотел, если он и хотел чего-то, то уснуть и замерзнуть на тротуаре, чтобы не думать о том, что стало уже проясняться в его сознании, чтобы «со всем этим было покончено», ничего другого, но интонация, с которой был задан вопрос, не оставляла сомнений, что этому не бывать, и поэтому он – как будто кого-то интересовали его истинные желания – отчаянно затряс головой, поднялся, подстроился к остальным и, вздрогнув, когда на плечо опять опустилась рука товарища, покорно зашагал рядом с ним. Он разглядывал его лицо на фоне угла, слепящего своим мраком, его ястребиный нос, густую щетину на подбородке, воспаленные веки и заметную ссадину под левой скулой, и устрашающую сложность лица видел не в том, что трудно было расшифровать смысл отраженной в нем бездонной ярости, а в сходстве, которое связывало его со вчерашним знакомым с рыночной площади; в том, чтобы как-то понять, что тот человек, с которым на площади Кошута его случайно свела тревога, овладевшая им после прогулки с господином Эстером, и этот вот проводник исступленной ненависти, который сейчас стал, быть может, невольно, беспощадным хирургом всей его жизни, – определенно один человек; ибо не было ничего, что скрывало бы в этих пугающих чертах черты вчерашнего лица, а в том – и позавчерашнего, и всех-всех предыдущих, то есть в самом невинном

его изначальном облики уже содержалось сегодняшнее лицо, этот призрачно-холодный взгляд, который демонстративно бахвалится тем, что заметно и так, а именно что, благодаря своему неопровержимому авторитету, то есть более изобретательной, нежели у других, жестокости, именно он управляет каждым движением сметающего все на своем пути разрушительного потока, а Валушкиными мучениями, нескончаемыми этапами его падения, brutальной педагогической драмой, которую он разыгрывает со своим подопечным – как бы и этим подчеркивая, что такова цена исцеления, – он недвусмысленно наслаждается. Все более пристально вглядываясь в его лицо, Валушка осознавал, что в «призрачной его холодности» находит все меньше необъяснимой загадочности, ведь беспощадный взгляд этого человека мог быть только безошибочным отражением всего того, что он, пребывая в своем болезненном опьянении, не сумел разглядеть в течение тридцати пяти лет; возможно, подумал Валушка и тут же добавил: «да не возможно, а совершенно точно!», обозначив тем самым тот поворотный момент, когда он – словно сорвав покров со своего прежнего «я» – очнулся и от длительного беспомыслия, и, конечно, от прежнего сладостного опьянения. И тут же оборвалась глухая тишина, за чертами его телохранителя вместе с застывшей в нем неподвижной тенью погас ослепительный угол, и перед глазами Валушки проступил парк, он разглядел дорожку, потом металлические ворота, и уже несколько не удивился, осознав, что это он с его непростительной слепотой был тут выходцем из другого мира, а не люди, стоявшие у ворот больницы. В нем не осталось места ни изумлению, ни порыву к бегству, ибо ворвавшаяся в него *пустота* тут же, будто по мановению волшебного жезла, порохом выжгла нутро, и все, что в Валушке было его, раскатилось, распалось, истлело, оставив лишь едкий и горький вкус отрезвления на нёбе да ощущение боли в ногах, особенно – в левой. Рассеялся демонический морок, на проспекте Венкхейма еще рисовавший этих уродливых воинов мрака некими ирреальными порождениями обольстительного духа разрушения, и с неожиданно обретенной ясностью зрения он, глядя на них и вспоминая сотни других, виденных ранее их сотоварищей, вынужден был понять, что нет в них и не было ничего неземного и чуждого, и тем самым не только они, но также и их обольстительный князь разрушения лишились всякого «демонического» налета; однако

и сам он освободился от густеющей год от года пелены, искажающей зрение, от постыдных обманчивых миражей, из-за которых он, подделом заслужив славу полоумного, *«не мог разглядеть истинной сути вещей»*. Пробуждение было стремительным, бурным и действительно неожиданным, а осознание, что того человека, каким он себя представлял, больше не существует, – несомненным и окончательным, и потому в тот момент, когда, нерешительно потоптавшись на месте, отряд вместе с ним двинулся от ворот больницы и все здания, все столбы и все камни брусчатки снова встали на свои места, он – как нечто само собой разумеющееся – принял к сведению, что его «вновь желающий ориентироваться в окружающем мире разум» вместо судорожных метаний теперь готовится к беспристрастной инвентаризации всех – уже падающих – многолетних привычных опор его жизни. Ибо и в самом деле его дни и ночи, рассветы и закаты рушились у него на глазах, то, что еще вчера просто существовало в, казалось бы, вечной размеренности, действуя с изысканной незаметностью молчаливой динамо-машины, сегодня вдруг обрело сухой и грубый, резко отталкивающий и суровый, но вместе с тем отрезвляюще ясный смысл: его жилище в глубине сада, которое он так простодушно любил, утратило свое лживое обаяние, и теперь, когда оно на мгновение холодно и прощально снова мелькнуло перед глазами, он увидел лишь заплесневелые стены да просевший облупленный потолок принадлежащей Харреру постирочной; и к ней больше не вела дорожка, как уже никуда не вели никакие дороги, потому что для прежнего *небожителя* все лазейки, ходы и двери были замурованы, дабы выздоравливающему легче было увидеть иной, «ужасающе настоящий вход в мир». Он шагал в темной гуще овчинных тулупов и ватников, глядел себе под ноги, вспоминая «Пефедер», газетную Экспедицию, каморку ночного портье в гостинице «Комло», и понимал, что они уже недоступны, все улицы, перекрестки, площади и углы куда-то пропали, но извилистый маршрут своих каждодневных блужданий он видел отчетливо, целиком, как на карте, и поскольку под этой картой не просматривался реальный ландшафт, а в том, что открылось на его месте, он не смог бы сделать и шагу, то Валушка предпочел забыть о том, что вчера... прежде... в давние времена... находилось на месте этого бесприютного и чужого города, куда он вернулся теперь вновь

родившимся и пока что нетвердо держащимся на ногах человеком. Да, со временем он забудет утренние часы: ощущение полудремы, медленное пробуждение, свою кружку в горошек, из которой перед уходом он пил дымящийся чай, забудет рассвет, занимающийся, пока он шагает на станцию, и запах свежих газет в синевато мерцающем воздухе Экспедиции, а затем, с семи приблизительно до одиннадцати, почтовые ящики, дверные ручки, наружные подоконники и подворотные щели, забудет сотни привычных движений, необходимых, чтобы газеты – засунутые в щели, ящики, дверные ручки, а в двух местах даже просто под коврики у дверей – ежедневно доходили до адресатов. И сотрет в своей памяти неизменный вопрос, задаваемый госпоже Харрер, пробил ли уже полдень, когда он обычно выходит из дому, забудет гроыхание судков на кухне у господина Эстера и очередь на раздаче в ресторане гостиницы, забудет и дом на проспекте Венкхейма, подворотню, переднюю, осторожный стук в дверь, отпустит в небытие фортепиано, Баха и полумрак гостиной, который сменится окончательным мраком. Он больше не будет вспоминать господина Хагельмайера, не будет никому демонстрировать солнечное затмение, не будет мысленно представлять себе стойку, пивные кружки, клубы табачного дыма, плывущие сквозь нестройный шум голосов, и никогда больше не отправится – после закрытия заведения – в сторону Водонапорной башни... Он безвольно шагал под звуки «шаркающих башмаков и сапог», и когда вымотавшийся уже отряд, перебравшись на противоположную сторону Кёрёшского канала, проходил неподалеку от площади Мароти мимо дома, где он родился, то ни лицо матери, внезапно возникшее перед ним, ни голос из домофона, обрывки которого он сейчас услышал внутри себя, не сказали ему ничего; еще меньше говорил ему этот их бывший домик в три комнаты, видневшийся за голыми деревьями в глубине сада, – он скользнул по нему беглым взглядом и отвернулся. Ему не хотелось видеть ни это, ни другие места, связанные с его жизнью; следуя в шаге за жутким своим наставником, он решил на этом покончить с прощальной инспекцией, ибо здесь, у площади Мароти – неожиданно! – у него родилось ощущение, что, продолжив в таком же духе, он рискует быть смятым предательской горечью, зародилось опасное и загадочно саднящее чувство, которое подсказывало, что, невзирая на все лукавство, присутствовавшее в этом спокойном и

взвешенном прощальном смотре, а может быть, даже благодаря ему, «бесстрастная инвентаризация» и трезвый смотр прошлому связаны и с огромным риском. И хотя – решив больше не заниматься «забвением» чего бы то ни было – Валушка тут же вступил в борьбу с этим «опасным и загадочно саднящим чувством», он полагал, что все это – то есть возможный риск – ерунда, чему самым большим доказательством был он сам, который сумел «рассчитаться с лживыми миражами», о котором никто и предположить не мог ничего подобного и которому уже не грозят страдания от пережитых утрат, ибо он усвоил жестокий урок и может теперь утверждать, что стал «таким же, как все остальные». Охотней всего (не будь этой смертельной усталости) он прямо сейчас заявил бы им, что в его отношении они могут быть совершенно спокойны, его «сердце», как и у них, «мертво», он сказал бы, что отныне можно не насмехаться над ним, потому что он научился «крепко стоять на земле и ему теперь все понятно», что он больше не думает, будто «в мире есть волшебство», то есть вещи, которые существуют, хотя их не видно, поскольку он понял, что «нет силы выше, чем законы людей войны», и хотя он не отрицает, что поначалу пришел от них в ужас, он чувствует, что сможет к ним приспособиться, и «благодарен, что они разрешили ему заглянуть к ним в душу». Он двинулся вместе с ними от площади Мароти, ожидая, пока вернутся силы, поскольку хотел еще объяснить им, как наивно он заблуждался, теша себя иллюзией, будто видит громадный космос, в котором Земля – всего лишь миниатюрная точка, а мотором этого космоса в конечном счете является радостная гармония, которой «от начала времен проникнуты все звезды и все планеты», и был, пусть только представят себе, уверен в том, что все это очень правильно и у всего этого есть к тому же некий загадочный центр, нет, не смысл, а некая... легкая... легче пушинки... сфера, таинственное излучение которой не ощущают только рассеянные, а отрицают только глупцы. Ему очень хотелось, чтобы вместе с его иллюзиями ушла и нечеловеческая усталость, чтобы можно было еще рассказать им, что после этой, конечно же, для него ужасной ночи он окончательно протрезвел; вы знаете, сказал бы он, что я пережил все как бы зажмурившись, а когда открыл глаза, то этого гармоничного мироздания с его бесчисленными звездами и планетами как не бывало; я увидел ворота больницы, потом – дома, деревья по сторонам дороги

и вас, стоящих вокруг, и сразу почувствовал, что все, что действительно существует, встало в моей голове на свои места; я вглядывался в едва различимый между крышами горизонт и не видел на нем никакого таинственного мироздания, не видел себя и тех тридцати лет, в течение которых я только о нем и думал, словом, куда бы ни повернулся, везде было только то, что я видел: все обрело реальные очертания, «как в кинозале, когда включают свет». Так он сказал бы им, а еще рассказал бы, что чувствует себя человеком, который из безграничного пространства какого-то «исполинского шара» угодил в кажущийся с непривычки пугающе голым равнинный загон, из мира болезненных грез – в «пустынную явь», туда, где все вещи содержат в себе только их очевидную сущность и ни один элемент этой пустоши не превосходит себя самого, а все потому, что он понял, добавил бы он, что помимо этой Земли и того, что она несет на своей поверхности, нет ничего, зато существующее здесь имеет невероятный вес, громадную силу и растворенный внутри вещей и ни на что больше не направленный смысл. Он просил бы поверить ему, мол, теперь-то он тоже знает, что кроме того, что есть, нет «ни бога, ни дьявола», ведь нельзя же помимо того, что есть, апеллировать к чему-то *еще*, и объяснить можно только зло, а добру объяснения нет, из чего вытекает, что на самом деле «нет ни добра, ни зла» и миром правит совсем другой закон – закон сильного, с которым, пока он действительно самый сильный, не совладает никто. И едва ли возможно и нужно относиться серьезно к тому, что он может кому-то представиться «пленником чувства, переживаемого ограбленным человеком», нет, нет, объяснил бы он, ничего подобного, потому что, во-первых, в нем уже не осталось никаких чувств, во-вторых же, ну да, ему еще нужно время – не отсрочка! а немного времени, – пока этот его поврежденный мозг придет наконец в порядок, потому что в данный момент в нем все дребезжит, пульсирует и скрежещет и он не пригоден к тому, для чего предназначен, к тому, например, чтобы разобраться, как же так, все кругом выглядит прочным, как сталь, и само собой разумеющимся, а понять ничего невозможно, почему вещи вроде бы окончательные лишены четких контуров и как может вот эта ночь со всем, что в ходе нее случилось, одновременно быть такой ясной и такой темной... Но когда он дошел в своих размышлениях до этого места, они давно миновали центральную улицу и сидели уже

среди стиральных машин в магазине господина Шайбока, или в «Хозмаге», как они его называли, однако о том, сколько времени они провели там, «вследствие интенсивной умственной деятельности» он не имел представления; наставник его давно их покинул, а новый охранник, сидевший неподалеку, как раз дошел до последнего листа своего блокнота, из чего он предположил, что прошло, вероятно, не менее часа, но затем – решив: «вообще-то, какая разница», вернулся к тому, чем был занят еще до того, как очнуться, – продолжил растирать отмороженные пальцы ног. Скинув ботинки, он сидел, привалившись спиной к «своему» стиральному агрегату, с таким видом, будто расположился в этом помещении с давящим потолком, среди этих людей навеки; понаблюдав за склонившимся над блокнотом соседом, он снова надел башмаки, зашнуровал их и, поскольку считал, что уснуть сейчас было бы крайне опасно, решил изо всех сил держаться. Нет, нет, он ни в коем случае не заснет, а эта свинцовая усталость во всех его членах как-нибудь пройдет, и отпустит пульсирующая головная боль, и к нему вернется дар речи, потому что он непременно должен поговорить с остальными, должен еще рассказать им, что если бы он прислушивался к тем, кто был озабочен его судьбой, то не попал бы в такой переплет, и голова сейчас не трещала бы, он был бы решителен и уверен в себе, а всего-то и нужно было... всего-навсего... прислушаться к добрым советам, которыми его осыпали. Он непременно расскажет им о своей матери, которая день и ночь попрекала его и даже – в воспитательных целях! – вышвырнула его из дома, но это не помогло, не подействовало на него... вон она и вчера не упустила возможности, так сказать... пригрозить ему, что если он не вернется «на правильный путь», то она будет учить его «уму-разуму», таская за волосы; о матери и, конечно, конечно, о госпоже Эстер, чей пример тоже не образумил его, ведь до прошлого дня он принимал ее не за ту, кем она была, не видел в ней человека, сметающего все на своем пути к высшей цели – решительного, изошренного, беспощадного; он только сейчас увидел ее так отчетливо и резко, понял роль полицмейстера, понял, зачем нужен был чемодан и этот ее зычный голос, и понял, что надо было не падать духом, как он, а учиться, извлекать уроки – например, из того, как она вчера вечером в переулке Гонведов – наперекор ему и городскому начальнику – сделала, кажется, все, чтобы расчистить путь людям с рыночной

площади. Но подробней всего он расскажет им о господине Эстере, который годами с безграничным терпением разъяснял ему: того, что он видит, не существует, то, что он думает, – ложно; но он, дурачина, ему не верил и даже вообразил, будто Эстер стал жертвой глубокого заблуждения, в то время как заблуждался он сам, словом, он непременно должен будет все рассказать им о человеке, вне всяких сомнений, наиболее выдающемся среди всех, о том, кто видел и видит яснее, чем кто бы то ни было, и вовсе не удивительно, что от печали, рожденной истинным знанием, он, к сожалению, захворал. А ведь сколько раз, сидя в кресле в гостиной, Валушка слушал, как ему говорили: «Тот, кто думает, будто мир держится на добре или красоте, тот, дорогой мой друг, плохо кончит», – и чуть ли не каждый день господин Эстер твердил ему: «Извольте взглянуть на меня! И так будет с каждым, кто отказывается извлекать уроки из того, что буквально колет глаза», – но он, разумеется, ничего не видел, он был глух к предостережениям и теперь, вспоминая совместные годы, изумлялся, как Эстеру не надоедало выслушивать его вечные разглагольствования о свете, о небесах и о «завораживающей механике мироздания». Зато, размышлял Валушка, если бы только Эстер увидел его в эту минуту (или чуть позже, когда к нему вернутся силы), он немало бы изумился, что его ученик, на которого он убил столько времени, теперь в самом деле достоин носить это звание, да, действительно, он с удивлением обнаружил бы, что его наставления были все же не бесполезны, ведь он бы увидел, что отныне Валушка «оценивает вещи» исключительно «на основе того, что он слышал в гостиной». Каким образом Эстер мог бы все это увидеть, Валушка не имел ни малейшего представления, ведь с домом на проспекте Венкхейма было покончено, отныне он («Это решено...») окончательно принадлежит к этим людям, да, это решено, кивнул Валушка, потер горящие глаза и уперся ногами в корпус стоящей напротив стиральной машины, потому что почувствовал вдруг... что ледяной пол под ним куда то поплыл. Он еще успел отметить, как к его новому охраннику подходит другой их товарищ, берет у того блокнот, переворачивает несколько листов, потом спрашивает: «Это что?» И Валушкин охранник ворчит в ответ: «Что, что... отходную тебе написал...» – они ухмыляются... другой выхватывает блокнот и отшвыривает его, и последние фразы, которые еще до него дошли, были такие: «...ослепительное поскрипывание?..

обжигающего мороза?.. тоже мне, блин, писатель...» Последние – потому что ледяной пол под ним в этот момент уже накренился настолько, что он стал сползать, покатился, а затем полетел в какую-то бездонную пропасть, и все это продолжалось невероятно долго, он падал, беспомощно размахивая руками, потом наконец приземлился на что-то твердое – на тот же ледяной пол – и открыл глаза. Он уже не сидел, привалившись к стиральной машине, а лежал рядом с ней на линолеуме, сжавшись в комок, как еж, в которого тычут палкой, и всем телом дрожал от холода; довольно быстро он осознал, что не пол накренился под ним, это он сполз на пол, и провалился он вовсе не в пропасть, а в сон; гораздо труднее было осмыслить то, что он с ужасом обнаружил, когда кое-как поднялся: в магазине Шайбока он был один. Побегав между рядами стиральных машин, он убедился, что не ошибся: все ушли, его бросили, он и правда остался тут в одиночестве; как же так, изумлялся он, что случилось? «И что теперь будет?» – в голос кричал он, но потом, чтобы успокоиться, замедлил бег, заставил себя перейти на шаг и действительно вскоре сумел овладеть собой. Ведь тот факт, что они его приняли, думал он, уже никто не отменит, неважно, что их сейчас нет, их связь неразрывна, и решил до тех пор, пока они не вернутся за ним, отдохнуть и подумать, расставить по своим местам все то, чему за это время успел у них научиться. Вернувшись к «своей» стиральной машине, он снова уселся, привалившись спиной к ее стенке и вытянув ноги, и уже было погрузился в свои размышления, когда взгляд его упал на предмет, валявшийся в нескольких метрах от него и недалеко от места, где недавно сидел его новый телохранитель. Он сразу понял, что это отброшенный в сторону блокнот, и от этого ощутил жаркое волнение, потому что уверен был, что хозяин и автор этого дневника не мог так вот запросто бросить его, как какую-нибудь никому не нужную писанину, и решил, что, скорее всего, блокнот был оставлен ему. Подняв блокнот и расправив смявшиеся листки, он вернулся на место, положил, как и его владелец, блокнот на колени, взгляделся в неразборчивый угловатый почерк и серьезно и вдумчиво, забыв обо всем на свете, стал читать.

...и тогда уже не имело значения, куда нам двигаться, направо или налево, мы захлестнули все улицы и все площади, чувствуя только одно направление – то, откуда на нас взирал голый страх и желание сдаться в надежде на снисходительность, и для нас не существовало приказов, колебаний и риска, не существовало опасностей, потому что терять нам уже было нечего – все стало невыносимым и нестерпимым, невыносимыми стали дома и заборы, афишные тумбы и телеграфные столбы, магазины, почта и долетающий до нас теплый аромат пекарни, невыносимыми – система и правила, наглое мелочное принуждение, отчаянные усилия выставить здравый смысл против несокрушимой, хладнокровной и негибаемой всеохватной силы, и невыносимыми, ненавистными – те не имеющие объяснений подспорья, которые все же, всему вопреки поддерживают на земле человеческие дела. Никакой оглушительный вопль не мог разорвать постепенно окутавшее нас гробовое безмолвие, так мы и продвигались в молчании по удушающе темным улицам, под ослепительный скрип обжигающего мороза и шаркающие звуки погромного марша, неудержимые, напряженные, как струна, не видя соседа, не глядя один на другого, а если и глядя, то так, как глядит человек себе на руку или на ногу, ибо мы уже были единым телом, единым взглядом, неделимой, всесокрушающей, смертоносной и беспощадной яростью. Сопротивления мы не встречали: по воздуху, вдребезги разнося невымытые стекла витрин и окна прищурившихся домишек, летали тяжелые кирпичи, и бродячие кошки, слепившие нас глазами-прожекторами, застыв как парализованные, терпели, когда мы душили их, так же покорно, как выворачивались из растрескавшейся земли спящие молодые саженцы. Ничто не могло утолить наш стихийный гнев, порождаемый чувством обманутости, тревогой, горьким просветлением, и поскольку, как ни искали, мы так и не находили истинных причин отвращения и отчаяния, то с растущим остервенением крушили все, что попадалось нам на пути: взламывали магазины, вышвыривая на тротуар и растаптывая все, что можно было из них вышвырнуть, а то, что нельзя было, разбивали обломками жалюзи и железными прутьями и

устремлялись вперед, перешагивая через раскуроченные до полной неузнаваемости фены, куски мыла, ортопедические ботинки, костюмы, батоны и книги, консервы, детские игрушки и чемоданы, переворачивая брошенные машины и срывая какие-то жалкие вывески. Мы захватили и разгромили телефонную станцию, потому что заметили внутри свет, и вместе с толпой, сгрудившейся у входа, двинулись дальше, только когда изнасилованные до полусмерти барышни-телефонистки уже потеряли сознание и, судорожно изогнувшись, с зажатými между коленями руками, будто две использованные ветошки, соскользнули с окровавленного стола на пол, заваленный перевернутыми коммутаторами и рваными проводами. Мы видели, что больше уже не осталось ничего невозможного, убедились, что все обычные представления теперь бесполезны, и поняли, что от нас ничего не зависит, что мы тоже всего лишь жертва, на мгновенье мелькнувшая в ненасытно засасывающем все подряд пространстве, и точно так же не в состоянии изнутри мгновенья обозреть эту всепоглощающую огромность, как не ведает ничего о скорости увлекаемая ею пылинка, потому что порыв и предмет не могут знать друг о друге. Мы крушили все, что попадалось нам под руку, возвращаясь туда, где уже побывали, и невозможно было остановиться, затормозить, погромное упоение снова и снова побуждало нас превзойти себя, и мы неудовлетворенно и по-прежнему молчаливо шагали сквозь мешанину из раскуроченных фенов, из мыла, ортопедической обуви, из костюмов, батонов и книг, из консервов, детских игрушек и чемоданов, слой за слоем наращивая завалы на разгромленных улицах города, постепенно сливающиеся в сплошной мусорный полигон; и были готовы обрушиться на этих ничтожеств, барахтающихся в трясине ханжеского смирения и покорности в надежде, что бессловесность поможет им защититься то, что защититься невозможно. Мы опять оказались неподалеку от Храмовой площади, снаружи царил непроглядная тьма, а внутри нас – убийственная готовность к действию, оголтелая злость, горячий дурман протеста, что-то душащее и гнетущее. На противоположном конце одного из сходящихся в одну точку проулков в темноте прорезались очертания трех фигур (как

выяснилось вскоре, размытые силуэты принадлежали мужчине, женщине и ребенку), которые, заметив приближающийся к ним грозный отряд, тут же в испуге остановились и бочком, отступая вдоль стены, попытались тихо раствориться в густом мраке ночи, но было поздно, ничто уже не могло им помочь, и если до этого по дороге, как можно было предположить – домой, они еще могли прятаться в темных закоулках, то теперь укрыться им было негде, судьба их была решена, ибо там, где господствовал наш беспощадный закон, для таких уже не было места, потому что мы знали: в этих семейных гнездышках и без того еле теплящийся огонь должен быть погашен, и любые попытки спастись бесполезны, как бесполезна всякая мимикрия, бесполезны надежды, ибо надеждам, радостям, озорному смеху, лживому братству и благостному рождественскому умиротворению пришел неминуемый и бесповоротный конец. Некоторые из нас, человек двадцать-тридцать из первых рядов, решили догнать их. Выйдя на замкнутый квадрат Храмовой площади, мы обнаружили беглецов и, лавируя между кучами щебня и всякого хлама, двинулись за ними. Они были уже почти в безопасности, достигнув одной из улиц на противоположной стороне площади; однако скованные их движения говорили о том, что им требовалась каждая капелька стремительно улетающего самообладания, чтобы не броситься сломя голову наутек и сохранить уверенный вид людей, размеренным шагом возвращающихся домой. Нам, конечно, ничего бы не стоило в мгновение ока догнать беглецов, но тогда мы лишились бы еще неизведанного темного наслаждения, которое обещала погоня, полная иллюзорных надежд и рисков, и точно так же, как преследующий косулю охотник приканчивает свою жертву только тогда, когда животное, выбившееся из сил, смиряется со своей судьбой и чуть ли не само подставляется под выстрел, так и мы – не обрушились тут же на них, а дали поверить, что они еще могут уйти от беды, как-то выскользнуть, обливаясь горячечным потом, из смертельного поля нашего пристального внимания. Разумеется, в тот момент им было еще непонятно, идет ли речь о реальной угрозе или это смешное недоразумение, и прошла, по всей видимости, не одна минута, пока они осознали: никаких

ошибок и недоразумений тут нет, объектами этой туманной и так до конца и не прояснившейся угрозы являются они сами, мы преследуем именно их, это несомненно, они и никто другой служат для нашей мрачной и бессловесной когорты мишенями, потому что на нашем пути до того, как мы начали вламываться в дома, где за толстыми стенами тряслись обыватели, еще не попался никто, кроме отбившихся от стада трех овец, кто, на свою беду, был пригоден к тому, чтобы утолить и одновременно еще сильнее распалить в нас мучительную жажду заслуженной этими существами мести. Ребенок цеплялся за руку матери, та держала под руку мужа, а мужчина, все чаще и все испуганнее оглядываясь назад, все ускорял темп бегства; но все было тщетно, разрыв между нами не увеличивался, и если порой мы немного сбавляли шаг, то затем лишь, чтобы потом еще больше приблизиться к ним, потому что в нас вызывало особое, яростное возбуждение то, как они металась между вспыхивающей надеждой и тут же тающим шансом спастись. Когда они повернули в ближайший переулок направо, то и женщине, судорожно вцепившейся в локоть мужа, и время от времени с ужасом и недоумением оглядывающемуся ребенку, чтобы не упасть, приходилось бежать рядом с диктующим все более лихорадочный темп мужчиной, который – понятное дело – сам не решался пуститься бегом, явно опасаясь, что если он сделает это, то заставит бежать и нас, и тогда уж действительно у него не останется никаких надежд на то, чтобы уберечь семью и себя самого от эксцесса с непредсказуемыми последствиями. Злое, горькое наслаждение при виде маячивших перед нами сиротливых и жалких теней этих существ, едва ли догадывавшихся о том, что их ждет, было сильнее дурманящего очарования от зрелища разгромленного города, сильнее удовлетворения от уничтожения всякой ненужной дряни, потому что с этого времени постоянное сладостное оттягивание, дьявольская неспешность дарили нам терпкое, тайное, первобытное ощущение, которое сообщало всем, даже мельчайшим нашим движениям устрашающее достоинство, несокрушимую гордость варварского полчища, случайной орды, которая, может быть, уже завтра рассыплется, но сегодня нет

силы, способной встать у нее на пути, ибо люди эти даже смерть свою не поручат кому-то другому, придет час – и они поймут: вот и все, это финиш, они обожрались землей и небом, бедами и печалью, гордыней и страхом, а также тем подлым и искушающим бременем, которое не дает им отвыкнуть от жажды свободы. Откуда-то издали послышался глухой рокот, но вскоре затих. Неподалеку от нас несколько кошек, шмыгнув через дыру в заборе, растаяли в тишине двора. Стоял жгучий мороз, и колючий воздух драл горло. Ребенок закашлялся. К этому времени – они уже удалялись от центра города в направлении, явно противоположном тому, где находился их дом – мужчина, кажется, тоже понял, что положение их становится все безнадежнее: иногда он притормаживал у ворот какого-нибудь, вероятно, знакомого дома, но только на долю секунды, ведь легко было вычислить, что ко времени, когда на их стук или звонок им откроют хозяева и они скроются от преследователей, мы догоним их, не говоря о том, что он уже наверняка знал: все эти детские ухищрения ничего не дадут и как бы он ни старался, как бы ни изворачивался, их ждет неминуемая развязка. Но, как преследуемое животное, которое всегда пробегает всю отмеренную ему дистанцию, мужчина тоже не сдавался: с отчаянной решимостью отца семейства, защищающего своих кровных, он строил все новые планы, его неуверенными движениями руководили все новые надежды, которые, появившись, тут же и угасали, ибо он понимал, что все планы и все надежды обманчивы и обречены на провал. Они неожиданно свернули направо в узкую улочку, но к этому времени мы уже изучили город настолько (к тому же, как выяснилось, среди нас было и несколько местных), чтобы раскусить, что он задумал на этот раз; впятером или вшестером мы бегом обогнули квартал, и когда они выскочили на проспект, уже перерезали им дорогу к полицейскому отделению, так что им не осталось ничего другого, как, затравленно оглядываясь на упорно преследующий их молчаливый отряд, направиться в сторону железнодорожной станции. Мужчина взял измученного ребенка на руки, а затем, дойдя до угла, быстрым движением передал его женщине и что-то им крикнул; но жена, на какое-то время скрывшись из поля

зрения в переулке, вскоре вновь подбежала к мужчине, наверное, осознав, что не может бежать одна с ребенком и способна вынести что угодно, только не окончательную разлуку с мужем. Видимость, будто мы специально подталкиваем их в каком-то опасном для них направлении, полностью сбила их с толку, и если на следующем перекрестке они все же не отклонились от якобы заданного им курса – через переулок, назад, в сторону центра, – то лишь потому, что, скорее всего, надеялись, добравшись до станции, найти там спасительное убежище. Расстояние между нами постепенно сокращалось, они все больше выматывались, в то время как нами овладевал азарт, мы уже могли разглядеть в темноте сторбленную спину мужчины, длинную бахрому толстого, закинутого за спину шарфа женщины и болтающийся на руке ридикюль, шлепающий ее по бедру, уставившегося на нас через плечо отца ребенка в меховой ушанке, не завязанные уши которой время от времени вскидывались на ледяном ветру; точно так же наверняка и они уже четко видели наши тяжелые длиннополые одеяния, массивные, догоняющие их компанию грязные сапоги, кое у кого – дохлых кошек через плечо да железные прутья в руках. Когда они вышли на голую станционную площадь, нас отделяло от них расстояние в десять-двенадцать шагов, так что последние метры они проделали уже бегом и, рванув на себя тяжелую дверь, промчались по вымершему фойе мимо занавешенных окошечек кассы, но тут же последние их надежды развеялись – в помещениях станции на дверях и на окнах висели замки, в зале ожидания не было ни души, и если бы, выбежав на перрон, они не заметили слабый свет в каком-то служебном помещении, то наши совместные с этой семейкой похождения неизбежно на этом бы и закончились. Впрочем, и так они длились недолго: когда мы услышали, как в торце станционного здания с треском распаивается окно, и увидели, что через пути метнулась тень мужчины, который – по всей вероятности, в поисках помощи – бросился в сторону и, нырнув под сцепку стоявшего перед станцией товарняка, уже почти скрылся из виду, трое из нас, бросив остальных колупаться с замком у хлипкой двери служебной каморки, устремились в погоню и за путями, там, где

виднелись лишь несколько далеко отстоящих одна от другой хозяйственных построек, рассредоточившись, приблизились к нему сразу с трех сторон. Звук его оступающихся, скользящих по мерзлomu грунту шагов и тяжелое, со свистом дыхание точно указывали нам, где он находится, так что когда все мы выбежали на пашню, что раскинулась за дремлющими домами, поймать его уже не составляло труда. Да к этому времени мужчина и сам понимал, что выхода нет: немного еще пробежав по глубокой и до каменной твердости смерзшейся борозде, он, казалось, уткнулся в невидимую стену, от которой дорога вела лишь назад, и, как бы прижавшись спиной к беспросветному небу, повернулся к нам...

Проглатывая страницу за страницей, он перекидывал листки клетчатого спирального блокнота, и теперь, когда был прочитан последний – и следующий лист уже снова был первым, – этот фрагмент отчета, для его вчерашнего «я» бывший еще вопиюще преступным, теперь, при всех ужасающих подробностях, казался ему неким возвышающим наставлением, которое, вот, вернувшись к своему началу, как бы внушало тем самым: то, что ему не удалось с первого захода, удастся при следующем прочтении, например, удастся преодолеть нестерпимое отвращение прежде всего к тому, что все фразы построены здесь во множественном числе, удастся приноровиться, как приноравливается к бегу матери жеребенок, к неукротимому галопу мрачного повествования и наконец пробиться к глубинному, лишь ему адресованному смыслу этого наставления и таким образом получить закалку, дабы выдержать все, с чем придется столкнуться, когда, выйдя отсюда вслед за товарищами, он окунется «в вихрь бушующей за этими стенами брани». Еще дважды перечитав текст, он вынужден был прервать его изучение, так как строки уже расплывались перед его глазами, и к тому же он понял: даже если пока он не в состоянии – полностью! – «одолеть отвращение и закалить волю», смысл «послания», скрытого в этом тексте, он с безупречной точностью уяснил и так. Он сунул блокнот в карман и растер затекшие члены, а затем, дабы как-то унять не прошедшую после массажирования дрожь, поднялся и принялся расхаживать по проходу; но поскольку не помогало и это, он вскоре остановился, направился к выходу, распахнул дверь и, устремив взгляд вверх домов на противоположной

стороне улицы, стал вглядываться в пустоту. Там медленно проступала заря, жиденький свет которой, казалось, не заливал, а пропитывал восточную окраину неба; он смотрел на него, и его не особенно волновало, что это – рассвет; идет война, думал он, и просыпаться с зарей стоит тем, кто готов к беспощадной борьбе, война, прошелся он взглядам по гребням крыш, которая все перепутала, и в этой путанице не действуют никакие правила, каждый борется с каждым, и кроме победы, все прочие цели – бесцельны. В этой борьбе выстоит только тот, кто не знает, зачем это нужно, кто сможет, как он, примириться с тем, что целому нет объяснения, ибо этого целого, вспомнились ему слова Герцога, просто не существует; он почувствовал, что только теперь наконец-то понял, насколько прав был Эстер, ведь хаос в самом деле – естественное состояние мира, а стало быть, поскольку хаос никогда не кончается, невозможно предугадать исход. Да и стоит ли, продолжил Валушка свои размышления и пошевелил одеревеневшими пальцами ног в промерзших ботинках, стоит ли предугадывать и о чем-то судить, если даже сами слова – «хаос» и «исход» – совершенно излишни, ведь нет ничего, что им можно противопоставить, так что абсурден сам акт называния, все существующие в мире вещи просто свалены в кучу, и поскольку их смысл запечатан внутри них, все внешние отношения между ними непостижимо запутанны и сумбурны. Стоя в дверях, он вглядывался в свет зари и видел все эти «сваленные в кучу вещи»: в самом низу домофон и кит, плотные шторы в доме господина Эстера, судки для еды, револьвер и дымящаяся сигара, выше – старуха, не способная пятиться, вкус палинки и писк Герцога, поверх них – кровать в доме Харрера, прихожая с бронзовой дверной ручкой в доме на проспекте Венкхейма, а еще выше – драповое пальто, крыши домов, рассвет и он сам, с блокнотом в кармане стоящий в дверях; и все эти вещи дробятся и перемалываются, ощутимо и непредсказуемо уродуют и сминают друг друга под каким-то невероятным прессом. Война, тоскливая череда столкновений и битв, в которых – окинул Валушка глазами панораму спрессованного бытия – все события свершаются сами собой, поэтому он не только не изумился, но и нашел совершенно естественным, когда в довершение этого, спрессовывающего суть вещей, хаоса появился – с дюжиной солдат позади – еще и танк. До слуха его уже несколько минут доносился рокот мотора, а когда танк вывернул на проспект (отпихнув

с дороги газетный киоск), то он увидел и саму стальную громаду, но только мельком, потому что, отпрянув внутрь, тут же попятился к стиральным машинам, а затем, после краткого размышления, быстро прошел в конец зала и, выдавив заднюю дверь, поддавшуюся даже ему, попал во двор магазина. Кто-то мог бы сказать, что он трусил при виде бронированной махины, но Валушка так вовсе не думал, он просто... пока не чувствовал себя в достаточной степени подготовленным, и единственная его цель состояла в том, чтобы перевести дух; нужно выиграть время, стучало в его мозгу, пока на центральной улице гусеницами этот танк, он должен еще «закалиться», и если это удастся, то что может помешать ему... тоже каким-то образом... поучаствовать в нескончаемых битвах. Кто-то мог бы сказать, что сейчас, когда Валушка, перемахнув через ограду двора, бросился в переулок, он был похож на того мужчину со страниц блокнота и затравленный его взгляд и измученные движения якобы выдавали, что он окончательно сломлен, на что он ответил бы: ничего подобного, все это только видимость, он вовсе не сломлен! не ретируется! он просто... пока избегает открытой схватки. До вчерашнего дня Валушка, кружа по городу, никогда не задумывался над тем, где в точности он находится, однако теперь он самым тщательным образом определял и место, и направление, в котором он двинется дальше; из переулка позади магазина он попал на узкую улочку, что было хорошо; он и дальше выбирал такие же узкие улочки и проулки, опасаясь больших магистралей и даже тщательно обходя их, а если все же пересекал, то делал это, как ночная кошка у перекрестка: сначала выглядывал, прислушивался и наблюдал за происходящим и только потом шмыгал через улицу. Он продвигался то крадучись, то бегом, то опять притормаживал, будто бы собираясь остановиться, но если и знал, где он в данный момент находится и что делать у следующего перекрестка, то на вопрос, куда же он держит путь, не мог бы сказать ничего; он вообще не думал о том, откуда идет, и тем меньше о том – куда, таким образом, у его движения было направление, но не было цели, причем эту несообразность он принимал как нечто само собой разумеющееся. Он не питал никаких иллюзий, полагая, что все, что свершается, в порядке вещей, точнее, что все пребывает в естественном беспорядке, и в этом хаосе ему тоже непременно придется что-нибудь делать, но не сейчас, а позднее,

вскоре, с течением времени, когда он получит возможность собраться с силами, подготовиться, «перевести дух», но пока ему было совсем не до этого, пока приходилось все время красться, все время бежать, останавливаться и снова бежать, не зная покоя. О том, что за ним (в числе прочих) могли охотиться, он даже не думал, но то, что его преследует невезение, это он, разумеется, сознавал, ведь куда бы он ни сворачивал, везде натыкался на них, как бы ни старался их избежать, рано или поздно они появлялись на его пути, и он уже ощущал себя в лабиринте, из которого невозможно выбраться. Началось это в центре города, где в течение получаса он трижды сталкивался с ними почти нос к носу: сначала на улице Йокаи, затем – на улице Арпада, а также в том месте, где улица Сорок восьмого года выходит на площадь Петефи. И всякий раз лишь случайность спасала его, какая-нибудь глубокая подворотня или двор пекарни, как было у площади Петефи, а также присутствие духа и выдержка, с которыми он всякий раз, заметив их, нырял в подвернувшееся убежище и, затаив дыхание, дожидался, пока проедет танк и пройдут солдаты. Вернувшись назад к переулку Корвина, он повернул направо и, прокравшись кружным путем позади Судебной палаты (вкуче с тюрьмой), уже почти добрался до безопасных, как ему мнилось, улочек, прилегавших к городу восточнее Мясокомбината, когда где-то поблизости вдруг снова послышался рокот мотора – тот самый хриплый, громыхающий и рычащий звук, который ни с чем не спутаешь, и на углу улицы Кальвина, у аптеки, показался отряд солдат, которые – опять случайно, а скорее, как не без гордости подумал Валушка, благодаря его все точнее действующим рефлексам – не заметили, как он высунулся из-за массивной водоразборной колонки, чтобы оглядеться. Потому что он тут же отдернул голову и, затаившись, дождался, пока они устремятся – с известной только им целью – на улицу Кальмана, а затем во весь дух припустил вверх по переулку; он решил перебраться в Румынский квартал, где надеялся отсидеться, этот план казался заманчивым, но лишь до тех пор, пока на одном из перекрестков он опять чуть было не наскочил на железного монстра. Вот когда у него возникло чувство, будто танк, что бы он ни придумывал, заранее знает его замыслы и всякий раз оказывается перед ним, однако капитулировать перед вытекающей из этого мыслью – а именно что его преследуют – он не собирался; о нет, он не тот «человек из блокнота», чья судьба

«окончательно решена», и он – протестовал Валушка против неумолимо всплывающей в голове аналогии – не спасающаяся бегством «косуля», а сидящие в танке люди – не преследующие его «охотники». Ведь ему, двинулся он назад мимо болота, подступающего к кладбищу Святой Троицы, и в голову не придет задумываться о том, «идет ли речь о реальной угрозе или это смешное недоразумение», точно так же не будет он «иногда притормаживать» у ворот какого-нибудь, «вероятно, знакомого дома», еще чего не хватало; вслушиваясь время от времени в тишину, не доносится ли шум мотора, он следовал хотя и усталой походкой, но все же не «в ужасе», не «смирившись со своей судьбой» и тем более не «сиротливый и жалкий», как «преследуемое животное». Правда, он не мог не признать, что курс, которым он «следовал», уже давно определяла не его воля и что он не то что не приближается, но, скорее всего, отдаляется от места, где он мог бы наконец отдохнуть, и, конечно, нельзя отрицать: его немного смущало то (несущественное, впрочем!) обстоятельство, что объектом, к которому он сейчас приближался, была тоже станция, однако на этом, казалось ему, сходства, собственно, и заканчивались, и он решил, что если эти ополчившиеся на него фразы не оставят его в покое, то он просто возьмет да и выкинет этот блокнот, ведь нельзя же впустую растрачивать и без того тающие силы. К этому времени, будучи уже метрах в ста от станции, он и правда совсем ослаб даже в сравнении с недавним своим состоянием; ноги были натерты грубыми башмаками, и чтобы слегка разгрузить ту, что саднила особенно сильно, ему приходилось «хромать на левую»; при каждом вдохе резко кололо в груди, голова опять разрывалась от невыносимой пульсирующей боли, глаза горели, во рту пересохло, и поскольку он не мог держаться хотя бы за ремень (потерянной неизвестно когда и где) почтальонской сумки, то неудивительно, что измученный, с трудом державшийся на ногах Валушка подумал, будто слышит голос с того света, когда из подворотни, которую он уже миновал, его шепотом окликнул Харрер. Точнее сказать, Харрер его не окликнул, а что-то прошипел и тут же отчаянно замахал руками, призывая остановиться, и, с опаской оглядываясь на станцию, втащил его в подворотню. С полминуты оба стояли не шелохнувшись и не говоря ни слова. «Послушай, сынок, помочь я тебе не могу, мы друг друга не видели, не встречали, и если тебя поймают, говори, что обо мне со вчерашнего дня даже не слышал,

тсс! ни слова! только кивни, что запомнил все, вот-вот, так, – все это господин Харрер лихорадочно прошептал ему на ухо немного позже, но Валушка по-прежнему думал, что слушает привидение, только неясно было, почему в таком случае ему кажется столь знакомым гнилой запах, доносившийся изо рта визави. – Мы в точности знаем, чем ты занимался, – продолжило привидение, – и если бы не эта добрейшая женщина, не милостивая госпожа Эстер, то дела твои были бы совсем плохи, потому что ты у них в списке, но такое уж сердце у милостивой госпожи, это его тебе надо благодарить. За все, ты меня понимаешь?!» Валушка знал, что здесь ему следовало кивнуть, но поскольку он ничего не понял, то вынужден был отрицательно помотать головой. «Ты у них в розыске! Тебя вздернут!! Хотя это ты понимаешь?! – потерял терпение Харрер, по которому было заметно, что ему очень хочется как можно скорее отсюда смыться. – Послушай! Милостивая госпожа сказала мне, отправляйтесь, найдите этого бедолагу, хотя в это время она и не знала еще, что ты у них в списке, но это было и так понятно, ведь все видели, что ты с ними болтался всю ночь, а военным ведь объяснять бесполезно, они тебя тут же вздернут! Ты меня понимаешь?!» Валушка нетвердо кивнул. «Вот и ладно. Тогда руки в ноги и прочь отсюда! – махнул Харрер куда-то вдаль. – Тебе надо драпать от них, улепетывать, сию же минуту исчезнуть из города, и благодари милостивую госпожу Эстер... иди вон туда, у станции будь осторожен, а дальше по шпалам, вдоль железной дороги, там они не прочесывают. Ты все понял?!» Валушка снова кивнул. «Будем считать, что да. Как дойти до путей, это дело твое, меня это не касается, меня уже нет здесь, доберешься до ветки и – вдоль путей, не мотаться туда-сюда, не выкидывать фокусов, только прямо, понятно? Идти, пока ноги держат, потом спрятаться где-нибудь – в избушке, в сарае, да где угодно, а там видно будет, сказала милостивая госпожа, придумаем что-нибудь». – «Господин Харрер! – прошептал тут Валушка. – Да вы за меня не бойтесь, со мной теперь все в порядке... в том смысле, что я все знаю... я готов, буду ждать известий... но только... хочу вам сказать, я немного устал, было бы хорошо где-нибудь отдохнуть, потому что...» – «Ты в своем уме?! – оборвал его Харрер. – Какой отдых! Опять несешь какую-то околесицу! Тебя виселица ждет! Ну вот что! Меня не интересует, что ты будешь делать, мы с тобой не встречались, и не вздумай кому-

нибудь брякнуть, что я тут с тобой!.. Понятно? Тогда кивни! И вперед!» С этими словами привидение, словно последний призыв оно обратило к себе самому, выскользнуло из подворотни, и не успел Валушка опомниться, как оно уже скрылось из виду. То, что выбитый чем-то из колеи господин Харрер был не похож на себя вчерашнего и что внезапное его появление и правда напоминало призрачное видение, он еще мог понять, удивляться тут было нечему («Война ведь, в конце концов...»), однако как только Валушка остался один, предостережение Харрера («Тебя вздернут!») и внезапный страх, порожденный им, навалились на него таким жутким грузом, что когда он вышел из подворотни и двинулся дальше в сторону станционной площади, то вынужден был признать: он не только не может вернуть себе прежнюю «интенсивность» напряженного, как струна, внимания, но, увы, не может восстановить даже самого «необходимого минимума». Он снова почувствовал головокружение, ноги его заплетались, и так продолжалось до тех пор, пока в сознании не затихло ужасное слово («Вздернут!»); тогда он остановился, отогнал от себя то и дело всплывающий перед глазами танк, сконцентрировался на железнодорожных путях и – поскольку Харрера уже рядом не было – сказал самому себе: «Все будет хорошо». Все образуется, зашагал он по направлению к площади, да, конечно, лучше всего последовать сейчас совету Харрера, удалиться отсюда, не навсегда, а до тех пор только, пока в душе все не прояснится, уйти по шпалам от солдатни. Он дошел до казавшейся совершенно вымершей площади, прижался к стене и с необычной для него обстоятельностью осмотрел все вокруг до последнего закоулка, а затем, улучив подходящий момент, глубоко вздохнул и бросился через площадь, чтобы, углубившись в боковую улочку, добраться по ней до сторожки обходчика, что стояла у самых рельсов. Через площадь Валушка перебрался благополучно, уверенный, что никто его не заметил, однако в тот самый момент, когда он уже собирался броситься дальше, где-то рядом, внизу, чуть ли не у подножия ближайшей стены раздался тоненький голосок. Вряд ли можно сказать, что он испугался, ибо в робком призыве («Дядя, дядя... мы здесь...») не было ничего угрожающего, однако от неожиданности Валушка невольно отпрыгнул к проезжей части, причем правой ногой зацепился о тротуарный бордюр, и было похоже, что он неизбежно грохнется на мостовую.

Лишь с трудом, пританцовывая и нелепо размахивая руками, он устоял на ногах и, повернувшись на звук, сперва не узнал их, а когда узнал, не поверил своим глазам и подумал даже: нет, эти, в отличие от господина Харрера, настоящие привидения. У стены стояли сыновья полицмейстера, на обоих – собранные внизу гармошкой брючки и те самые «настоящие» полицейские кители, которые они таким памятным образом демонстрировали ему, как казалось теперь, целую вечность назад; они молча уставились на Валушку, потом младший, не выдержав, заревел, а его старший брат, чтобы скрыть, что и сам вот-вот разрыдается, угрожающе на него замахнулся. На них были те же самые полицейские мундиры, и мальчишки были вроде бы те же самые, тем не менее они даже близко не походили на тех двоих, которых он вчера вечером оставил в их жарко натопленной квартире; он подошел к ним и, ни о чем не спросив, сказал только: «Сию же минуту... ступайте отсюда домой...» Сию же минуту, повторил Валушка, давая понять интонацией, что сейчас не до объяснений, и взял их за плечи, чтобы слегка подтолкнуть, но те, словно не понимая, стояли как вкопанные и даже не шелохнулись. Младший, хлюпая носом, без остановки плакал, а старший ответил срывающимся голосом, что они не могут уйти отсюда: на рассвете их разбудил отец, одел в униформу, выстрелил в потолок и приказал им ждать его перед станцией, и еще кричал, что кругом предатели и шпионы, что надо эвакуироваться, и захлопнул за ними дверь со словами, что он будет сражаться за родину до последнего. «Мы замерзли, – тоже плаксиво скривил рот старший, – тут недавно был дядя Харрер, но он не обратил на нас никакого внимания, мой братишка все время дрожит и плачет, я не знаю, что делать с ним, мы не хотим домой, пока наш папка не протрезвеет, пожалуйста, заберите нас!» Валушка окинул глазами станционную площадь, потом перевел взгляд в другом направлении и обозрел проспект, после чего стал исследовать тротуарную плитку, на которой как раз стоял. Сантиметрах в десяти от своей ноги он заметил в ней плоскую рыжую гальку, вокруг которой почти полностью выкрошился бетон; видно было, что держится она только на честном слове. Он зацепил гальку носком башмака. Она выкатилась и, несколько раз кувырнувшись, замерла на ребре. Он не стал наклоняться и поднимать этот камешек, но все же смотрел на него, не отрывая взгляда. «А где твоя сумка?» – перестав на мгновение плакать,

спросил младший и продолжил всхлипывать, однако Валушка ему не ответил. Наконец, оторвавшись от гальки, он кивком головы указал направление, куда им идти, и тихо проговорил: «Марш домой!» Сам он двинулся в противоположную сторону; ощущая, что в душе царит уже не «пустота», а «печаль», он свернул у избушки обходчика к насыпи, остановился и прикрикнул на них, чтобы отвязались, а потом уж не делал и этого; так они и брели по шпалам: один – всхлипывая, другой – то и дело дергая брата за руку, чтобы не отставал, а третий – шагах в десяти впереди, «прихрамывая на левую», грустно и молчаливо.

Грустно и молчаливо трясли они головами, большей частью потупив взоры – словно в знакомстве с ним было что-то постыдное, что требовалось скрывать, – а если даже бросали вполголоса слово-другое («...Здесь?.. Не видели...»), то все же вели себя так, будто о чем-то упорно умалчивали, – ну ясно, они не хотят, чтобы я узнал, мелькнуло в его голове, когда он остановился у галантерейной лавки, потому что не смеют, думал он сокрушенно, боятся честно признаться и лгут, кипел в нем бессильный гнев, что понятия не имеют, где он находится, и именно это было самым мучительным, это немое всезнание окружающих, это всеобщее запирательство, маскируемое сочувствием в отводимых глазах, кое-где – плохо скрытые упреки и даже открыто обвиняющие его взгляды, в которых читалось все что угодно, кроме того, к чему относятся упреки и обвинения. Он расспрашивал их, останавливаясь у подворотен то на одной, то на другой стороне проспекта, но все напрасно, он ничего от них не узнал, казалось, что между ними стена, однако и бросить эти попытки было нельзя, так как именно их молчание убеждало его, что ищет он там, где нужно; но по мере того как росло число тех, кто осмелился высунуться на улицу, становилось все очевидней, что никто ему ничего не скажет, он не выведает у них, что же произошло. Все смотрели в сторону рыночной площади, а когда он дошел до пожарной машины возле кинотеатра, то туда же – нетерпеливо, желая не столько проинформировать его, сколько избавиться от любознательного зеваки – махнули рукой и солдаты, поливавшие огонь из брандспойтов, и после этого он уже никого не спрашивал, потому что все было ясно: тот, кого он искал, находится там, на площади, и скорее всего в жутком виде; запахнув на себе пальто, он то шагом, то переходя на бег, устремился туда, куда его буквально толкали, – мимо отеля «Комло», по мосту через Кёрёш,

между выстроившимися в два ряда зеваками. Но на площадь Кошута его не пустили: здесь, в устье проспекта, тоже были солдаты, на этот раз менее дружелюбные, они стояли к нему спиной, сомкнутым строем, направив в сторону площади автоматы, и когда Эстер попытался протиснуться дальше, один из них сперва, оглянувшись, что-то сказал, а затем, видя, что это не помогло, неожиданно повернулся к нему, снял автомат с предохранителя и, наставив оружие ему в грудь, грубо рявкнул: «Назад, старый хрыч! Тут ничего интересного нет!» Эстер испуганно отступил и стал было объяснять, что ему нужно, но тот – почуяв в его настойчивости опасность – еще больше занервничал, принял стойку, расставив ноги, вновь направил на Эстера автомат и еще яростней заорал: «Назад! Площадь оцеплена! Проход запрещен! Проваливай!» Угрожающие слова звучали так, что на дальнейшие разговоры можно было не рассчитывать, зловещее проявление боевой готовности говорило о том, что если сейчас не повиноваться, то в ответ на мало-мальски подозрительное движение будет открыт огонь, так что он вынужден был отступить и повернуть к мосту; но, не дойдя до него, Эстер остановился – военный заслон не только не испугал его, но скорее придавал решимости пытаться снова и снова, пока не получится, одолеть препятствие: раз не вышло с одной стороны, значит, нужно зайти с другой, может быть, с главной улицы, застучало в его в мозгу, и он быстро, насколько позволяли немощные ноги и легкие, припустил вдоль канала; обогнуть площадь, думал он задыхаясь, и, если не будет другой возможности, бросившись на солдат, прорваться через кордон, потому что попасть на площадь нужно было любой ценой – чтобы убедиться, нет ли там его друга, точнее, чтобы удостовериться, что он именно там, и тогда можно будет не опасаться самого ужасного, о чем он даже не смел подумать. Он бежал, спотыкаясь, вдоль набережной канала и без усталости повторял, мол, нельзя, нельзя сейчас терять голову, нужна дисциплина, невероятная выдержка, чтобы не поддаться страху, от которого холодело сердце, и вынуждал себя делать то, что до этого делал неосознанно: смотреть только перед собой и не оглядываться по сторонам. В самом деле, с тех пор как, набросив впопыхах пальто, без шляпы и трости, он выскочил из дому и устремился по направлению к центру города, господин Эстер, хоть и ощущал каждой клеточкой своего тела последствия варварского погрома, не смог бы заставить

себя даже бегло взглянуть на них, опасаясь совсем не зрелища, до этого ему дела не было: его волновала только судьба Валушки, и он страшно боялся обнаружить среди руин нечто такое, какой-то знак, который укажет ему на случившееся. Он боялся где-нибудь у подножья стены увидеть фуражку с лаковым козырьком или клочок темно-синей ткани от форменной шинели на тротуаре, башмак на проезжей части или брошенную почтальонскую сумку, из которой – словно кишки из раздавленной кошки – выглядывают несколько мятых газет. Все остальное его не интересовало, точнее сказать, он был не способен понять, что творилось вокруг, потому что повествование госпожи Харрер вновь и вновь буксовало в его памяти на одном и том же месте и, кроме само собою разумеющегося предположения, почему оно буксовало, в голове его больше ничего не умещалось, ему было неинтересно, что разгромили в городе, и было неинтересно, кто это все разгромил, его внимания, поглощенного только одним предметом, не хватало на то, чтобы воспринять последствия тех ночных событий, о которых он не только не знал, но даже и не догадывался! Он понимал, что его отчаяние не идет, вероятно, ни в какое сравнение с ошеломленным отчаянием человека, который мог бы сейчас увидеть весь город целиком, как понимал и то, что при таких масштабах беды вопрос, завывавший сиреной в его мозгу (где Валушка и что с ним случилось), всем другим показался бы ничтожным, между тем как его, застигнутого событиями преступно неподготовленным, он буквально терзал, вынуждая к безумному бегу вдоль набережной канала, замкнув его в этом беге, будто в темнице, из которой он не сумел бы выглянуть, даже будь в ней какая-то брешь. Дело в том, что в этом вопросе таился другой вопрос, и ему приходилось тащить на своих плечах и его: а что, если госпожа Харрер ввела его в заблуждение или супруг ее что-то напутал в этой неразберихе и поэтому вестница, явившаяся к нему на рассвете, быть может, невольно сказала ему неправду о судьбе своего постояльца; ему приходилось и верить им, и вместе с тем отгонять от себя слова женщины, казавшиеся полной бессмыслицей, ведь наблюдать эту вакханалию, видеть эти бесчеловечные злодеяния, оказаться живым свидетелем варварского представления и по-прежнему где-то бродить здесь целым и невредимым – это граничит с чудом, думал он; но столь же сомнительной и невыносимой была и обратная мысль: что он, «слишком поздно очнувшись», не смог

защитить Валушку и теперь, скорее всего, навеки лишился друга, «оставшись ни с чем», хотя еще пару часов назад ему было даровано все. Ибо после минувшей – для него тоже решающей – ночи, когда под утро в процессе его «генерального отступления» произошел заключительный поворот, у него в самом деле никого не осталось, кроме Валушки, и теперь единственным желанием его жизни было вернуть его, но для этого, понимал он, ему, вероятно, нужно вести себя гораздо рассудительнее, к примеру – подумал он в ту минуту, когда поднялся от набережной канала к центральной улице – подавить в себе «эти порывы крушить и ломать все вокруг», вернуть самообладание, ни на кого не «бросаться» и «не прорывать никакие кордоны». О нет, решил Эстер, на сей раз он будет вести себя совершенно иначе, не будет ничего требовать, а просто наведет справки, опишет приметы Валушки, чтобы можно было его «идентифицировать», а затем попросит позвать командира и расскажет ему, кто такой Валушка, объяснит, что залогом его невиновности служит вся его жизнь и ни в коем случае нельзя видеть в нем человека, способного в чем-то участвовать, а если он и участвовал в чем-либо, то впутался в это случайно и, понятным образом, не сумел найти выход из положения; его следует считать жертвой и сию же минуту освободить, ибо всякое обвинение в его случае – либо недоразумение, либо поклеп, и пускай ему отдадут Валушку как какую-нибудь «утерянную вещь», за которой, кроме него (покажет он на себя), все равно никто не придет. Дойдя в выборе подходящего метода и аргументации до этого места, он уже перестал сомневаться, что отыщет здесь своего друга; тем большим было его изумление, когда один из военных, стоявших в двойном оцеплении на площади Кошута, выслушав детальное описание внешности Валушки, категорически потряс головой. «Это исключено! Нет среди них такого, – сказал он. – Тут все сброд какой-то в овчинных тулупах... Шинель почтальонская?.. Форменная фуражка?.. Нет... – дернул солдат стволом автомата, мол, нечего тут задерживаться – ...таких точно здесь нет». – «Могу я задать еще только один вопрос? – спросил Эстер, жестом показывая, что готов тут же повиноваться. – Это единственное место, где их содержат, или... есть еще и другие?» – «Да все тут, сволочи, – презрительно отозвался военный. – А кого здесь нет, те либо удрали, что очень сомнительно, либо мы их нашли и они уже трупы!» – «Трупы?!» – голова у Эстера

закружилась, и он, не считаясь с приказом, пошатываясь двинулся за спинами вооруженных солдат вдоль оцепления, но оно, к сожалению, было слишком высоким и плотным, чтобы что-то за ним разглядеть, так что он, не зная, как заглушить звучащее в ушах жуткое слово, решил найти точку, с которой можно обозреть всю площадь; направившись в дальний угол рыночной площади, он остановился у разбитого входа в «Золотую аптеку», а затем, обнаружив в нескольких метрах от себя постамент, с которого была сброшена статуя, двинулся, все той же походкой сомнамбулы, в его сторону. Верхняя плита постамента находилась на уровне его живота, но старику, да еще в крайнем изнеможении, забраться на нее было не так-то просто; однако других возможностей не было, и, чтобы немедленно убедиться в явной ошибке говорившего с ним военного («Ведь он наверняка там, где ему еще быть?»), он, навалившись на постамент, после нескольких неловких попыток умудрился закинуть на него правое колено, после чего, немного передохнув, оттолкнулся другой ногой, ухватился руками за дальний край плиты и в конце концов, несколько раз едва не сорвавшись, забрался все же на постамент. Голова у него все еще кружилась, и от этого, а также от тех усилий, которые были потрачены на занятие наблюдательного поста, в первые мгновения вместо площади он видел перед собой только колышущуюся черную пелену, и вообще было очень сомнительно, что ему удастся просто удержаться на ногах; но потом картина мало-помалу стала проясняться... появился полукруг двойного оцепления... за ним, слева, между улицей Яноша Карачоня и выгоревшей часовней, – несколько джипов и четыре-пять грузовых машин с брезентовым верхом... и наконец, уже внутри оцепления, показалась совершенно безмолвная плотная толпа людей, неподвижно стоявших с заложенными за голову руками. Вряд ли кто-либо смог бы узреть в такой массе крестьянских шляп и шапок, да еще на таком расстоянии одну-единственную разыскиваемую им фигуру, однако Эстер ни минуты не сомневался, что если она действительно там, то глаза не подведут его, он сейчас был способен даже иголку отыскать в стоге сена, при условии, что той иголкой был бы Валушка, но увы... в этом стоге искать его было бесполезно; еще только приступая к осмотру площади, он уже понимал: здесь «пропажи» ему не найти, и если не так давно он едва не упал, услышав ответ солдата, то теперь засевшее в голове последнее слово этого ответа попросту

пригвоздило его к постаменту, и единственное, что он был в состоянии делать, – стоять и ошеломленно смотреть на толпу, зная, что в этом нет никакого смысла. Ему хотелось пошевелиться, хотелось спуститься на землю, и в то же время он больше всего боялся именно этого, потому что быть здесь и, окидывая глазами абсолютно не интересную ему массу людей, убеждаться, что среди них нет Валушки, было все-таки лучше, чем покинуть свой наблюдательный пост и столкнуться с чем-то, чего он точно не выдержит; несколько минут в нем боролись эти желания – уйти и остаться; стоило ему шевельнуться, как что-то шептало: нельзя, – а когда он повиновался, то сразу звучало: «Иди же!» – и то, что решение было им все-таки принято, он осознал, лишь когда обнаружил вдруг, что... идет и уже отдалился от пьедестала разбитой скульптуры шагов на двадцать. Вопросом о том, куда двигаться, он больше не задавался, потому что уверен был: какую дорогу ни выбрать, она все равно приведет его прямо к Валушке; все, что было теперь в его власти, рассуждал он, это в лучшем случае, как и прежде, смотреть только себе под ноги, не оглядываясь по сторонам, однако и в этом нет никакого проку, поднял он голову, все равно ведь придется открыть то, что должно ему открыться, и эта ходьба вслепую ни от чего уже не спасет; ему следует подготовиться к неизбежному, уговаривал он себя, постоянное это откладывание губительнее и, что важнее, – заключил он, – бессмысленнее определенности, но всю эту решимость как ветром сдуло, когда он, протиснувшись между джипами и грузовиками и почти уже миновав то место, где на площадь выходила улица Яноша Карачоня, бросил в ее просвет намеренно запоздалый взгляд – и заметил столпотворение. В начале улицы перед разгромленным входом в ателье мужского портного тротуар и даже отчасти проезжая часть были завалены бесчисленными пальто, пиджаками и брюками, а несколькими домами дальше стояла плотная группа из тридцати-сорока человек, по-видимому, сбежавшихся из окрестных домов; они что-то окружили, что именно – отсюда было не разобрать, однако что бы это ни было, Эстер тут же забыл о только что принятом решении сдержанно встретить все, что может ему открыться; словно одновременно в нем отказали все тормоза, он, поскользываясь, одолел препятствия из расшвырянных пальто, пиджаков и брюк и бросился во весь дух к зевакам, крича слова, которые слышал только он сам, и поэтому, приближаясь к толпе, все

сильней удивлялся, почему же они перед ним не посторонятся, не откроют для него хотя бы узкий проход. Больше того, едва только он подошел к импровизированному кордону, как из самой гущи навстречу ему неожиданно вынырнул толстенький коротышка с докторским саквояжем в руке; ухватив Эстера за локоть, он остановил его и потащил за собой от людского скопления, кивками указывая на противоположную сторону улицы и давая понять, что намеревается нечто сказать. То был доктор Провазник, чье появление – несмотря на немного странные жесты – нисколько не удивило его, но не по той очевидной причине, что врач жил неподалеку отсюда, а потому, что оно, его появление, с ужасающей однозначностью подтверждало страшную догадку о том, что именно предстоит ему здесь увидеть; подтверждало и полностью вписывалось в картину, в которой присутствие врача не требовало никаких объяснений, ибо его задача наверняка состояла в том, чтобы в сопровождении военных обходить улицы, отделяя раненых от тех, кого госпожа Харрер называла в своем рассказе жертвами. «Вы знаете... – со вздохом заговорил Провазник, решив, что они уже отошли достаточно далеко от толпы; остановившись, но все еще не отпуская локоть Эстера, он повернулся к нему: – ...Я бы вам не советовал на это смотреть... Такие зрелища не для вас, поверьте...» – сказал он со знанием дела, как беспристрастный профессионал, отдающий себе отчет и в том, что непосвященные реагируют на подобные зрелища истерически, и в том, что такие благие предостережения неизменно приводят к результатам, противоположным намерениям говорящего. Так случилось и в этот раз, здравый совет на Эстера не подействовал, скорее наоборот: если в нем еще оставалось нечто похожее на самообладание, то от слов доктора оно испарилось, и Эстер, пытаясь оттолкнуть от себя Провазника, бросился было к толпе, чтобы, если понадобится, силой прорваться через кольцо зевак; но Провазник все же не отступал от решения удержать его, и он, сделав еще несколько слабых попыток освободиться, просто-напросто выдохся, прекратил борьбу, опустил голову и спросил только: «Как это произошло?» – «Пока не могу сказать с полной определенностью, – помолчав, мрачно ответил Провазник, – но, по всей вероятности... это удушение... во всяком случае, внешние повреждения указывают на это. Можно предположить, – отпустил он локоть постепенно приходящего в себя

Эстера и возмущенно развел руками, – что несчастная жертва кричала и убийцы не могли иным способом заставить ее замолчать». Однако последних слов Эстер уже не услышал: он опять двинулся к толпе любопытных, и Провазник, довольный тем, что тот вроде бы несколько успокоился, уже не пытался ему помешать, а только махнул рукой и последовал за ним, ибо Эстер и правда, хотя он вовсе не успокоился, был уже совершенно не тот, что минуту назад: теперь он не бежал, дойдя до зевак, никого не расталкивал, а только касался их плеч, и те пропускали его вместе с доктором. Люди оборачивались и молча отодвигались, открывая проход, который, словно капкан, тут же смыкался у них за спиной, не оставляя пути назад; и он вынужден был смотреть на тело, лежавшее навзничь с раскинутыми руками, с разинутым ртом, вытаращенными глазами и головой, свесившейся с бордюра тротуара на проезжую часть; вынужден был выдерживать немигающий, застывший от ужаса взгляд, который уже никогда не расскажет, кто это сотворил, этот взгляд мог только молчать, как молчало в эту минуту окаменевшее лицо Эстера, по которому невозможно было прочесть, что больше потрясло его: зрелище тела, из которого зверским образом «вышибли душу», или факт, что он обнаружил здесь – хотя личность жертвы казалась ему более чем знакомой! – совсем не того, кого ожидал обнаружить. Тело было без пальто, в перекрученном вокруг торса темно-зеленом свитере, и поскольку никто не знал, как давно оно здесь лежит, невозможно было понять, замерзает ли оно прямо сейчас или уже насквозь промерзло; компетентно судить об этом мог только доктор Провазник, который, обойдя Эстера, уже продолжал не законченный, по-видимому, осмотр, а любопытствующие, еще плотней обступив врача и жадно следя за каждым его движением – с таким видом, будто наиглавнейшим сейчас был вопрос о возможности перевозить тело, – принялись шепотом обсуждать, переломятся ли руки, ноги или шея покойника, если его поднять. Таким образом, места внутри людского кольца стало еще меньше, и поэтому двое военных, которые, стоя неподалеку от жертвы, пытались хоть что-нибудь вытянуть из какой-то подавленной женщины, прервали допрос и решительным тоном потребовали от публики сдать назад, иначе, мол, вынуждены будут разогнать ее, когда же толпа наконец повиновалась их требованию, военные, вместо того чтобы продолжать опрашивать рыдающую в носовой платок

свидетельницу, тоже стали следить за Провазником, который пытался осторожно пошевелить сперва челюсть, а затем конечности трупa. Ничего не замечая вокруг себя, Эстер силился оторвать взгляд от ужасающего лица, но лежащая на нем леденящая печать смерти не отпускала его, пока суетившийся вокруг тела доктор на минуту не заслони́л мертвое лицо; и с этого момента никого, кроме Провазника, для Эстера больше не существовало, он словно бы приковал себя к доктору, боясь даже мельком опять увидеть эту печать; и поскольку он был уверен, что врач, временно подвизавшийся в качестве судмедэксперта, намеренно ввел его в заблуждение, обошел вместе с ним мертвое тело и, когда Провазник присел, чтобы продолжить осмотр, не своим голосом прокричал ему: «А Валушку?! Скажите, доктор! Валушку вы тоже нашли?!» При этом имени что-то бормотавшая рядом свидетельница осеклась и испуганно уставилась на военных, те, в свою очередь, – друг на друга, как будто как раз о нем только что и шел разговор, и в то время как врач, не поднимая глаз, отрицательно потряс головой (и шепнул еще предостерегающе: «Но об этом лучше не надо...»), один из военных вытащил из кармана какой-то список, пробежал глазами по строчкам и, ткнув в листок пальцем, показал товарищу, который окинул глазами Эстера и громовым голосом спросил: «Яноша Валушку?» Да, да, повернулся к ним Эстер, о нем он и говорит, «о нем самом»; на это военные попросили его немедленно рассказать все, что ему известно о «данном лице», и поскольку из этого Эстер смог заключить, что, в отличие от Провазника, они точно не будут увиливать от ответа, то, задав им прямой вопрос («Я хочу знать: жив ли он?»), тут же пустился в пространные разъяснения, призванные служить оправдательной речью, – но длилась она недолго. Его быстро остановили, сказав, что, во-первых, вопросы здесь задают они, а во-вторых, все эти «ангелы, форменные шинели и судки для обедов» их не интересуют и если он вознамерился сбить власти с толку, то «подобные бредни ему в этом не помогут»; им интересно только одно, заявили они, убежище, где он укрывается, ничего больше, но Эстер, истолковав их слова по-своему, заявил, что в этом плане они могут быть совершенно спокойны, лучшего убежища, чем его дом, для Валушки нельзя и придумать, и когда эти двое, уже теряя терпение, яростно переглянулись, он вынужден был признать, что и от них ему ничего не добиться. Только

не надо думать, добавил он, что их позиции так уж сильно расходятся, и если они хотят принять взвешенное решение, которое отвечало бы интересам общества, то в этом они, безусловно, могут рассчитывать на него, но только им надо понять: чтобы помочь им, он должен узнать о Валушке всю правду, и поскольку он видит, что как раз об этом, о самом важном, с ним не намерены говорить даже те, в чьи обязанности это входит, то пусть их не удивляет его заявление: пока ему не дадут однозначный ответ, он не будет отвечать на вопросы. Военные на это не отреагировали, а только переглянулись, после чего один из них кивнул: «Хорошо, я останусь здесь», – а его товарищ коротко бросил: «Ну пошли, старина!» – и, взяв Эстера за плечо, повел его по тут же открывшемуся проходу мимо испуганно уставившихся на них лиц. Эстер не протестовал, считая неожиданный поворот событий знаком, что его требования услышаны и ультиматум принят, а поскольку грубое обращение ничего не меняло по существу, он и не возмущался тем, что с ним обращались как с пленным. Пройдя шагов тридцать, следовавший у него за спиной солдат рявкнул: «Налево!» – и с улицы Яноша Карачоня они свернули к каналу. Он не знал, где закончится эта прогулка, но подчинился приказу с чувством, что, куда бы его ни вели, «там по крайней мере все выяснится», и решил пока что оставить расспросы, однако когда они вышли на берег канала, все же не удержался и вновь обратился к сопровождающему («Вы хотя бы скажите: он жив?!»), но тот осадил его так сурово, что стало ясно: лучше ему и правда помолчать; он двинулся дальше в указанном направлении, затем последовала очередная команда, и они перешли по Железному мосту, а когда на другом берегу канала сразу свернули в узкий переулок, Эстер понял, что их целью – ближайшей, во всяком случае – может быть только главная улица. О дальнейшем маршруте гадать было трудно, потому что в условиях чрезвычайного положения под морг или следственный изолятор могли занять любое общественное здание, к тому же единственным результатом этих напрасных раздумий стало то, что его опять стал терзать знакомый уже кошмар, но место действия теперь находилось не где-то «среди руин», «у подножья стены», а в таком вот импровизированном морге. Как он и предполагал, они вышли на главную улицу, и тогда он решил, что лучше всего будет прекратить гадания и все силы сосредоточить на том, чтобы, отогнав от себя кошмар, как-то разобраться в

порожденных этим кошмаром хаотических мыслях, прояснить, что в обрушившихся на него впечатлениях является фактами, отделить их от смутных догадок и домыслов, перебрать в памяти все слова и взгляды – вдруг он что-нибудь упустил; он попытался воспроизвести все детали, вплоть до мельчайших, которые опровергали самые мрачные из его предчувствий, то есть всё, что в высказываниях госпожи Харрер, Провазника и военных указывало на то, что Валушка всего лишь в плену, сидит где-нибудь в ожидании помощи, перепуганный, не понимающий, что случилось, – но живой. Однако, сколько бы он ни ломал голову, кроме рассказа госпожи Харрер, ничто не подкрепляло его надежд увидеть друга целым и невредимым, и вскоре он вынужден был признать, что все слова и подробности лишь толкают его в пучину неопределенности либо – снова вспомнил он распостертый на тротуаре труп – попросту отменяют любые надежды; обогнув здание Водоканала, они свернули на Ратушную, и он уже пожалел, что взялся за это рискованное предприятие по «наведению порядка» в мыслях, ибо теперь, как бы он ни противился, он то и дело вынужден был возвращаться к этому невероятно важному для него бездыханному телу. Вновь и вновь он пытался установить, кому же принадлежит оно, ибо если на улице Яноша Карачоня – после постыдного облегчения – его поразило простое созерцание смерти, то теперь – направляя мысли в весьма тревожное русло – его поразила догадка о личности жертвы; поразила и напугала, потому что убийца, во всяком случае Эстеру это представлялось сейчас совершенно определенно, выбрал жертву не наобум, а словно бы подготавливая его к тому, что он должен увидеть в конце этого путешествия. Смертельный удар, обрушившийся на женщину, попал почти по Валушке, и хотя умом Эстер не понимал, почему ему кажется, что судьба одной должна предрешить судьбу другого, он больше не мог открещиваться от мысли, что голова, свисавшая с тротуара на мостовую, принадлежала госпоже Пфлаум, а признав это, он вынужден был постоянно воображать теперь тело сына на месте застывшего в судорогах тела растерзанной матери. Он не мог объяснить себе, что могло привести ее ночью на улицу – именно эту женщину, которая, в отличие от него, была явно осведомлена о том, что там творится, и к тому же он был уверен – хотя и не знал ее близко, – что, подобно другим дамам в городе, она не имела обыкновения покидать дом с наступлением темноты; столь же

неправдоподобной казалась ему и другая версия, а именно что на нее напали дома, ибо нельзя было объяснить, зачем ее вытащили потом на улицу. Все это было слишком туманным и слишком загадочным, но тем более ясной и само собой разумеющейся ему казалась связь между матерью и ее сыном. Не было ничего, что оправдывало бы эту уверенность, но он и не думал, что его предчувствие нуждается в каких бы то ни было оправданиях, он прислушивался к интуиции, против которой был бессилён, она не позволила ему отступить назад: попытка освободиться от сводившей с ума неопределенности, к его изумлению, увенчалась успехом, взвешивание шансов, всех «за» и «против» привело к уничтожению каких-либо шансов вообще. Он больше не верил в благополучный исход, и на последних метрах пути, уже не теша себя никакими иллюзиями, без истерики, с глубочайшей апатией приготовился принять то, что его ожидает; когда конвоир снова крикнул: «Направо!» – он, сломленный, с кротостью на лице, вошел в городскую Управу; у лестницы к ним присоединился еще один вооруженный охранник, его провели наверх, и там, в окружении обывателей и солдат, он должен был дожидаться у входа в какое-то помещение; его сопровождающий исчез за дверью и, вскоре вернувшись, провел Эстера в просторный зал, где его усадили рядом с четырьмя другими штатскими. После того как его конвоир, сочтя свою миссию выполненной, удалился, Эстер покорно расположился на указанном ему стуле и даже не смог поднять головы, чтобы осмотреться, потому что опять почувствовал ту же дурноту, что накануне, – возможно, с мороза ему показалось, что в помещении слишком жарко, хотя в действительности воздух был еле теплым, а возможно, то была реакция организма, измученного пешим маршем и теперь – именно таким образом – заявившего о своем протесте. Лишь минуты спустя слабость и головокружение стали медленно отступать, ему удалось собраться с силами, и тут – достаточно было нескольких взглядов – он обнаружил: его привели не туда, куда следовало, его ожидает не то, на что он рассчитывал, и все терзания и мучительные раздумья, отчаяние и надежды оказались напрасными или, во всяком случае, преждевременными, ибо он не в тюрьме и не в морге, и он не найдет здесь ответа на свой вопрос; никакого смысла в дальнейших разговорах он не видел, как и в том, чтобы здесь находиться, ведь Валушки – оглянулся Эстер по сторонам – здесь нет, ни живого, ни

мертвого. Напротив него, на противоположной стороне зала, большие, выходящие на улицу окна были завешены тяжелыми шторами, утопающее в полумраке помещение примерно на уровне входной двери, казалось, было разделено невидимой линией на две равные части: на той половине, где вместе с четырьмя другими гражданскими у стены сидел Эстер, ближе к ее середине, в телогрейке и грубых башмаках, стоял человек с разбитым лицом, перед ним, заложив руки за спину, – молодой военный (офицер, насколько по знакам различия смог определить Эстер), а за ними, в дальнем углу, он с изумлением обнаружил... собственную жену, которая, явно не обращая внимания на происходящее, напряженно вглядывалась в другую, как бы отдельную, половину зала, где в сумраке – во всяком случае, отсюда и с первого взгляда – невозможно было различить ничего, кроме кресла, повернутого к ним высокой, пышно украшенной резьбой деревянной спинкой, в котором, насколько он помнил, всегда напыщенно восседал городской голова. Там, где сидели они, слева от Эстера, в непосредственной близости от него, со свистом дышал ошеломляющей тучности человек, который, словно бы для того, чтобы еще больше затруднить себе дыхание, время от времени пыхал душистой сигарой, затем, в сопровождении дикого кашля, оглядывался по сторонам в поисках чего-нибудь вроде пепельницы и, не найдя таковой, в очередной раз стряхивал пепел на ковер; трое других, что сидели справа, взволнованно ерзали на стульях, а когда Эстер, узнав их, тихо поздоровался, они ответили сдержанными кивками и – как будто вовсе не они еще вчера чуть ли не со слезами прощались с Эстером перед Джентльменским клубом Чулочно-носочной фабрики – холодно отвернулись; бегая глазами между госпожой Эстер, офицером и неясным пятном на другой половине зала, они продолжали следить за происходящим, время от времени шепотом обсуждая, кому из них начать, когда «господин лейтенант, – как выразился Волент, – собьет гонор с этого закоренелого негодяя» и наконец предоставит слово им. О том, что означали эти слова, догадаться было нетрудно, ибо, хотя горькая уверенность в судьбе Валушки и убила в Эстере всякое любопытство, он тоже следил за тем, что происходило посередине их половины зала между мужчиной с разбитым лицом и ничуть не скрывавшим ярости молодым офицеришкой, и достаточно быстро понял, что явную неприязнь трех господ и правда вызывал «гонор»

человека в ватнике и, судя по неукротимости этого «гонора», допрос (а это был именно он, хотя и напоминал скорее дуэль) едва ли мог быстро кончиться ко всеобщему удовлетворению участников. «Господин лейтенант», вынужденный прерваться из-за появления Эстера, держал паузу приблизительно до того момента, когда вновь прибывший, справившись с головокружением, тоже повернулся в их сторону, и все это время, вплотную приблизив к допрашиваемому перекошенное бессильной злобой лицо, молча буравил его глазами, словно хотел не просто принудить упорствующего противника к капитуляции, но испепелить его своим неподвижным сверкающим взглядом. Однако тот даже не дрогнул, такими приемами его было не сломить, он выдерживал взгляд офицера с каким-то упрямым насмешливым выражением на разбитом лице, а когда лейтенант, потеряв терпение, отвернулся, то и на это он отреагировал только беглой ухмылкой, дав понять, что ему глубоко наплевать, что будет делать с ним этот молодой вояка, сверкающий побрякушками на груди и испепеляющими «стальными» глазами: смирится ли он наконец со своим фиаско или опять (судя по следам на лице, уже не впервые, подумал Эстер) вернет его в руки тех, кому, несмотря на побои, не удалось уломать, то есть заставить дать показания, «эту упрямую, – неожиданно вторгся в сознание Эстера голос господина Волента, – бессловесную тварь». Офицер, сорвавшись, подскочил к пленному и заорал: «Ты долго еще будешь молчать, негодяй?!» – на что тот прорычал в ответ: «Я сказал, что согласен поговорить. Если дадите потом заряженный пистолет и на пять минут предоставите мне пустую комнату», – и дернул плечами, давая понять, что торговаться он не намерен; это все, что услышал Эстер, но и из этого можно было понять, что тут происходило до его прибытия: смысл дуэли состоял, очевидно, в том, чтобы заставить пленника в стеганой телогрейке заговорить, вытянуть из него какие-то сведения, которые – при всем их желании говорить самим – с напряженным любопытством ожидали услышать соседи Эстера. От него хотели что-то узнать о событиях прошлой ночи, хотя, по всей видимости, выбор пал на него случайно, с обычным армейским разгильдяйством его наобум выдернули из толпы «душегубов» на рыночной площади, желая узнать подробности, зафиксировать – как выразился сейчас лейтенант, приняв условие пленного («Хочешь шлепнуть себя, мне не жалко!»), –

«обстоятельства, факты, данные», чтобы, собрав необходимые сведения, наконец сформулировать исчерпывающее и успокоительное как для военных, так и для обывателей объяснение того, что произошло; Эстер, однако, уже не хотел ничего узнавать, будучи убежден, что все «обстоятельства, факты и данные» в лучшем, то есть самом кошмарном, случае могли разве что приоткрыть завесу над тем, что случилось с Валушкой, но не могли вернуть его, вот почему он готов был заткнуть себе уши, чтобы не слышать их диалога, который после затянувшейся паузы казался динамичным и складным и состоял из резких трескучих вопросов и вызывающе наглых, до жути холодных ответов; диалог начался, когда эти двое договорились о гарантиях выполнения выдвинутого условия.

– Как зовут?

– Тебя это не касается.

– Назовите фамилию, имя!

– Да пошел ты.

– Место жительства?

– Может, тебе еще имя матери подсказать?

– Отвечайте на заданные вопросы!

– Да ладно тебе, шут гороховый.

– Вы оскорбляете не меня, а власть!

– В гробу я видал твою власть.

– Мы с вами договорились, что вы будете отвечать на вопросы, но если будете продолжать в таком духе, то я вам не пистолет дам, а велю язык вырвать. Я не шучу. И стойте как полагается. С какой целью вы прибыли в город?

– Чтобы развлечься. Интересуюсь цирком. Всегда его обожал.

– Кто такой Герцог?

– Не знаю я никакого герцога. Никого не знаю.

– Не надо лгать!

– Почему?

– Потому что вам это не поможет. Я уже пообщался с некоторыми из ваших.

– Понятно. В таком случае разговаривать не о чем. Пистолет будет тот, что у тебя на поясе?

– Нет. Это Герцог вам приказал стреляться, если будет подавлен мятеж?

– Он никогда ничего не приказывает.

– А что же он делает?

– Что делает? Тебя это не касается.

– Отвечайте!

– Зачем? Все равно не поймешь ведь.

– Предупреждаю: вы зря стараетесь, вам не удастся вывести меня из терпения. Когда и где вы впервые присоединились к цирку?

– Да насрать мне на ваши предупреждения.

– Когда вы впервые увидели Герцога?

– Видел только его лицо. Однажды. Его всегда в шубу укутывают, когда выносят к нам из грузовика.

– Укутывают? Зачем?

– Потому что он мерзнет.

– Вы сказали, что видели его лицо. Опишите его!

– Описать? Ты не просто кретин, но еще и зануда.

– Где у него третий глаз? Сзади? Или на лбу?

– А ты приведи его, если посмеешь найти, и я тебе покажу.

– Почему я должен его бояться? Он что, в жабу меня превратит?

– А зачем тебя превращать? Ты жаба и есть.

– Н-да, пожалуй, я передумаю и собственноручно вышибу вам мозги!

– Можешь попробовать, шут гороховый.

– Это еще успеется. В какое время вчера Герцог показался из циркового фургона?

– В какое время... Ну точно, ты ни хрена не соображаешь.

– Вы сами слышали, что он сказал?

– Его слышали только те, кто был рядом.

– Тогда откуда вы знаете, что он сказал?

– Его слова понимает только Подручный. И оглашает всем остальным.

– И что он сказал, например, вчера вечером?

– Что таких жаб, как ты, надо уничтожать.

– Он приказал вам сравнивать все с землей! Это верно?!

- Он никогда не приказывает.
- «И построить новое целое из руин!» Не так ли?!
- Да ты неплохо осведомлен, шут гороховый.
- Что это значит? Построить новое целое из руин?!
- Тебе объяснять бесполезно.
- Хорошо. Назовите ваш род занятий. Я смотрю, на бомжа вроде не похожи.
- На себя посмотри. На кого ты похож? Что за цацки на грудь нацепил? Я бы так не позорился.
- Я спросил, чем вы занимаетесь.
- До сих пор на вас, тварей, пахал.
- Выходит, что вы мужик?
- Мужик – это ты.
- Судя по речи, вы человек образованный.
- Смени пластинку, несчастный паяц.
- Ну что же, я думаю, вас устроит, если я пристрелю вас собственноручно. Как бешеную собаку!
- Устроит.
- Но почему?
- Устал для вас землю рыть.
- Что вы хотите сказать?
- Дальше будешь рыть сам. Ты ведь это умеешь. Роешь вон, как навозный жук, и даже кайф от этого ловишь. А с меня достаточно.
- Это какой-то намек? Иносказание? Так?
- Ну точно. Ведь я человек образованный. Выражаюсь иносказаниями... Мне кажется, я очень плохо кончу: перед смертью меня от тебя стошнит.
- Скажите: когда Герцога унесли в фургон, вы сразу покинули площадь? Кто был зачинщиком? Можете описать его? Кто отдавал команды что делать? Кто предложил разбиться на группы, когда вы дошли до почтового отделения?
- Какое воображение!
- Назовите руководителей. Как их зовут?
- Руководитель у нас один. Но вы его никогда не поймаете.
- Он сбежал? Откуда вы это знаете? Он вам говорил, куда собирается?
- Вам его *никогда* не поймать!

– Может быть, он бесплотный, этот ваш Герцог? Как джинн из бутылки?

– Все гораздо сложнее. Он из плоти и крови, только это – иная плоть и иная кровь.

– Если вам уже все равно, может, вы все же объясните: чем он околдовал вас? Он вообще существует, этот ваш Герцог? Зачем вы напали на город? Зачем явились сюда? Чтобы разрушить его? Голыми руками? Чего вы хотели? Мне это непонятно.

– Я не могу ответить сразу на столько вопросов.

– Ответьте тогда на один: вы убивали людей?

– Убивал. Но мало.

– Как это понимать?!

– Можно было и больше.

– Вы убили ребенка на станции. Я сейчас спрашиваю не как следователь, а как человек человека: для вас нет ничего святого?!

– Как человек человеку скажу: ничего. Так ты дашь наконец мне обещанный пистолет?

– Думаю, будет правильней, если я сверну тебе шею. Медленно, чтобы успеть насладиться.

– К ребенку я отношения не имел. Ну, сверни, если так уж хочется.

– А те сотни людей, что были на площади, – они все такие, как вы?

– Откуда мне знать?

– Я чувствую, это меня сейчас вырвет от вас.

– Ну, все же достал я тебя. Вон как рожа задергалась. А где же военная выдержка?

– Стоять смирно!

– Не могу! Нос свербит, да и руки вы мне за спиной сковали.

– Допрос окончен! Передаю вас военному трибуналу! Убирайтесь!!!

– Ты мне пистолет обещал.

– Вон отсюда!!!

– Вроде бы офицер, а трепло. Трибунал. Ты в своем уме? Тебя что, не проинформировали, что у вас ничего не работает? Какой еще трибунал?

– Я сказал: убирайтесь!!!

– Ишь как перекосило тебя! Правильно я сказал – паяц. Ну ладно. Прощай, шут гороховый.

У выхода стояли двое солдат, и когда человек в телогрейке дошел до них, они схватили его и, вытащив из зала, захлопнули двери. Слышно было, как они волокут его вниз по лестнице, но затем шум затих, офицер одернул мундир, а сидевшие у стены стали следить за тем, как он справится с яростью, еще минуту назад буквально разрывавшей его на части. Трудно было понять, чего ожидал от него каждый из присутствующих, но скорее всего – за исключением одного – все ждали, что лейтенант сделает какое-то адресованное лично им замечание, скажет что-нибудь об этой твари в фуфайке, и это сплотит их и позволит им тоже высказать свое возмущение. За исключением одного – потому что на Эстера состоявшийся у него на глазах допрос подействовал вовсе не так, как на остальных: то, что здесь прозвучало и что выяснилось из бурного диалога о человеке со скованными за спиной руками, не возмутило его, а повергло в еще более безысходную, чем прежде, апатию, окончательно утвердив его в мысли, что Валушка, попав в окружение подобных людей, а все признаки говорили как раз об этом, конечно, не мог среди них уцелеть. Эстер уже не хотел, да и не имел возможности о чем бы то ни было «заявлять», равно как и принимать участие в яростном перешептывании, которое – поскольку лейтенант между тем овладел собой и никаких «лично им адресованных» замечаний и «сплывающих» взрывов эмоций с его стороны не последовало – сидевшие у стены затеяли между собой; ибо Эстеру было все равно, «какой негодяй этот голодранец!», его не интересовало, «берет ли вообще таких изуверов пуля?!», и когда, явно в расчете на одобрение, сидевший по соседству господин Волент прошептал: «Этот безбожный злодей не заслуживает даже смерти, не так ли?» – то на этот раз Эстер отреагировал на попытку дружеского сближения ничего не значащим кивком. Объятый со всех сторон негодующим шепотом, он продолжал неподвижно сидеть, измученно глядя перед собой, и даже не заметил, как остальные неожиданно замолчали. Он не услышал, как открылась дверь, и не поднял головы, когда кто-то бесшумно проследовал мимо него, не заметил, как лейтенант вызвал на середину кого-то из тех, кто сидел у стены, а когда все же встрепенулся, то вполне мог бы удивиться, обнаружив на месте уведенного пленника своего тучного

соседа, а сзади, в дальнем углу, – Харрера, который что-то лихорадочно рассказывал госпоже Эстер; но удивления Эстер не испытал, неожиданная для него смена действующих лиц нимало не поколебала его полного равнодушия к происходящим событиям, и поэтому он не придал никакого значения тому, что Харрер – в то время как женщина, оставив его в углу, направилась к лейтенанту для того, вероятно, чтобы передать доставленную им важную информацию, – сперва подмигивая Эстеру, а затем успокаивающими жестами (дескать, уже «все в порядке») что-то определенно пытался ему сообщить. Он понятия не имел, что ему нужно и что означают эти подмигивания и все более заметные ободряющие жесты из противоположного угла, однако, что бы они ни значили, Эстер отнесся к ним с полным безразличием и, к явной досаде Харрера, вскоре отвернулся. Он смотрел на офицера, который, часто кивая, внимательно слушал что-то шептавшую ему госпожу Эстер, хотя о чем шел у них разговор, он понял, только когда лейтенант, доверительным взглядом поблагодарив госпожу Эстер и прервав уже начатый было допрос нового свидетеля, развернулся, решительным шагом прошел к председательскому креслу на другой половине конференц-зала и, вытянувшись в струнку, доложил: «Господин подполковник, наш посыльный вернулся. По его информации, на данный момент господин полицмейстер по-прежнему пребывает в своей квартире и по причине алкогольного опьянения его невозможно сюда доставить». – «Что такое?!» – раздался резкий и раздраженный голос, как будто его обладателя неожиданно вывели из глубоких раздумий. «Смею доложить, он надрался. Полицейский начальник, которого мы разыскиваем, в дупель пьян, и его не удастся привести в чувство». Какое-то время Эстер тщетно вглядывался в полумрак, особенно густой в противоположной половине зала, – там по-прежнему никого не было, но позднее, понимая, что за высокой спинкой огромного, словно рассчитанного на великанов кресла все же кто-то должен скрываться, он обнаружил в сумеречном свете кисть руки, медленно опустившуюся на украшенный резьбой правый подлокотник. «Какая дыра! – проскрипел опять тот же голос. – Один назюзюкался как свинья, другой наложил в штаны, засел дома и не желает являться сюда даже под охраной... Что вы скажете об этих трусливых собаках?!» – «Мы должны принять меры, господин подполковник!» – «Согласен! Повязать обоих каналов и срочно

доставить ко мне!» – «Слушаюсь, господин подполковник! – щелкнул каблуками лейтенант и, отдав необходимые распоряжения стоявшим в дверях солдатам, спросил: – Разрешите продолжить допрос?» – на что незримый хозяин высокого кресла ответил с той вялой ноткой фамильярности («Ну, продолжайте, дружище Геза...»), которая ясно дала понять Эстеру, что, с одной стороны, тот, разумеется, признает необходимость корректной процедуры, а с другой стороны, не скрывает, сколь мучительно для него сознание, что его лейтенант, достойный куда более важных дел, вынужден заниматься подобными глупостями. В том, в какой степени все это верно и как безошибочно – хотя и окольным путем – он обнаружил истинную причину незримости подполковника, Эстер, который только теперь, спустя долгое время кое-как одолел уныние, удостоверился много позже, ибо пока, с интересом исследовав, насколько было возможно, загадочный феномен, он лишь констатировал, что кресло, водруженное посередине освобожденной от прочих вещей половине зала, не просто символизировало желание человека, руководившего допросами и, вероятно, вообще всей армейской акцией, остаться в тени – оно к тому же было повернуто к торцевой стене знаменитого некогда помещения, на которой, почти целиком закрывая собой темно-зеленые шелковые обои, в золоченой раме висела огромных размеров картина с батальной сценой, напоминавшей о былой славе города. И это было все, что ему удалось – да и то скорее лишь в виде неопределенной догадки – осознать в первую минуту, однако на остальные вопросы, связанные с этим чудаковатым командиром доблестных ратников, прибывших с освободительной миссией, – например, по какой причине изгнали свет, а если уж непременно («Из соображений безопасности, надо думать...») понадобилось задернуть шторы, то почему не включили две люстры под потолком и что на самом деле делал подполковник в полумраке этой импровизированной штаб-квартиры, сидя спиной к присутствующим и лицом к историческому панно, – ответить на них он оказался не в состоянии хотя бы уже потому, что в это время из противоположного угла к нему прокрался Харрер, сел рядом на освободившийся стул и уставился в зал, как будто больше всего на свете его сейчас волновали свидетельские показания, которые – по возвращении лейтенанта – стал давать бывший сосед Эстера; но при этом Харрер, покашливая, пытался дать знать, что подсел к Эстеру

потому, что должен всенепременно сообщить ему нечто, что столь досадным образом не удалось донести с помощью подмигиваний и жестов. «С ним все в полном порядке! – не отрывая взгляда от лейтенанта, прошептал Харрер, когда, как ему показалось, внимание офицера и всей троицы их соседей полностью приковали к себе события в центре зала. – Но об этом никому ни слова, господин директор! Вы ни о чем не знаете! Если спросят, скажите, что со вчерашнего дня в глаза его не видали! Вы меня поняли?» – «Нет! – посмотрел на него Эстер. – Вы о ком говорите?» – «Не поворачивайтесь! – прошипел ему Харрер, а затем, с трудом срывая свое беспокойство из-за того, что вновь приходится поминать человека, которого он не хотел называть, повторил с нажимом: – Ну о нем! Я нашел его около станции и объяснил, куда надо бежать, он уже за горами, за долами, ваше дело, если будут спрашивать, все отрицать! – объяснял он вздохом, и когда, покосившись на Волента и компанию, понял, что те уже обратили внимание на их шушуканье, повторил только: – Отрицать!» Эстер, недоумевающая, уставился перед собой («Что отрицать?.. Кто этот... он?»), и вдруг ему стало жарко, он вскинул голову, и вопреки предостережениям Харрера из груди его вырвался если не вопль, то все же достаточно громкое восклицание («Он жив?!»), которое привлекло к ним внимание. На что Харрер, заметив разгневанный взгляд лейтенанта, растерянно ухмыльнулся и развел руками, как бы оправдываясь: мол, за действия своего соседа он ответственности не несет; но лейтенант – по всей вероятности, из-за этой его виноватой ухмылки, скрыть которую было уже невозможно – пришел в еще большую ярость, и Харрер, опасаясь, что «господин директор» одним этим воплем не ограничится, тут же вскочил, тихонько, на цыпочках, дабы не нарушить ход допроса еще и стуком каблуков, скользнул вдоль стены в дальний угол и сел за спиной у женщины, которая с неподвижным лицом следила за мужем. Эстер ринулся было за ним, но едва он вскочил, грозный окрик лейтенанта («Попрошу тишины!») вынудил его сесть на место, после чего, молниеносно обдумав услышанное, он решил, что штурмовать Харрера новыми вопросами совершенно бессмысленно, ведь он наверняка повторит только то, что в своей осторожной манере уже сообщил ему. А выслушивать еще раз то же самое не было никакой нужды, ведь он все уже понял: и кто этот «он», и при чем здесь

«станция», и что значит «за горами, за долами»; тем не менее страх перед разочарованием не дал ему впасть в эйфорию; осторожно посмаковав все эти слова, он решил, что их достоверность нужно еще самым тщательным образом проверить, однако некоторое время спустя невероятное это известие все же прорвало хлипкую дамбу его сомнений, сметя все опасения, и потребность в проверке отпала сама собой. Ведь все, что Эстер сейчас услышал, вызвало в его памяти рассказ госпожи Харрер, и в тот же момент до него дошло, что полученное известие во всех своих пунктах правдиво, потому что оно неопровержимым образом подтверждало ту информацию, которую он получил на рассвете, а та, в свою очередь, объясняла то, о чем он узнал сейчас: словно в свете молнии увидел он Харрера, увидел, как он направляется к станции, как разговаривает с Валушкой, а затем увидел своего друга – уже где-то за городом – и почувствовал огромное облегчение, как будто с плеч свалился невероятный груз, который и правда давил на него с той минуты, когда он покинул дом на проспекте Венкхейма. Облегчение – и вместе с тем какое-то совсем новое беспокойство, ибо, поразмыслив, он понял, что лучшего места, чем эта импровизированная штаб-квартира, где он оказался в силу случайности или скорее недоразумения, нельзя и придумать, потому что именно здесь он мог решить дело своего друга и снять с Валушки все обвинения, ежели таковые по ошибке были ему предъявлены. Он и думать забыл о недавнем бессильном отчаянии и даже немного опередил события, которые еще только ожидали его, но спохватившись, что с головой ушел в обдумывание предстоящего возвращения Валушки, он заставил себя вернуться к реальности и сконцентрироваться на происходящем посередине зала допросе – ведь в конце концов, думал он, для внесения ясности в дело Валушки не помешает соотнести свои разъяснения с показаниями других свидетелей. А посему Эстер весь обратился в слух и уже через несколько фраз догадался, что невероятно тучный его сосед, отвечавший сейчас на вопросы, был не кто иной, как директор цирка, или держатель антрепризы – так называл себя этот человек, больше всего напомилавший Эстеру средневекового балканского феодала, настойчиво, но в чрезвычайно любезной манере поправляя лейтенанта, в то время как лейтенант, исходя, вероятно, из текста «патента на цирковую деятельность», который он держал в руках и иногда

цитировал, невзирая на поправки, называл его – когда время от времени пытался перебить извергаемый свидетелем поток слов – просто «руководителем труппы». Но, увы, все усилия, все приказы «отвечать только на заданные вопросы» не имели успеха, выбивающийся из сил офицер не то что прервать – словечко едва мог вставить, ибо Директора, который на каждое предупреждение отвечал легким поклоном и словами «о да, разумеется», выбить из колеи было невозможно: всякий раз он продолжал с того места, где остановился, и после нетерпеливых призывов к порядку не просто возвращался к прежнему ходу мыслей, но, по сути, ни на секунду не прерывал своих рассуждений, которые, как он – немного повышенным тоном, явно адресованным противоположной стороне зала – неоднократно подчеркивал, «должны подвести господ офицеров к лучшему пониманию сущности искусства вообще и циркового искусства в особенности». Он говорил о природе искусства и («в нашем случае!») совершенно необходимом признании его тысячелетних прав и свобод; о том, что неожиданное, чрезвычайное и шокирующее – тут он описал потухшей сигарой круг в воздухе – всегда было такой же неотделимой частью большого искусства, как и вечно сопутствующая ему «неподготовленность» публики и ее «непредсказуемая реакция» на революционные новшества; необычность зрелища, кивнул он опять попытавшемуся встрять лейтенанту, может вступить в конфликт с невежеством масс, из чего совершенно не вытекает необходимость под нажимом невежества ограничивать, как тут, кажется, предлагали отдельные местные очевидцы, свободу творцов, непрерывно одаривающих человечество новыми достижениями; не стоит этого делать хотя бы уже потому – не преминул сослаться Директор на свой многолетний опыт, – что публика, несмотря на ее незрелость, и это он утверждает со знанием дела, интересуется только тем, что своей необычностью превосходит ее ожидания, то есть тем, что она поначалу может воспринимать очень «своеобразно», но затем будет требовать этого с неумной жадностью. Ему кажется, продолжал Директор, что он находится в кругу мужей, с которыми можно говорить откровенно, так что, касаясь непосредственно тех вопросов, которые интересуют господина лейтенанта, он позволит себе в качестве краткого отступления сделать следующее замечание: как бы трудно это ни было, следует констатировать, что в упомянутом противоборстве

раскрепощающего искусства и незрелого восприятия надежд на благоприятный исход, мягко говоря, не так много, ибо публика, «будто ее сам Творец сбрызнул каким-то фиксирующим лаком», так и застыла в этой своей незрелости, и поэтому незавидна судьба артиста, вознамерившегося духовно возвысить публику силой своего нестандартного номера. Незавидна, звонким голосом повторил Директор, и если господин лейтенант, почтительно повел он сигарой в сторону офицера, после этого спросит, считает ли он, а также его замечательные коллеги, те скромные, но настойчивые усилия, которые они предпринимают в этих условиях, подвигом или насмешкой над здравым смыслом, то по причине, которую они, вероятно, сочтут уважительной, он предпочтет не высказываться об этом; но как бы там ни было, он полагает, что в свете вышеозначенной дилеммы и после этого отступления им станет понятно, почему в душе его нет ни малейших сомнений, что теперь, когда он – исключительно чтобы отреагировать на обвинения некоторых узко мыслящих граждан – вынужден будет коротко, но решительно подчеркнуть абсолютную непричастность его труппы к прискорбным ночным событиям, то его остановят уже на первых словах, дабы не тратить время на то, что и так понятно. Да позволят ему начать с того, раскурил он огрызок сигары, что их антреприза не имеет и отдаленного отношения ни к чему, что не связано с цирковым искусством, таким образом, уже первая половина выдвигаемых обвинений, а именно что в их деятельности все номера вкупе с их реквизитом служат только прикрытием для чего-то другого, является беспардонной манипуляцией, ибо он как полномочный руководитель и духовный отец их творческого коллектива в одном лице никогда не стремился и не будет стремиться впредь к чему-то большему, чем попросту продемонстрировать растущему кругу интересующейся публики «очевидность невероятного», ибо он – если позволить здесь толику горькой иронии – человек весьма скромных запросов. И если уже эта первая часть обвинения лишена всякой логики, то тем более такова ситуация со второй частью, в которой – насколько он мог уяснить себе в начале расследования из необдуманных выступлений некоторых разгоряченных граждан – в качестве одного из главных подстрекателей к беспорядкам называют члена его ансамбля, выступающего под артистическим псевдонимом Герцог, что не только абсурдно, – пыхнул

он сигарой и отогнал рукой дым от лица лейтенанта, – но, с позволения сказать, попросту смехотворно, потому что подобные обвинения бросают тень как раз на того, кто – в силу необычайного и даже породившего трения внутри коллектива отождествления со своей ролью – больше всего страшился как раз такого поворота событий и, осознав, что директорские опасения были отнюдь не беспочвенны и подверженная внушению публика приняла игру за действительность, с перепугу, глухой ко всем доводам разума, причем вовсе не из боязни ответственности, а спасаясь от гнева, направленного, как ему показалось, против него, уже в самом начале массовых беспорядков сбежал при содействии своего коллеги. После сказанного, – сунул Директор руку за спину, вынужденный вновь стряхнуть пепел на пол, – уважаемые руководители следствия, возможно, сочтут нашу тему исчерпанной, ибо абсурдность всех обвинений, выдвинутых против цирка, ясна и ребенку, и взбудораженные артисты наконец смогут успокоиться и вернуться к их ремеслу, доверив все остальное, оценку событий и установление виновных, тем, кто справится с этим лучше кого бы то ни было, – он преклоняет перед ними голову и, конечно же, повинуется им, однако считает вместе с тем своим долгом ни о чем не умалчивать, а посему, совершенно убитый случившимся, он *на прощание* хотел бы содействовать безусловному успеху дознания, сделав следующее, решающее, как ему кажется, заявление. Он хочет сказать о тех двадцати или тридцати отъявленных негодях, одного из которых потрясенные свидетели имели возможность только что лицезреть; речь действительно идет о каких-нибудь двух или трех десятках подлых мерзавцев, которые с самого начала их гастролей по Южному Алфельду на всех выступлениях, во всех деревнях и селах, затесавшись в ряды прочей публики, угрожали сорвать представление. Так вот, пользуясь воспаленным воображением, внушаемостью и доверчивостью наших, обычно уравновешенных, но нынешней ночью вышедших из себя поклонников, следующих за цирком, эти люди распространяли, в том числе и сегодня, слух, будто «мой замечательный коллега не просто играет герцога, но и является таковым в реальности» и что он будто бы некий «повелитель ада», с сокрушенной миной улыбнулся Директор, странствующий по свету карающий властелин, призывающий своих подданных поучаствовать в исполнении своего «приговора», – это он-то, возмущенно воздел обе

руки Директор, человек, которому небо ниспослало блистательный артистический дар, но при этом, медленно опустил он руки, сменив возмущение на сочувствие, и наказало «чрезвычайно серьезным физическим недостатком», в результате чего «для поддержания своей жизнедеятельности этот беззащитный наш сотоварищ постоянно нуждается в посторонней помощи!» Уже и из этого видно, посмотрел он строго на лейтенанта, что мы имеем дело с циничной и подлой бандой, для которой, как только что можно было услышать, действительно «нет ничего святого», и поскольку он, Директор, с самого начала гастролей, по счастью, об этом знал, то везде, где они останавливались, обращался за помощью к местным властям для обеспечения безопасности их представлений. В этой помощи ему нигде не отказывали, и, естественно, точно так же он поступил и здесь: по прибытии в город первым делом обратился в полицию, однако когда некий полицейский чин вручил ему документ, официально гарантирующий безопасность артистов – и, можно сказать, самого искусства, – он даже не догадывался, что имел дело с должностным лицом, не способным справляться со своими обязанностями. Он шокирован и крайне разочарован, сказал Директор, ведь речь шла о каких-то двадцати или тридцати злодеях, и вот он стоит сейчас здесь, его труппа распалась, коллеги в ужасе «бросились врассыпную», и он не знает, кто возместит ему понесенный материальный и, главным образом, моральный ущерб. Разумеется, он понимает, воскликнул Директор, что еще не настало время для удовлетворения личных претензий, но как бы там ни было, пока это не случится – а в том, что это случится достаточно быстро, у него нет сомнений, – он с позволения господ офицеров останется в городе и хотел бы просить их беспощадным образом продолжать выяснение истины, он же, со своей стороны, на прощанье хотел бы передать им тот самый, выданный полицмейстером, документ – мало ли, пригодится – и выразить надежду, что ему удалось внести свою скромную лепту в работу глубокоуважаемой следственной комиссии. Тут Директор, и в самом деле закончив речь, извлек из кармана своей необъятной шубы листок бумаги и, в обмен на свой «цирковой патент», передал его шатающемуся от полного изнеможения лейтенанту, после чего, далеко отведя от себя вновь погасший огрызок сигары, кивнул сперва в сторону противоположной половины конференц-зала, затем в сторону

свидетелей и – уже из дверей бросив за спину: «Я квартирую в отеле „Комло“» – покинул немое собрание допрашиваемых и допрашивающих, которое больше смахивало сейчас на разбитое воинство покоренного государства. Ибо и в самом деле все они, от Харрера с госпожой Эстер до Волента и компании, производили впечатление людей, не убежденных, а просто повергнутых в шок неостановимым потоком директорского словоизвержения, совершенно раздавленных обрушившейся на них мешаниной из деклараций, доводов, фактов и многочисленных версий случившегося; теперь, погребенные под этой лавиной, присутствующие словно ждали, чтобы кто-то освободил их, так что вовсе не удивительно, что потребовалось некоторое время, чтобы они пришли в себя, очухались от медленно проходящего остоленения. Лейтенант в бешеной ярости ринулся было за удалившимся с гордым видом оратором, но, взглянув на сжимаемую в руке бумагу, остановился на полпути. Госпожа Эстер и Харрер уставились друг на друга, а господин Волент, господин Мадаи и господин Надабан, разведя руками, застыли в немом изумлении, словно изображающая протест против услышанного скульптурная композиция, и вдруг, будто их прорвало, одновременно затараторили. Что касается Эстера, то он остался в стороне от общего – во всяком случае, для свидетелей – возмущения; он был далек от того, чтобы кого-то судить, он собирал и взвешивал информацию, и для него были равным образом важны и только что прозвучавшая речь, и реакция, которую она вызвала у присутствующих, но в еще большей степени – ибо просьбу его требовалось изложить, приспособившись к настроению следователей – важно было понять, как относится к исповеди Директора и к вызванному ею негодованию несомненный, хотя и невидимый, будущий высший арбитр в деле Валушки. Правда, это, судя по всему, могло оказаться непростой задачей, потому что, когда лейтенант в растерянности вновь повернулся к начальнику и, щелкнув каблуками, спросил: «Прикажете вернуть его, господин подполковник?» – тот, ограничившись вместо ответа лишь вялым жестом, свидетельствующим то ли о полном равнодушии, то ли о явной досаде, долго молчал, а затем, уже с нескрываемой горечью в голосе, спросил: «Скажите, дружище Геза, вы уже рассмотрели эту картину?» – на что тот, скрыв замешательство за армейской прямолинейностью, ответил: «Никак нет, господин подполковник!» –

«Ну тогда посмотрите, – с грустью в голосе продолжил невидимый собеседник, – на боевой порядок в правом углу. Артиллерия, конница, инфантерия. Это вам, – он сорвался на крик, – не за хулиганами обнаглевшими бегать! Тут боевое искусство!» – «Так точно, господин подполковник!» – «А этот гусарский клин в центре? или вот, видите? драгунский полк, разделившись, совершает охватывающий маневр! Посмотрите на генерала вот здесь, на холме, и на его солдат в разгар битвы, и тогда вы поймете, чем отличается эта возня в курятнике от настоящей войны!» – «Так точно, господин подполковник. Я сейчас же закончу допросы». – «Не примите это на свой счет, лейтенант! Но я больше не в состоянии слушать идиотское бляение, всхлипы и верещание в этой вонючей помойке! Много их еще там?» – «Я постараюсь управиться максимально быстро, господин подполковник!» – «Ну, постарайтесь, дружище Геза, – меланхолично махнул командир своему подчиненному, – постарайтесь, прошу вас!» От всего подполковника по-прежнему была видна только одна рука, зато Эстер теперь имел полное представление о том, чем он до этого занимался: находясь в полутьме, по-видимому, действующей на него успокаивающе, подполковник, как командир вынужденный присутствовать при допросах, утешал себя созерцанием исторической битвы на старом холсте; он теряет терпение, понял Эстер, чувствует, как несправедлива к нему судьба, забросившая его сюда, поэтому лучше всего, решил он, сформулировать просьбу коротко, ограничившись двумя-тремя четкими фразами, и все будет в порядке. В том, что из этого ничего не вышло, что никакие его ухищрения не помогли ему снискать расположение власти, не было его вины; все замыслы Эстера были разрушены тремя господами, когда, выйдя по приглашению лейтенанта на середину, они завели свою шарманку. При первых же их словах (что они «хотели бы все расставить по своим местам») лицо офицера перекошилось и он бросил тревожный взгляд в сторону председательского кресла; а когда господа заявили, что они решительно против того, чтобы «город, повергнутый в траур, оскорбляли такой беспардонной ложью», и к тому же не кто-нибудь, а именно те, кто во всем виноваты, рот лейтенанта конвульсивно задергался. Нет ни малейших сомнений, говорили они, что цирк и сопровождающий его сброд – одно нераздельное целое, и никак невозможно отмыть («Да в мире воды не хватит!») – вскричал господин

Мадаи) эту темную компанию, свалив все на хулиганов, так что нечего дурить людям голову невиновностью этой подлой «китовой банды», потому что их, убеленных сединами, обмануть не получится, они много чего повидали на своем веку и вообще не из того теста сделаны, чтобы дать себя – так вот, запросто – обвести вокруг пальца. Это все ложь, заявляли они, игнорируя лейтенанта, который, почуяв недоброе, призывал их ограничиться фактами, неправда, перебивая друг друга, кричали они, что такую ужасную катастрофу могли учинить несколько хулиганов, ибо ясно как божий день, кто – ссылаясь на Страшный суд – затеял весь этот адский погром. Да разве это не величайшая глупость представлять, будто в таких событиях могло обойтись без участия «черной магии», таинственно продолжали они, не замечая, что при слове «магия» хозяин председательского кресла вскочил и, выйдя из тени, угрожающе двинулся к ним, ведь в конце концов, горячились они, всем известно, что на беззащитный город напала не «жалкая кучка из двадцати-тридцати бандитов», а воинство сатаны, о приближении которого в течение ряда месяцев свидетельствовали многочисленные знамения. Они успели еще рассказать о раскачиваемых незримыми силами водонапорных башнях и вывороченных с корнями деревьях на территории их города, однако на то, чтобы объявить о своей готовности вступить в битву с «сатанинскими кознями» и предложить «свои слабые руки» в помощь регулярным силам, времени уже не хватило, ибо командир упомянутых сил к тому времени был уже рядом с ними и громко, так что слышал даже тугой на ухо господин Мадаи, завопил: «Ну-ка цыц, гребаные бараны! Вы что думаете, – грозно навис он над отпрянувшим в ужасе Надабаном, – я буду выслушивать этот ваш бред?! Да кто вы такие, чтобы играть у меня на нервах?! Вы с утра парите мне мозги своей идиотской дичью и думаете, что я это так оставлю?! Да я вон позавчера в Телекгерендаше в минуту всех таких маразматиков засадил в дурдом! Вы думаете, я для вас сделаю исключение?! Можете не надеяться, я и в вашем вшивом борделе смогу навести порядок, разнесу всю вашу помойку, где каждый дебил думает, будто он – пуп земли, Господь Бог, шишка на ровном месте! Страшный суд? Катастрофа? Хера с два! Вы и есть катастрофа и Страшный суд, мудаки – вот вы кто, потому что витаете в облаках, чтоб вас всех разорвало, лунатиков! А ну-ка, поспорим, – потрянул он за плечи

на смерть перепуганного Надабана, – что вы даже не представляете, о чем я сейчас говорю!!! Так как сами вы не *говорите*, а „шепчете“ или „кудахчете“, и по улицам вы не *ходите*, а как угорелые „носитесь“, вы не *заходите* в здание, а „перешагиваете порог“, вы не *мерзнете*, не *потеете*, а „трясетесь от холода“ и „обливаетесь потом“! За все это время я слова живого от вас не услышал, вы можете только бляеть да под себя ходить от какого-то „страшного суда“, о котором вы заблажили, стоило хулиганам разбить пару окон, потому что вы все – кретины: вас в дерьмо носом тычут, а вы нюхаете и говорите: „Магия!“ Вот если бы вас кто-нибудь разбудил да объяснил вам, дегенератам, что вы не на Луне живете, а в стране под названием Венгрия, и что там вон – север, а здесь, где мы с вами находимся, – юг, что понедельник – это начало недели, а январь – первый месяц года, вот это была бы магия! Да вы же ни в чем ни бельмеса не понимаете и даже не сможете отличить миномет от трех сложенных пирамидой берданок, а туда же – о „роковых катаклизмах истории“ или о чем вы там, на хер, триндите, вот и приходится мне с двумя боевыми ротами мотаться по области, от Вэсте до Чонграда, – защищать вас от хулиганов!!! А ну-ка, возьмем хоть этого, – махнул он в сторону господина Волента и пристально посмотрел своей жертве в лицо, – какой сейчас год, а?! Кто наш премьер-министр?! Дунай – река судоходная?! Вы видите, – повернулся он к лейтенанту, – ни бум-бум! И ведь все такие, весь ваш поганый город, да вся страна, этот лепрозорий, состоит из таких болванов! Геза, друг мой, – тут голос его сделался апатично-вялым, – цирковой фургон отправьте на станцию, дела передайте военному трибуналу, четыре-пять отделений оставьте на площади, а этих трех индюков гоните отсюда взащей, я устал... давайте уже заканчивать!!!» Трое свидетелей стояли перед ним с таким видом, будто их всех прицельно, в самую маковку, сразила какая-то адская молния – они ни слова сказать не могли, ни вздохнуть, и когда подполковник от них отвернулся, продолжали стоять как каменные истуканы; казалось, без посторонней помощи смысл случившегося до них ни за что не дойдет, однако после того как лейтенант решительно показал им на дверь, сознание их прояснилось, и они так бодро засеменили на выход, что стало понятно: помощь им не нужна и до дому они как-нибудь доберутся сами. В иной ситуации находился Эстер, чьи расчеты на благоприятный исход его дела неожиданный приступ ярости,

накативший на подполковника, разрушил в самых основах; он не знал, что ему теперь делать – продолжать сидеть или встать, остаться или уйти. Как и прежде, его занимал лишь один вопрос: как найти подходящую форму для своего заявления о Валушкиной невинности, однако после случившегося даже самые краткие, самые четкие фразы ничего хорошего не сулили, поэтому он сидел, готовый встать и уйти, а тем временем кряжистый, багровый от гнева, теревивший щеточку усов командир – с поспешавшим следом издерганным лейтенантом – направился в глубину зала к сидевшей в углу госпоже Эстер. Военная форма на огромной фигуре сидела так, что не было видно ни одной морщинки, и такая безукоризненная отутюженность – снаружи и изнутри – каким-то образом характеризовала все его существо; чеканная поступь, прямая осанка, вульгарная, но искренняя речь – все это работало на тот идеальный образ, которому, в представлениях подполковника, должен соответствовать настоящий солдат; о том, что результатами этой работы он был вполне удовлетворен, как нельзя лучше свидетельствовал его голос, трескучий, лающий, просто созданный для команд, каким он и обратился сейчас к госпоже Эстер: «Откройте секрет, как вы, женщина столь замечательная, выносили их столько лет?» Ответа вопрос не предполагал, хотя по госпоже Эстер, задумчиво воздевшей глаза к потолку, было видно, что она собирается что-то сказать; однако до этого не дошло, так как подполковник, бросив взгляд в сторону дальней стены, обнаружил, что там – совершенно скандальным образом – все еще ошивается кто-то из свидетелей, и, помрачнев, рявкнул на лейтенанта: «Вам приказано гнать всех в шею!!!» – «Я хотел бы сделать заявление относительно Яноша Валушки, – неуверенно поднялся со своего места Эстер и, увидев, что подполковник скрестил руки на груди и уже отвернулся, ограничился только одной краткой фразой: – Он полностью невиновен». – «Что нам о нем известно? – нетерпеливо пролаял командир. – Он был с ними?!» – «Свидетели утверждают, что да, – ответил лейтенант. – Но пока он в бегах». – «Значит, под трибунал!» – отрубил подполковник, но прежде чем он смог продолжить беседу, считая вопрос исчерпанным, в разговор решительно вмешалась госпожа Эстер: «Господин подполковник, можно сделать одно маленькое замечание?» – «Вам прекрасно известно, сударыня, –

склонив голову, сказал он, – что вы здесь единственный человек, чей голос я слушаю с удовольствием. Кроме своего собственного, конечно!» – добавил он и сперва с незаметной самодовольной ухмылкой, а затем уже с громогласным гогогом присоединился к тому заразительному смеху, которым присутствующие выразили восторг перед тем, что он, несомненный хозяин положения, подкупает их не только своей решительностью, но и – кто бы мог подумать! – остроумием. «Человек, о котором идет речь, – сказала госпожа Эстер, когда смех затих, – невременяемый». – «Что вы имеете в виду, сударыня?» – «Я имею в виду, что он душевнобольной». – «Ну тогда, – пожал подполковник плечами, – я закрою его в психушку. Хоть кого-нибудь, – усмехнувшись в усы, дал он знать, что сейчас воспоследует очередная неотразимая шутка, – раз уж нельзя отправить туда весь город...» Так что без взрыва беспечного хохота не обошлось и на этот раз, и Эстер, наблюдая за ними, в особенности за женой, которая не достаивала его даже взглядом, понял: все уже решено, здесь ему больше нечего делать, пытаться уговорить эту веселую компанию вынести более справедливое решение бесполезно, поэтому лучшее, что он может сделать, – молча покинуть их и отправиться восвояси. «Валушка жив, а все остальное неважно...» – решил он и тихонько вышел из зала, протиснулся через толпившихся у дверей обывателей и солдат, под медленно затихающий дружный смех госпожи Эстер и подполковника спустился по лестнице, прошел по гулкому коридору нижнего этажа городской Управы и, выйдя на улицу, инстинктивно свернул направо, в сторону улицы Арпада; он шел полностью погруженный в себя и даже не слышал, как высыпавшие из подворотен горожане, мимо которых он проходил с опущенной головой – во всяком случае, те из них, кто были способны справиться с изумлением, что видят живую легенду и гордость их города в столь удручающем состоянии, – с неуверенностью и сочувствием в голосе приветствовали его: «Добрый день, господин директор...»

### **Все остальное неважно,**

– думал Эстер, и поскольку в конференц-зале он сильно вспотел в пальто, уже на середине улицы Арпада от лютого холода его стал бить

озноб, —

### **неважно,**

– все повторял он до самого дома на проспекте Венкхейма, куда, ведомый слепым чутьем, благополучно добрался. Он открыл ворота и, войдя, снова закрыл их, затем достал из кармана ключ от входной двери дома, но, взявшись за ручку, понял, что госпожа Харрер, видимо, из предусмотрительности, чтобы умчавшийся сломя голову на рассвете хозяин наверняка смог попасть в дом, оставила дверь незапертой; убрав ключ в карман, он ступил в прихожую, прошел мимо книжных полок и, не снимая пальто, чтобы сперва хоть немного согреться, присел на кровать в гостиной. Но вскоре встал, вернулся в прихожую, где застыл у книжного стеллажа и, склонив набок голову, с минуту разглядывал корешки томов; потом прошел на кухню и отодвинул от края мойки пустой стакан, чтобы невзначай не сбить его. Почувствовав, что пальто ему больше не нужно, он снял его, взял одежду щетку и стал аккуратно очищать пальто от соринки, а покончив с этим, вернулся в гостиную, открыл платяной шкаф и, надев пальто на плечики, повесил его на место. Он открыл печь, в которой еще тлели угли, и подбросил в нее несколько поленьев – мало ли, вдруг займутся; есть ему не хотелось, так что на кухню он не вернулся, решив, что обедом сейчас заниматься не будет, а перекусит чем-нибудь всухомятку попозже, обойдется, не велика беда. Он захотел узнать время, однако его часы, которые он забыл завести вечером, показывали еще только четверть девятого, и тогда он по старой привычке – ведь такое случалось с ним не впервые – решил посмотреть, что там на часах лютеранской церкви, но заколоченное окно, конечно, не позволило ему ничего увидеть. Недолго думая он принес топор, отодрал доски, распахнул настежь створки окна и выглянул наружу; затем – смотря то на башенные часы, то на свои наручные – выставил время и завел пружину. Его взгляд упал на «Стейнвей», и ему подумалось, что в эти минуты ничто не доставило бы ему лучшего отдохновения, чем «что-нибудь из Иоганна Себастьяна», только не в том виде, в каком он играл его в последние годы, а «как это себе представлял сам Иоганн Себастьян». Инструмент по-прежнему был

перестроен, и сначала требовалось восстановить на нем «все гармонии Веркмейстера». Он откинул клавиатурный клап, взял настроочный ключ, извлек из глубины шкафа частотомер и, сняв подставку для нот (чтобы получить доступ к механике), с прибором на коленях сел за фортепиано. Каково же было его удивление, когда он понял, что вернуться к привычной настройке гораздо легче, чем несколько лет назад – перенастроить рояль в духе Аристоксена, но все равно потребовалось не менее трех часов, чтобы все тоны встали на свои места. При этом он так глубоко погрузился в работу, что далеко не сразу расслышал доносившийся из прихожей – и вообще-то, довольно громкий – шум: там что-то проволокли по каменным плиткам пола, потом захлопали двери и как будто послышался даже голос госпожи Эстер, кричавшей: «Это туда! А это оставьте в конце коридора, я потом разберусь!» Но подобные вещи уже не волновали его, там, за дверью, могли стучать и горланить «сколько им влезет», он же, быстро пробежав по клавишам, еще раз проверил утешительно чистый строй инструмента, раскрыл ноты на нужном месте и взял первые аккорды прелюдии ми-бемоль мажор.

# Sermo super sepulchrum<sup>[2]</sup>

## *Развязка*

Больше всего ей пришлось по вкусу вишневый с ромом. Нравились ей и другие компоты, но теперь, когда после двух недель напряженной организационной работы наконец наступило время, подходящее и для более мелких дел, например для того, чтобы перед очень ответственным сегодняшним мероприятием в порядке «социальной утилизации» поделить с Харрером «не подлежащие длительному хранению запасы» из наследства госпожи Пфлаум, доставленного вчера из квартиры усопшей в подвал Управы, словом, теперь, когда нужно было решить, какой из компотов – оставленных наряду с салом и ветчиной для себя и складированных в шкафу в ее кабинете – предпочесть на завтрак, ее выбор уверенно пал на вишневый, причем вовсе не потому, что персиковый или грушевый уступали ему по качеству (не уступали), а потому, что как только она отведала это удивительное творение «бедняжки госпожи Пфлаум», эти вишневые ягоды в роме с их легкой «пикантной терпкостью», то во рту – напомнив ей о давнишнем, доисторическом, можно сказать, вечернем визите – тут же распространился и вкус победы, той самой, которую она до сих пор только походя принимала к сведению, однако сегодня могла уже наконец насладиться ею в полной мере, поскольку в ее распоряжении, – уселась она поудобней за громадным письменным столом, – аж целое утро, когда она будет только и делать, что, наклоняясь с ложечкой к банке, дабы не закапать сиропом стол, вынимать по одной и раскусывать во рту вишенки, погружившись в спокойное наслаждение завоеванной властью и в воспоминания о главных этапах приведшего к ней пути. Ибо она полагала, что нет никакого преувеличения в том, чтобы называть случившееся за последние две недели «настоящим переворотом», вознесшим ее, прозябавшую в съемной комнате в переулке Гонведов и занимавшую, несомненно, передовой, но малозначительный пост председателя Женского комитета, прямиком в кресло ответственного секретаря

городской Управы, ну какое же это преувеличение, – раскусила она очередную ягоду и выплюнула косточку в придвинутую к ногам корзину для бумаг, – если почетная эта должность явилась «самоочевидным следствием» прозорливости «высшей инстанции», каковая с не терпящей возражений решительностью раз и навсегда вручила город человеку, который того достоин, заявив, что он может с ним делать все (чуть ли не сорвалось с языка: что заблагорассудится) ... скажем так: что она, госпожа Эстер, каких-нибудь две недели назад еще возмутительным образом оттесненная на задворки, но теперь сделавшаяся хозяйкой положения («...и добавим, – добавила она с беглой улыбкой, – победительницей сразу на всех фронтах...»), сочтет благом для настоящего и будущего их города. Нет, конечно, речь не о том, что «счастье свалилось само ей на голову», за него пришлось заплатить, поставив на карту все, однако против того, чтобы ее карьеру «сопоставляли с явлением метеора на небосклоне», она бы не возражала, потому что, задумываясь сейчас, она и сама не могла найти более подходящего сравнения для своего головокружительного успеха; ведь понадобилось всего две недели, и город, «как говорится, лежал у ее ног», четырнадцать дней, а возможно, всего одна ночь или даже те считанные часы, когда решилось, «кто здесь кто и на чьей стороне реальная сила». Считанные часы, задумчиво повторила про себя госпожа Эстер, ровно столько понадобилось ей в тот вечер, а еще точнее, в начале вечера, чтобы, как по наитию свыше, понять: назревающие события нужно не останавливать, а, напротив, *придать им максимально возможный размах*; интуиция подсказала ей, что могут сделать для нее «три сотни этих безграмотных отморозков» с рыночной площади, если, конечно (она принимала в расчет и такой вариант), «они не трусы, которые бросятся врассыпную, как только запахнет жареным». Однако, как выяснилось, – с довольным видом откинулась госпожа Эстер в кресле, – те парни были не робкого десятка, она же, как только приняла для себя решение, ни на мгновение не теряла присутствия духа, просчитывала все ходы, с невероятной решимостью предпринимала необходимые действия, и вся «ситуация» развивалась в самом желательном направлении с такой инженерной точностью, что иногда, особенно во второй половине ночи, ей уже казалось, что она не использует – в любом случае благоприятные для нее – события, но организует и направляет их.

Разумеется, – наклонилась она вперед и бросила в рот еще одну ягоду, – в гордыне или пустом тщеславии ее обвинить нельзя, но все же она себе цену знает, и «да будет позволено» ей хотя бы сейчас, здесь, за одиноким поеданием вишни признать гениальной «не только саму идею организации события, но и все мелкие хлопоты», без которых самые грандиозные планы были бы обречены на позорное поражение. Нет, она понимает, конечно, что не требовалось большого ума, чтобы в тот день, на том памятном заседании в переулке Гонведов обвести вокруг пальца нескольких членов ею же созданного кризисного комитета и в первую очередь трясущегося от страха городского начальника, как не составило большого труда, когда полицмейстер, с наступлением ночи начавший опасно трезветь и собравшийся было «отправиться за подкреплением», незаметно для остальных – как бы выпроваживая – запихнуть его к своей квартирохозяйке, которая так накачала «закоренелого выпивоху» своей бормотухой, что тот до утра проспал беспробудным сном; точно так же «было не проблемой», – презрительно покривилась она, – побудить к слепому повиновению этого холуя Харрера, а также заткнуть фонтан «недотепы Валушки» и отослать его подальше от места событий, потому что, как ей показалось, своими «куриными мозгами» он что-то смекнул и мог помешать тому, что шло без сучка без задоринки, о нет, провести эту публику – для этого большого ума не надо, иное дело, – постучала она ложечкой по столу, – со-гла-со-вать все события, вот-вот! устроить, чтобы все шло слаженно, как по маслу, чтобы крутились все шестеренки и все совершалось «вроде бы как спонтанно», и вовремя *устранять* все преграды на пути подвернувшихся ей «союзников», причем так, чтобы в результате *росла* ее слава как все более несомненного вожака сопротивления, в общем, можно сказать, – откинула она со лба упавшую прядь волос, – что все это «даже по очень скромному счету» тянет на выдающееся достижение. Хотя ей-то понятно, – махнула она рукой, – что вся эта кропотливая оргработа гроша ломаного не стоила бы, ошибись она в главном, от чего целиком зависели ее планы на «вожделенное будущее»: ведь яснее ясного, что наряду с идеальной координацией всех практических мелочей успех все же зависел только от *одного*, от решающего выбора, от того, чтобы верно определить, на-щу-пать, в какой именно момент Харрер «от имени полицмейстера» должен дать команду двум полицейским

(которые, не понимая причин задержки, уже битый час дожидались за Молокозаводом) «незамедлительно» отправляться на джипе за подкреплением в областной центр... Ведь если бы «долгожданные освободители» прибыли слишком рано, то дело могло застопориться на уровне «банального дебоша» с парой разбитых витрин и окон и на следующий день все забыли бы о случившемся, а если бы с подавлением задержались, то буча, приняв масштабы войны, могла бы смести и ее – и плакали бы тогда все планы, вся кропотливая практическая работа и координация; именно так, – оживила она в памяти «накаленную атмосферу тех героических часов», – тут нужно было найти золотую середину между двумя крайностями, и она, – победным взором окинула госпожа Эстер свой кабинет, – благодаря похвальным курьерским услугам и всегда свежей информации Харрера эту середину нашла, поэтому все, что ей оставалось сделать, это дожждаться известий о входе военных в город, выпроводить за дверь «как смерть бледного городского начальника, рвавшегося домой, к семье», а затем, мысленно готовясь к отчету о происшедшем, спокойно дожждаться, пока двое полицейских явятся к ней с депешей, в которой «спасительницу города» просят *пожаловать* в городскую Управу. И сейчас, вспоминая эти события, она больше всего удивлялась тому, что, когда она предстала перед подполковником, ей не пришлось ни на гран отступать от фактов, она говорила ему только правду, да и как было поступить иначе, если уже в момент их встречи сердце, «екнувшее в груди», шепнуло: верховный командующий подразделения прибыл, чтобы «освободить» не только город, но и ее саму. Однако уже и до личного «освобождения» все шло как по писаному; после того как она вежливо отклонила лестную для нее оценку (сказав, что никакая она не героиня и в таких обстоятельствах, когда просто стыдно проявлять беспомощность, слабость и трусость, она сделала только то, что вполне по силам хрупкой женщине), ей не понадобилось ничего другого, кроме как короткими ясными фразами изложить «то, что произошло на самом деле», а именно, что органы правопорядка допустили оплошность, не более; что «главы полиции просто не было на месте» и только по этой причине могло случиться, что толпа – подстрекаемая несколькими пьяными хулиганами – до такой степени обнаглела. Вместе с тем, добавила она, завершая в то «чудесное во всех отношениях» раннее утро свой отчет о событиях,

нельзя отрицать, что эта неразбериха в точности отражает общую ситуацию в городе, ибо причина, по которой стали возможны такие эксцессы, кроется в «тотальном головоунытии». Господин подполковник, показала она в сторону выхода из конференц-зала, вы будете просто изумлены, когда, вооружившись терпением, выслушаете толпящуюся за этими дверями публику; вам станет понятно, с каким сборищем заячьих душ десятилетиями вынужден был сосуществовать в этом городе человек, который в духе принципов «разума и порядка» пытался повернуть к *ре-аль-нос-ти*, – даже сейчас, вспоминая, сладко содрогнулась она от этого слова, – «жалких обывателей, погрязших в трясине своих романтических грез». Пытался заставить их уважать силу, решительность, здравый смысл, требующий «убрать с дороги» всякого рода путаников, прожектеров и трусов, которые, прячась от «вызовов времени», не желают знать, что жизнь – это борьба, в которой есть победители и побежденные, и, как все слабаки, почему-то думают, будто им ничто не грозит и они смогут кисейными занавесочками своих идиотских фантазий остановить «порыв свежего ветра». Вместо мышц у них жир да складки обвисшей кожи, вместо выносливости – вялость и апатичность, вместо чистого взгляда – бегающие глазки мелочных эгоистов, и вместо трезвого чувства реальности – сладкие миражи! Не хотелось бы увлекаться, но атмосфера здесь удушающая, так можно охарактеризовать, – глядя на подполковника, горько воскликнула госпожа Эстер, – всю здешнюю ситуацию, в которой приходится жить, хотя ей понятно, что рыба гниет с головы, но об этом она говорить не будет, ибо следственная комиссия и сама могла видеть на улицах города, к чему приводит некомпетентность органов власти, и, конечно, необходимые выводы сделает... И в этот момент, покраснев, вспоминала теперь госпожа Эстер, она уже плохо понимала, что говорит, ощущая все более неудержимое влечение к подполковнику, который – не дожидаясь, пока героическая «спасительница города» придет в окончательное замешательство – кивком поблагодарил ее за доклад и в сопровождении «такого многозначительного взгляда» попросил присутствовать на допросах; да, он произвел на нее впечатление (прокатилась теперь по ней волна тепла), а тот кивок вконец свел ее с ума, и сердце уже не одним ударом, а жарким биением подтвердило, что после пятидесяти двух лет, в течение которых никто не мог

«привести его в действие», все же нашелся... кто-то... кому это удалось! – мужчина, который сразу околдовал ее, с которым с первых минут завязался «немой диалог» и который мог сделать (то есть не мог, а сделал, поправилась она, вспыхнув) то, о чем она даже думать не смела! Смог убедить ее в том, что «и впрямь существует такое чувство», что это не только в дурацких романах бывает, когда «с первого взгляда», когда «слепо», когда «навсегда», что бывает, когда ты стоишь, словно пораженная молнией, и страдаешь, не зная, чувствует ли другой то же самое, что и ты! Ибо с тех пор как начались допросы, в течение долгих часов она именно так и «стояла» в зале и, хотя при этом не забывала следить за дознанием, ход которого принимал все более благоприятный для нее оборот, всем своим зачарованным существом все-таки пребывала в плену удалившегося в тень подполковника. Что так привлекло ее? Его стан? Его поза? Поступь? Ответить на это она затруднялась – во всяком случае, пока между ними «все не решилось» – и, мучаясь в жерновах двух переживаний («Он думает обо мне!» и «Он меня даже не замечает!»), ждала, что он прямо сейчас! вот-вот! встанет, приблизится к ней и каким-нибудь жестом откроет ей свои чувства! Она вся пылала внутри, ощущая себя то на вершине блаженства, то в пучине отчаяния, но по ней это не было заметно, потому что даже после того, как им удалось без мучительных интермедий – и в том, что касалось дела Валушки, с самым удачным благодаря ее самообладанию результатом – освободиться от затесавшегося туда (но, слава богу, не выдавшего своего имени) Эстера, а также при обоюдном немом согласии отослать с разными поручениями Харрера с лейтенантом и наконец остаться наедине, словом, даже тогда она была в состоянии владеть своей мимикой – но не эмоциями, ибо их, подавила она в уголках рта счастливую улыбку, уже не могла бы сдержать никакая сила. Взяв еще одну вишенку, она положила ее в рот, но раскусывать не стала, а просто обсасывала, вспоминая при этом последующие десять-пятнадцать минут, проведенные в опустевшем конференц-зале: подполковник извинился за допущенную только что вспышку ярости, она успокоила его, мол, неудивительно, когда в окружении такого количества жалких слюнтяев настоящий мужчина теряет терпение, потом речь зашла о положении в стране и, как бы между прочим, в виде краткого диалога, о том, насколько идут ей «эти маленькие сережечки», что «одна сторона»

с благодарностью отрицала, а «другая» с горячностью подтверждала. Говорили они и о будущем города, и о том, что ему «требуется сильная рука», между ними не было никаких контroversий, конкретные же задачи, заглядывая ей в глаза, инициировал подполковник, стоило бы обсудить сегодня же, но в более спокойной обстановке, с чем она – после минутного размышления – согласилась и предложила, поскольку частная ее жизнь целиком подчиняется интересам общества, встретиться за чашкой чая с печеньем у нее на квартире – в доме за номером 36 по проспекту барона Венкхейма... Несомненно, все это было предначертано свыше, констатировала она, слегка кивнув, и кончиком языка медленно раздавила вишенку о небо, ведь как иначе можно объяснить эту внезапность влечения, взрыв чувств и вообще тот факт, сегодня уже очевидный, что они нашли друг друга, ибо наряду со всей сладостью этой встречи ей и теперь самым удивительным представлялись стремительность, с которой они осознали, что созданы друг для друга, невероятная скорость, с которой они сошлись, то обстоятельство, что для нее – и, как выяснилось, для него тоже – все действительно «было ясно» с первого же момента, потому им и не потребовалось больше тех самых десяти-пятнадцати минут, чтобы (вспомнились ей сказанные позднее слова подполковника) «навести понтонную переправу». Без каких бы то ни было сомнений и колебаний готовилась она к вечерней встрече, занимаясь, словно между прочим, неотложными делами объявленного, но обещающего быть недолгим междуцарствия: выступала с речами у подворотен, успокаивала плачущих, обещая, что уже завтра «начнется восстановление города»; затем – поскольку про «хитрости с чемоданом» можно было забыть – наняла грузчиков и переправила предварительно упакованные Харрером пожитки из переулка Гонведов в дом на проспекте Венкхейма; она выделила не особо сопротивлявшемуся Эстеру, через которого события как бы переступили, комнату для прислуги, а сама расположилась в гостиной, вышвырнув из нее дряхлую мебель и поставив свою (стол, стул и кровать). Она надела самое красивое платье (черное бархатное, с молнией во всю спину), вскипятила воду для чая, выложила печенье на покрытую салфеткой алюминиевую тарелочку и тщательно зачесала волосы за уши. Иных приготовлений не требовалось, потому что в лице этих двоих – подполковника, явившегося ровно в восемь вечера,

и ее самой, не способной заставить молчать свои чувства, – встретились две чистейшие страсти, слепые ко всему окружающему, две души, связь которых тут же выразилась и в телесном слиянии. Пятьдесят два года ждала она, и ждала не напрасно: в эту великолепную ночь от истинного мужчины ей довелось узнать, что «тело без души – ничто», потому что незабываемый поединок, продлившийся до рассвета, означал для нее не просто доводящее до экстаза физическое блаженство, но и открытие – на заре она уже не стеснялась этого слова – настоящего чувства *любви*. Она даже не догадывалась о том, что владеет таким многообразием «приемов сладостного противоборства», и вообще о существовании этого бесподобного царства, о том, что «волнение сердца» так пьяняще раскрепощает, хотя надо признаться, – краснея даже сейчас, опустила ресницы счастливая госпожа Эстер, – что ключ от тех уголков ее существа, о которых она не догадывалась, находился в руках подполковника. Того мужчины, который тогда уже был для нее, разумеется, «Петером» и на чье крепкое плечо она уже раз восемь склоняла голову, восемь раз, – накрыла она целлофановой пленкой банку и перетянула ее резинкой, – и при этом они не только решили судьбу ее города, но и коснулись общего положения дел. Ну что это за страна, в полном согласии восклицали они, если память не изменяет ей, не менее семи раз, где предназначенное совсем не для этих целей *боевое подразделение* – так сказать, на подхвате у полицейских органов! – мотается с кучей военных судей в обозе по городам и весям под началом старшего офицера, наделенного властью казнить и миловать; что это за страна, где солдат используют как пожарных для тушения очагов, разожженных распоясавшимися хулиганами! «Поверьте мне, дорогая Тюнде, – без конца горевал подполковник, – на этот единственный танк, который вы видели на центральной площади, мне уже стыдно смотреть! Таскаю его за собой, как этот старый пердун – своего кита, просто чтобы народ попугать, ведь сколько я себя помню, мне дали пальнуть из него всего раз, на учениях, а я, между прочим, солдат, а не какой-нибудь там циркач, и, понятное дело, мне хочется пострелять!» – «Так стреляйте же, Петер! Стреляйте!..» – раз семь игриво повторила она, ибо при всем их единодушии относительно завтрашних дел самым умопомрачительным для нее было настоящее с его неисчерпаемой сладостью любовных утех, а

затем – уже на рассвете – прощание у стоявшего перед домом джипа, выражающие все гамму чувств слова «Тюнде!» и «Петер!» и, конечно, незабываемое обещание, которое донеслось до нее из окна медленно растворявшегося в предрассветном тумане джипа: «При первой возможности объявлюсь!» Все, кто знает ее хотя бы немного, – поднялась госпожа Эстер из-за письменного стола, – уж никак не могут сказать, что когда-либо ей не хватало сил, но та энергия, с которой после знаменательной ночи она приступила к делу, изумила даже ее саму, ведь за минувшие две недели она не просто «смела все старое, заменив его новым», но благодаря излучению этой энергии обрела заслуженное признание и поддержку среди горожан, которые, кажется, осознали, что «лучше гореть в лихорадке дел, чем сидеть на диване, в теплых домашних тапочках и обложившись подушками», и теперь некогда презираемая ими госпожа Эстер поднялась в их глазах на недостижимую высоту! В самом деле, – заложив руки за спину, госпожа Эстер подошла к окну секретарского кабинета и окинула взглядом улицу, – в сложившейся ситуации что бы она ни делала, все легко удавалось, все играло ей на руку, и вся «смена власти» прошла как по писаному – нужно было просто пожать плоды своего труда. Первая неделя ушла в основном на то, чтобы «схоронить концы», то есть проследить, чтобы судьбы важнейших свидетелей и вообще вся «интерпретация беспорядков и их последствий» складывались в соответствии с планом, то есть с ее докладом, сделанным в тот памятный день в зале городской Управы, и она с изумлением обнаруживала, что судебные и «небесные» приговоры идеально, с почти сверхъестественной однозначностью подтверждали высказанные ею мнения об участниках. Цирк завершил свою «славную» деятельность, и пусть Герцога и его подручного так до сих пор и не изловили, Директора («старого пердуна», как выразился ее Петер) выслали из страны, кита куда-то спихнули, тюрьмы набили ее временными «союзниками» и, чтобы замять даже слабые отголоски, вызванные событиями в ближайших селениях, распространили слух, будто вся эта цирковая компания работала по заданию зарубежных спецслужб. Полицмейстера, прежде чем перевести его на другой конец страны, уговорили в связи с пошатнувшимся здоровьем отправиться на три месяца в захолустный санаторий – пройти курс лечения от алкоголизма, двух его сыновей поместили в детдом, а полномочия

городского головы – сохранив за последним почетное звание – передали свежее испеченному ответственному секретарю. Валушку, который в тот – для него в любом случае – роковой день ушел не особенно далеко (потому что под вечер, в областном центре решил спросить дорогу у полицейского), на, «по сути, пожизненное» принудительное лечение приняло в свои стены закрытое отделение городской психлечебницы. Харрера – до утверждения окончательного штатного расписания – назначили делопроизводителем при секретаре Управы, а Управе, помимо прочего, выделили внушительные ассигнования на так называемое развитие. За первой неделей последовала вторая, – хрустнула госпожа Эстер за спиной костяшками пальцев, – когда «встало на ноги» движение «ЧИСТЫЙ ДВОР, ОПРЯТНЫЙ ДОМ», и поскольку уже на пятый день после «варварских беспорядков» открылись магазины и на полках стали появляться признаки изобилия, все жители как один взялись за дело и делают его до сих пор; хотя и со старыми кадрами, но в новом духе, – подводила итоги ответственная секретаресса, – заработали присутственные места, начались занятия в школах, ожили телефонные линии; опять появился бензин, а следовательно – пускай и не повсеместное – автомобильное движение, курсируют, насколько возможно в таких условиях, поезда, по вечерам улицы залиты светом, на складах хватает и дров, и угля, одним словом: переливание крови, кажется, удалось, город вновь задышал, и все это, – немного размяла она круговыми движениями шеи, – свершилось под ее началом! А дальше... Однако продумать дальнейшие действия ей не хватило времени, ибо в этот момент поток ее размышлений прервал стук в дверь; вернувшись к столу, она убрала с него банку с компотом, села в кресло, откашлялась и закинула ногу на ногу. После зычного возгласа («Войдите!») в кабинете появился Харрер, который, плотно закрыв за собою дверь, сделал шаг к столу, потом попятился, замер и, сложив руки в районе паха, своим по обыкновению бегавшим взглядом стервятника попытался определить, случилось ли здесь что-нибудь заслуживающее внимания в промежутке между его стуком и разрешением войти. Вот, сказал он, явился с известиями «по теме», заняться которой милостивая госпожа поручила ему еще в понедельник: он нашел человека, годного, как он полагает, к службе в качестве рядового сотрудника новой полиции; обоим условиям он

соответствует, потому что, во-первых, местный, а во-вторых, «в известный нам день», прищурился Харрер, уже «зарекомендовал себя», так что, поскольку до похорон времени еще достаточно, он его притащил сюда из пивной, и этот «клиент», получив от него заверения, что все, что здесь прозвучит, останется шито-крыто, готов пройти «испытание», поэтому он, Харрер, полагает, что можно потолковать с ним прямо сейчас. Потолковать можно, рывкнула на него госпожа Эстер, но «не здесь же!», после чего устроила ему нагоняй за неосмотрительность, отчихвостила за то, что шатается по пивным, когда его место в течение всего дня – рядом с нею, и тут же, отбросив все оправдания Харрера, распорядилась, чтобы ровно через полчаса, ни раньше ни позже, он вместе со своим «клиентом» явился к ней на проспект Венкхейма. Не смея возражать, Харрер молча кивнул, мол, все понял, а затем кивнул снова, когда вслед ему прогремело: «И в четверть первого чтобы машина секретаря была у дома!» Харрер выкатился из кабинета, а госпожа Эстер с озабоченным видом вздохнула: надо привыкать, что «на таком посту у человека нет ни минуты покоя». Таким образом, хотя ее ассистент – замечательный, впрочем, работник, только надо поосторожнее с ним («Уж больно ретив!») – нарушил безмятежность тихого утра, ей все же не пришлось полностью отрешиться от «наслаждения завоеванной властью», ибо стоило только секретарессе, облаченной в простое кожаное пальто, выйти за ворота Управы, как в ее сторону тут же повернулись если не сотни, то десятки голов уж точно, а когда она дошла до улицы Арпада, то шагала уже «чуть ли не сквозь строй» приветствующих ее горожан, усердно трудившихся около своих домов. Трудились все, старики и старухи, главы семейств и их жены, низкие и высокие, толстые и худые, – махали кирками и лопатами, грузили смерзшийся мусор в тачки, освобождая от него прилегающие к домам участки тротуаров и улиц, причем делали это с заметным энтузиазмом. Когда она подходила к очередной группе, то кирки, лопаты и тачки на мгновение замирали, раздавались веселые возгласы («Добрый день! Что, решили проветриться?»), и работа – поскольку ни для кого не было секретом, что она возглавляет и жюри движения за чистоту города – продолжалась с еще большим воодушевлением. Иногда она уже издали слышала: «Вон хозяйка наша идет!» – и что греха таить, где-то к середине улицы Арпада сердце ее радостно защемило; но она

продолжала идти, не сбавляя шага, лишь иногда махала в ответ рукой, хотя ближе к концу пути, на последней трети, под нарастающим градом приветствий уже с трудом сохраняла «общеизвестно суровое» выражение лица – ведь столько забот и такая ответственность на плечах! За минувшие две недели она много раз говорила о том, что надо простить былые обиды и «не ворошить прошлое», что двинуться дальше можно, только сосредоточившись на «позитивной программе», на том, «чего мы хотим добиться»; этим она прожужжала им все уши и теперь, с радостью ощущая людское доверие, полагала, что тоже может сказать себе: забудем о том, что было, о том, «кем я была для вас и кем были вы для меня»... Без вождя масса ничего не стоит, без доверия же, – открыла она ворота своего дома, – бессилён вождь; а затем примирительно согласилась: «но, в конце-то концов, не так уж и плох этот человеческий материал», и тут же добавила: «однако и вождь у него тоже не абы кто». Ничего, дорогие мои, мы поладим, думала она, довольная тем приемом, который ей оказали на улице Арпада, а позднее, если все пойдет хорошо, «вожжи можно будет слегка ослабить и лицо ответственного секретаря – смягчить», она для себя ничего больше не желает, ведь все, чего она добивалась, – застучала она каблуками по каменному полу прихожей, – уже *принадлежит ей*... Она вернула себе все, что у нее отняли, добилась всего, о чем только мечтала, власть, причем высшая власть, теперь у нее в руках, потому что «корона», – расчувствовавшись, ступила она в гостиную, – можно сказать, «буквально» упала в ее объятия. Ибо мысли ее – если и отлетали куда-то по долгу службы или без всякого повода, как это со всеми бывает – в течение последних четырнадцати дней неизменно возвращались к нему, к тому, кого она ждала днем и ночью и кто с тех пор, к сожалению, так и не «объявился». Иногда она среди ночи просыпалась от примерещившегося урчания джипа, временами, и в последние дни все чаще, особенно дома, в гостиной, неожиданно чувствовала... что должна обернуться, потому что кто-то – конечно, он! – стоит у нее за спиной, и это вовсе не значило, будто она потеряла веру, просто «каждый час без него был мучением...», что «для любящего сердца» вполне естественно. Она ждала его утром, ждала днем и вечером, при этом воображение рисовало ей одну и ту же картину: величественно застыв в командирском люке несущегося на всех парах танка, он поднимает к глазам полевой бинокль и

«обозревает даль»... Однако героическая картина, вновь представшая ее взору, тут же как дым развеялась, ибо она услышала, как некто «опять шебуршится в прихожей» – человек, на которого она уже окончательно «набросила покрывало забвения», но он вот уже девятый день, с тех пор как была улажена судьба Валушки, ежедневно, дважды, ровно в одиннадцать утра и около восьми вечера, это покрывало снова приподнимал. Наверное, только потому она и знала, что Эстер все еще жив, да еще по изредка доносившемуся из туалета шуму спускаемой воды, по приглушенным звукам фортепиано, втиснутого в комнату для прислуги, и по сплетням, которые до нее иногда доходили, ибо в целом он вел себя так, как будто его не существовало, а его логово, казалось, не имело никакого отношения к остальной части дома. За минувшие две недели она видела его один или два раза, не считая, естественно, того дня, когда произошло ее «историческое возвращение в родные пенаты», и поскольку результаты «инспекций», проводимых днем в его комнате – когда обнаруживались раскрытые ноты да сложенное у кровати в две стопки собрание сочинений Джейн Остин, – свидетельствовали всегда об одном и том же, а именно о том, что он только читает («Такую муру!») и играет на фортепиано («Романтиков!»), то со вчерашнего дня были прекращены даже эти досмотры. Он больше не представлял для нее никакой опасности, и ей было «абсолютно неинтересно», жив ли он вообще, а если изредка, как, например, сейчас, она вспоминала о нем, то задавала себе вопрос: да неужто она боролась вот *с этим* созданием?! С этим ослом, с этой жалкой развалиной, с человеком, который из-за своей злополучной привязанности к полоумному стал похожим на собственную тень?! Он и раньше-то был никудышный, а теперь, – прислушалась она к шаркающим шагам в прихожей, – и подавно убогая рухлядь, «трусливый старпер со слезящимися глазами», который вместо того, чтобы без оглядки бежать даже от воспоминания об этом своем Валушке, свихнулся на пробудившихся к старости «отеческих» чувствах и превратился из знаменитости, окруженной не всегда понятным почетом, в «предмет всеобщих насмешек». С того самого утра, когда по делу Валушки родилось утешительное решение, он, вместо того чтобы сидеть тихо и не высовываться, дважды в день (один раз в одиннадцать, по пути туда, и второй раз ближе к восьми, когда возвращается) у всех на виду шкандыбает через весь город, а в

промежутках между хождениями сидит в Желтом доме рядом с одетым в полосатую куртку Валушкой, который упорно молчит и, как говорят, решил больше никогда не открывать глаза; иногда он что-то рассказывает ему, а больше тоже молчит, как если бы сам был всамделишным сумасшедшим! И нет ни малейших признаков, вздохнула госпожа Эстер, услышав, как тот удаляется, захлопнув за собой ворота, что этот живой монумент величайшему жизненному фиаско в один прекрасный момент одумается; наверняка они так и будут до скончания века молча сидеть один подле другого и, к общей потехе вступающих в новую жизнь горожан, держаться за руки; да, скорее всего, так и будет, – она поднялась, чтобы, кое-что передвинув в гостиной, приготовиться к «собеседованию», – но какая ей разница, разве могут теперь, «когда она на вершине», повредить ей подобные мелкие пятнышки в биографии? И вообще, как только появится «хоть небольшой просвет», она быстренько утрясет ставшее уже неотложным дело с разводом, а до тех пор, так и быть, дважды в день потерпит эти шорохи, напоминающие ей «царапание покойника, который силится приподнять крышку саркофага»... Стол и стулья она придвинула к окнам гостиной, чтобы в почти пустом помещении допрашиваемому было не за что «зацепиться», и когда минуту спустя («С опозданием!» – гневно нахмурилась госпожа Эстер) Харрер ввел и поставил посередине комнаты «будущего бойца», тот, хоть и прибыл с самоуверенным видом, достаточно быстро был приведен в чувство. Здоров бык, сидя за столом, разглядывала его госпожа Эстер, пока полупьяный завсегдатай пивнушки, покачиваясь в пустынном пространстве гостиной, постепенно терял «чувство превосходства» под градом вводных вопросов Харрера. Наконец хозяйка положения, ненадолго взяв слово, «в порядке предупреждения» разъяснила ему, что «здесь люди серьезные и разводить тары-бары со всякой пьянью им недосуг», поэтому все, что ему будут говорить, он должен сразу запоминать, ибо она повторять не привыкла. Во избежание недоразумений, сверкнула она ледяным взглядом на гостя, он должен себе уяснить, что вопрос стоит так: либо он сразу пойдет под трибунал, либо попробует доказать им, «что может еще быть полезен», причем перед этим он должен подробно, не утаивая ни одной, даже самой малейшей, детали рассказать, что он знает о «той самой» ночи. Итак, точность, исчерпывающая полнота деталей и, естественно,

«какие-то признаки раскаяния», воздела указующий перст госпожа Эстер, – это единственная возможность продемонстрировать, что он может служить благу общества, а в противном случае – суд, тюрьма, разумеется, на пожизненный срок, как бывает в подобных случаях. Э нет, зачем сразу – тюрьма, переступил с ноги на ногу струхнувший «свидетель», ведь Стервятник (кивнул он на Харрера) обещал ему, что «если расскажет про их художества», то его отмажут. Только он не с повинной сюда явился, «он что, белены объелся», на себя наговаривать, и не надо его брать на пушку, как «человек с понятием», он, может, и сам все расскажет, все как есть, почесал он еще не зажившую ссадину на скуле, и вообще, ему говорили, что можно пойти служить в полицию, вот он и явился, а то надоело уже в пивной торчать. Ну, это они посмотрят, с твердым достоинством сказала госпожа Эстер, а сперва они хотят узнать, нет ли за ним каких дел, «юридические последствия которых будет не в состоянии устранить сам Бог», вот и пускай расскажет «все как есть», со всеми подробностями, и тогда будет ясно, сможет ли она, ответственный секретарь муниципалитета, чем-то ему помочь.

Хорошо, расскажу (откашлялся кандидат в полицейские): движуха была большая, не отрицаю, мы с ребятами сразу почуяли, что запахло жареным. Но подключились мы не с начала, а только когда до пивнушки дошло, что в городе кое-что намечается, ну я и сказал тогда остальным, Дёмрë и Фери Хольгеру, айда, мужики, наша грядка где нет порядка... Вы знаете, госпожа... (ваша милость, подсказал Харрер)...ваша милость, нас так и зовут – кабаны, потому что, ну как вам сказать, врать не буду, когда на нас... на троих... находит тоска-кручина, мы такой шорох наводим... не зря же нас как огня боятся, стоит нам голову над кружкой поднять, и все сразу никнут. Ну да это фигня по сравнению с тем, что там делалось, в начале проспекта да на центральной улице; когда мы туда подвалили, я Дёмрë и говорю, давай, хули встал, мужики тут не шутики шутят, дело кончится тем, что нам ничего не останется, ну, мы тоже включились, не буду врать. Только тут мы как мордой об забор шарахнулись – только начали их в штабеля укладывать, как нам в голову стукнуло, да у них тут другие дела, они на гражданских

охотятся, ну, я Фери Хольгеру и кричу, перерыв на полдник, он кладет на землю двух пациентов, которыми как раз занимался, канаец ко мне, Дёмрё тоже, и стали мы совещаться, как быть. Но к этому времени народу уже навалило черным-черно, с рыночной площади, как саранча, прет, я говорю, мужики, блин, линияем отсюда, тут, кажется, революция. А Дёмрё мне: так насколько он помнит, для бедноты в таких случаях магазины всегда открывают, тут поблизости один магазинчик есть, там клевого пойла навалом, может, глянем, открыт ли, а потом уже, говорит, слиняем... Ну и точно, открыт уже был магазинчик, но это не мы, ваша милость, сбили замок, его уж до нас разьебошили, а мы только вошли и хотели спасти хоть одну бутылку, но чуваки эти, которые перед нами были, так основательно поработали, что ни единого целого пузыря не оставили. Ну, мы малость осатанели от такого облома, тут свобода нагрязнула, во всяком случае так нам казалось, а мы на сухую ее встречай?! Но я матерью вам клянусь (приложил он руку к груди), что мы ничего не хотели, кроме как пропустить по глотку и домой, потому как я человек такой, к небольшой заварухе я завсегда готов, помахатья слегка, то-сё, ну а к этому ко всему мы отношения не имели, я вообще-то сторонник порядка, потому и решил, что в полицию подойду, а ты закрой клюв, Стервятник (бросил он попытавшемуся что-то вставить Харреру), сам ведь тоже замазан по уши... Короче, мы двинулись, чтобы разобраться, дошли до «Пенат» – там пусто, на главной улице, у моста, кафешка тоже разбита в хлам, ну, думаем, тут нам уже ничего не светит, надо подальше от центра попробовать. И тут Фери вспомнил, что по левую руку в конце Монастырской аллеи есть что-то вроде кондитерской, в которой, не стану врать, это мы дверь высадили. Но мы ничего там не делали, а только нашли сзади, в складском помещении, пару крепких напитков, ликеры какие-то иностранные, судя по наклейкам, бухло что надо. Да-да (с готовностью кивнул он госпоже Эстер), я как раз к делу перехожу, потому что из-за того и случилась беда, что мы к этим импортным штучкам-то непривычные, ну и, как вам сказать, очень странные сделались после этого, я даже поклялся, что к этой дряни больше ни в жисть не притронусь. Потому как так получилось, что с улицы ворвались какие-то чуваки с

металлическими обрезками и давай крушить обстановку, а я говорю одному, дай мне тоже эту хреновину, ну, короче, не отрицаю, мы тоже там приложили руку. Только пусть ваша милость не думает, просто так я обычно ничего не ломаю, это пошло мне мозги набекрень свернуло, да там, если вспомнить, особенного ущерба и не было, какое-то зеркало, это я помню, да пара бокалов на стойке, за это ведь не казнят... да заткнись тебе говорят, Стервятник (опять осадил он Харрера), но если хозяину гребаному так этого зеркала жалко, я ему, так и быть, заплачу, чтобы не скулил. Ей-богу, не понимаю, что за хуйни, извиняюсь, они в этот ликер намешали, я часами не помнил себя, а когда оклемался, то обнаружил, что сижу у гостиницы «Комло» на тротуаре и дико мерзну. Оглянулся, а над киношкой уже (показал он наверх) вот такое пламя. Ну, думаю, это серьезно. А как я туда попал и куда, на хер, подевались Дёмрë и Фери Хольгер – хоть убейте, не знаю, помню только, что еще какое-то время болтался с этими чуваками и ни в какую (он даже побагровел от злости) не мог врубиться, что за хуйня-муйня происходит! Потому что чувствовал я себя отвратно, вы представьте себе, внутри все горит – желудок, печенка, а снаружи эта киношка, бля, полыхает, я, честно сказать, даже подумал дурной своей головой, а может быть, это я поджег, ну не помнил я ничего, что я делал, что вытворял, только смотрел на огонь и мучился: я? не я? А потому и не знал, что делать. Иначе я бы не отвалил оттуда, беда в том, что невозможно было понять, я это был или нет, это теперь я знаю наверняка, а тогда пребывал весь в сомнениях, ну, сказал я себе, теперь точно надо линять... И двинул в Немецкую слободу, иду крадучись переулками, мало ли, еще на кого нежелательного напорюсь, у кладбищенских ворот останавливаюсь передохнуть, к решетке вот так (показывает он) привалился, и вдруг прямо у меня за спиной раздается голос! Ну, блядь, извиняюсь, конечно, за выражение, думаю, сейчас и меня закопают, я, конечно, не из пугливых, сами видите, ваша милость, но все же струхнул, когда прямо из-за спины неожиданно услышал чей-то голос. Ну ясно, кто это был, один из тех чуваков, которые эту заваруху устроили; он уже знал, что надо валить, говорит мне, давай, это, польтами поменяемся и разбежимся, ты туда, я сюда, и запутаем их, ну я

ему сразу, давай, а чего. Но все же мне этот мужик как-то сразу не приглянулся. Я говорю ему, слушай, как бы с этим твоим пальтом мне в историю не попасть, я за твои дела отвечать не намерен! Дерьмовое было пальтишко, серенькое такое, драповое, ну и кто может знать, что он в нем вытворял, вот я и говорю ему, слушай, брат, я того, передумал, не хочу я с тобой меняться, поищи другого, и на этом закроем тему. Я и заметить ничего не успел – так он, падла, все быстро сделал, а я-то к нему с доверием, думал, и правда чувак из наших. В плечо меня, гад, пырнул (расстегнул он рубашку показывая), но целился в сердце, это сто процентов. И даже на землю меня уложил, а когда я очнулся, то рана сильно болела и я опять дико мерз. Ну понятно – он же пальто-то забрал вместе со всем, что в нем было, с документами, деньгами и ключами от дома, а свою драповую дерюгу бросил рядом на землю, ну и что было делать, надел я его пальто и вперед, в кладбищенские ворота! Потому что уже было ясно, что чувак этот наворотил делов, и не хватало еще, чтобы из-за пальта этого меня, дурадея, взяли, но все же пришлось мне его надеть, чтобы от холода не загнуться, и раз других вариантов не было, отправляться на кладбище. Домой я идти побоялся, потому как из-за киношки этой совсем с ума съехал, а уйти из города, как я планировал, с такой раной, которая и болела, и кровоточила, вы понимаете, было никак нельзя, в общем, пришлось остаться. Подыскал я себе, с позволения сказать, склеп, который был не закрыт, насобирал в углу кладбища хвороста, развел кое-как костерок, снял майку, перетянул ею рану и стал дожидаться, пока стемнеет... Мог бы и умереть от потери крови, но вы, ваша милость, сами видите, какой у меня организм, так что выдержал я, дождался вечера и добрался в конце концов до дома, стукнул жене в окошко, потому что ключи-то тью-тью вместе с деньгами и документами, сунул быстренько в печку гребаное это пальто и не закрывал дверцу, пока оно не сгорело к чертям собачьим. Потом живо к врачу, есть там один поблизости, перевязка, лекарства, три дня лежать... в общем, так... Уж не знаю, что скажете, ваша милость, а только я все рассказал вам как на духу, открыл все свои преступления, других за мной нет, не считая нескольких старых драк... Не знаю, как вы посмотрите, смогу ли я стать

теперь полицейским, но сегодня, когда вот он (кивнул он на Харрера) заявил, что если чистосердечно во всем сознаться, то можно подать заявление... я подумал... попытка не пытка... потому как я чувствую, что смогу быть полезным членом, хотя и не знаю, как вы отнесетесь... к этим двум моим преступлениям...

Да уж, да уж, покачала головой госпожа Эстер и долго, похмыкивая, мрачно глядела перед собой; потом сказала: вот, вот... и, вытянув губы трубочкой, снова похмыкала, после чего побарабанила пальцами по столу в ритме какого-то бодрого марша, несколько раз с головы до ног оглядела соискателя полицейской должности, растерявшего бодрость духа, и под занавес – адресованной больше самой себе эффектной фразой («Хотела бы я посмотреть на того человека, который способен заглядеть такое дело») – нанесла ему так называемый удар милосердия. Проблема, – как бы поверх головы кандидата устремила она мрачный взгляд на Харрера, – гораздо серьезней, чем кажется, ибо она «в конечном счете» нуждается в безупречных людях, а в данном случае можно говорить о чем угодно, к примеру о тунеядстве, о хулиганском прошлом, о краже со взломом и об осквернении кладбища, но только, – понимающе улыбнулась она только Харреру, – не о безупречности. Она, со своей стороны, не сомневается в искренности кандидата, но этого, – вздохнула госпожа Эстер, не спуская глаз с Харрера, – к сожалению, недостаточно, так что пока ей неясно, может ли она с чистой совестью взяться за это дело, но даже если возьмется и проведет консультации с «соответствующими экспертами», то «максимум, о чем можно говорить», это разве что испытательный срок. «Испытательный? – испуганно содрогнулся будущий рядовой полиции и беспомощно уставился на Харрера. – Это что за срок?» Он хотел, чтобы тот объяснил ему, что это значит, но Харрер не смог ничего объяснить, так как в этот момент госпожа Эстер глянула на часы и жестом, как бы «правой рукой – своей правой руке», отдала команду «очистить помещение»; им пора было отправляться. Харрер выволок из гостиной недоумевающего и перепуганного новобранца (из-за двери еще донеслось, как он рявкнул: «Ты что, не понял, осел, что тебя приняли? Да не толкайся ты, мать твою!»), а госпожа Эстер, поднявшись, скрестила на груди руки и, по новой своей привычке, подошла к окну «посмотреть, что там делается»; она

размышляла о том, что это, конечно, только начальный шаг, но «с такими быками мы будем на верном пути к намеченной цели», оргработа и прозорливость, только это обеспечивает успех, ведь если взять данный случай, к тому времени как будет назначен новый полицмейстер, его, – она помахала рукой ожидавшему у тротуара шоферу, – уже будет ждать боеспособный личный состав, в котором, кстати, окажется немало вечных должников ответственного секретаря Управы. Вот об этом и речь, – надела она свое кожаное пальто и одну за другой защелкнула нем кнопки, – о должной предусмотрительности, о взвешенности и прежде всего о здравомыслии, «которое чуждо всякого рода слюнявым иллюзиям и считается только с тем, что можно пощупать руками». Разве есть что-нибудь важнее, – еще раз, открыв ридикюль, проверила она, на месте ли ее речь, – чем не поддаваться сеющим всюду гибель иллюзиям, будто миром правят «так называемый Боженька или мораль, ну и, конечно же, добрая воля», это чушь, лицемерие, – вышла она из гостиной, – «уж ее-то на это никто не купит», «красота?!», «сострадание?!», «живущее в нас добро?!», да полно вам, – шипела она при каждом слове, – да будь она даже великим поэтом, и то сказала бы в лучшем случае, что человеческий мир, – вышла она из ворот на улицу, – это «камышовые заросли мелочных интересов». Болото, – поморщилась она, усаживаясь позади водителя черной служебной «Волги», – где камыш гнется так, как диктует ветер, то есть в данном конкретном случае лично она, – подождав, пока Харрер займет свое место спереди, госпожа Эстер скомандовала водителю: «Поехали!» – и, удобно откинувшись на обитом желтым дерматином сиденье, стала смотреть на мелькающие перед глазами здания. Она оглядывалась на дома, на усердствующих кое-где немногочисленных обывателей (потому что сейчас все нормальные люди, естественно, собрались на кладбище) и, как всякий раз, когда она мчалась в машине, в этом мобильном командном пункте, она и сейчас, по-видимому, под воздействием «неповторимого волшебства» сменяющих одна другую картин – в точности как хозяин, осматривающий из коляски свои уголья, – особенно остро чувствовала, что все это теперь принадлежит ей; пока что лишь в принципе, но есть уже план, как сделать, чтобы было не в принципе, а реально, ну а вы, улыбнулась она из окна черной «Волги», «вы вкальвайте, машите кирками и катайте тачки, а вскорости и внутри

займемся...» О том, что движение «ЧИСТЫЙ ДВОР...» является только первым этапом «прорыва», а вторым будет фаза «ОПРЯТНЫЙ ДОМ», не знал даже Харрер; машина тем временем свернула с улицы Святого Иштвана к центральному кладбищу... ну, конечно, только первым, сперва чистоту надо навести на улицах и площадях, во дворах и на тротуарах, да так, «чтобы даже блоха поскользнулась», а потом уже конкурсная комиссия пройдет по квартирам, чтобы за «самый простой и рациональный уклад повседневной жизни» распределить призы, более значительные по числу и ценности, чем в номинации «ЧИСТЫЙ ДВОР». Только не надо уж так забегать вперед, прежде всего надо сосредоточиться на задачах, непосредственно стоящих в повестке дня, например сейчас – на похоронах, – пристально оглядела она из окна машины собравшуюся перед моргом многочисленную толпу, – на том, чтобы торжественное событие столь великой важности прошло без сучка и задоринки, «как часы», ведь для жаждущего обновления коллектива и его лидера это будет первой «серьезной» акцией и, смело можно сказать, «декларацией их единства». Вот сейчас и посмотрим, достойны ли мы оказанного доверия, предостерегающе бросила она Харреру, затем выбралась из машины и привычным решительным шагом двинулась сквозь раздавшуюся толпу; остановившись у изголовья гроба, постучала пальцем по микрофону, чтобы проверить, включен ли он, после чего окинула собравшихся строгим взглядом и с удовлетворением констатировала: организация похорон ее правой руке удалась превосходно. В соответствии с отданными три дня назад распоряжениями церемония должна была выражать дух новой эпохи, а посему следовало обойтись не только без церковников, но и без «всяких сентиментальных излишеств»; надо выбросить все «старое барахло», инструктировала она Харрера, и «всему процессу придать социальный пафос», поэтому гроб, сколоченный из неструганых досок, – весьма удачно, кивнула она взволнованному режиссеру, – стоял на простом, используемом при убое свиней, но хорошенько отмытом столе; на особую значимость усопшей указывала открытая красная коробочка, в которой лежала «присвоенная посмертно» медалька, разумеется, надписью («За успехи в спорте») повернутая вниз; на месте привычных канделябров необычным, но довольно эффектным образом Харрер расположил двух бывших своих работяг-подсобников, за неимением лучшего одетых в

гусарскую форму и держащих в руках два огромных пластмассовых палаша из местной прокатной фирмы, каковые ясно указывали, что общественность прощается в этот день с героической личностью, достойной служить примером для подражания. Она смотрела на гроб с лежащей в нем госпожой Пфлаум, и пока собравшиеся медленно успокаивались, в памяти ее опять всплыл тот самый – теперь уж и прямо можно сказать о нем: доисторический – вечерний визит. Кто мог подумать тогда, спросила она себя, что через две с небольшим недели именно она будет провожать – как героическую особу – «эту грудастую дамочку», кто мог поверить в тот вечер, когда она – в ярости! – покидала ту удушающе приторную квартирку, что через шестнадцать дней она вообще еще будет об этом помнить, что будет стоять здесь, у ее гроба, и не будет больше испытывать гнева, ведь она и тогда, – вспомнила она госпожу Пфлаум с ее меховыми тапочками, – на самом-то деле ничего подобного не испытывала, больше того, нельзя отрицать, что она ее даже немного жалела. А ведь такой судьбой, – не отрывая глаз от гроба, размышляла госпожа Эстер, – эта женщина обязана только самой себе, тому, что, будучи, по словам соседки, не в состоянии снести свой позор, бросилась в ту ночь за сыном, чтобы хоть за волосы утащить его с улицы, бросилась, но, на горе себе, наткнулась на какого-то негодяя, который подыскивал себе маскарадный костюм перед лавкой портного Вальнера, и этот изверг – как рассказывали жители улица Шандора Карачоня, что подглядывали за происходившим из окон своих домов – все же «оторвал» от своих занятий пяток минут, чтобы, прежде чем навсегда ее успокоить, мерзким образом над ней надругаться. Личное несчастье, – с грустным лицом резюмировала она, – чтобы не сказать невезение, трагический финал «комфортабельной жизни», итог, которого эта несчастная, разумеется, не заслуживала, – думала госпожа Эстер, прощаясь. – Так пускай хоть напоследок получит какую-то сатисфакцию – уйдет от нас героиней, – расстегнула она ридикюль, достала перепечатанную на машинке речь и, видя, что все обратились в слух, глубоко вздохнула, собираясь начать говорить. Но тут – как выяснилось позднее: «в результате организационной неувязки» – из-за ее спины выскочили еще четыре «гусара», которые, не оставив ей времени на вмешательство, подсунули под гроб две доски, подхватили его и – в полном соответствии с полученными инструкциями – бодро

поволокли, сопровождаемые скорбящей публикой, уже привычной к нестандартным решениям и потому легко и гибко приноровившейся и к этому. Бросив испепеляющий взгляд на красного как рак Харрера, чьи ноги буквально приросли к земле, госпожа Эстер – поскольку делать было нечего, как получилось, так получилось – тоже бросилась вслед за гробом. Благодарные за то, что в силу «физических данных» удостоились столь высокой чести, гусары почти весело и с такой поразительной прытью, будто несли какую-нибудь пушинку, устремились к свежевыкопанной могиле. Поспевать за ними вынуждена была не только оратор, но, дабы не оставлять ее в одиночестве, и остальная публика, причем провожающим надо было поддерживать ритуальную торжественность, хотя как ни крути, а всем приходилось «немного бежать»; однако это оказалось мелочью по сравнению с тем риском, которому подвергся гроб, ибо, как вскоре выяснилось, вошедшие в раж четыре гусара, не обращая внимания на окрики, свисты и шиканье, не видели, что несомый на досках гроб подпрыгивает и трясется – не только весело, но и крайне опасно. С трудом переводя дыхание, но все-таки сохраняя достоинство, добрались они до могилы, и можно сказать, что при виде невредимого гроба испытали дружное облегчение, больше того, наверное, именно этот «последний путь под шики и крики» своей чрезвычайностью сплотил их в настоящий коллектив, так что все они дружно, как один внимали госпоже Эстер, когда та, держа два трепещущих на ветру листа бумаги, приступила наконец к своей несколько запоздавшей речи.

*Все мы знаем, друзья, что жизнь в любом случае завершается смертью. Вы можете мне сказать, что это ни для кого не новость, на что я могу ответить только словами поэта: нет нового под луной. Смерть – это наша судьба, это нечто похожее на точку в конце предложения, и не рождается младенец, который может надеяться на иное. Да, это так, но в эти минуты нами овладевает все-таки не печаль, ибо в могилу, сограждане, будет опущен не кто-нибудь. Я не любительница громких слов и потому лишь скажу: весь город прощается сейчас с человеком. Все мы, от мала до велика, стоим*

сейчас у этой могилы, ибо хотим быть рядом с тем человеком, который сейчас завершает свою стезю. С человеком, которого мы любили, который делал, что должен был делать, человеком, чья жизнь была буднями и чья смерть станет праздником. Праздником храбрости, ибо эта простая женщина, сограждане, к стыду моему, твоему и всех нас, была единственной, кто противостоял тому, чему не осмелился дать отпор никто. Была ли она героем? Да, скажу я, применительно к Пирошке Пфлаум это слово не будет в моих устах пустым звуком. В ту нелегкую ночь она отправилась спасти сына, однако не только его, но также меня, и тебя, и всех нас, сограждане, чтобы продемонстрировать нам, что дух храбрости, дух борьбы не исчез окончательно даже в наш сибаритский век. Она показала нам, как надо жить, показала, что значит быть человеком, невзирая на обстоятельства, и дала нам и будущим поколениям пример, как ведет себя человек с большим сердцем. Мы прощаемся сейчас с матерью неблагодарного сына, с вдовой, бывшей верной женой двум мужьям, прощаемся с простой женщиной, которая любила прекрасное и пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы нам жилось лучше. Я вижу сейчас, как в ту ужасную ночь она говорит себе: я этого не потерплю; вижу, как она надевает пальто и отправляется навстречу превосходящим силам противника. Она понимала, друзья мои, что, возможно, идет на гибель, понимала, что силами слабых рук ей предстоит сразиться с отъявленными бандитами, она понимала все и не отступила перед опасностью, а пошла вперед, потому что была человеком, не умеющим сдаваться. Превосходящие силы врага одержали верх, а она проиграла, но я назову ее победительницей, а проигравшими назову тех, кто ее убил, ибо ее победа состояла в том, что она превратила в посмешища всех своих подлых противников. Она обесславил их. Вы спросите чем? Тем, что сопротивлялась, что не желала сдаваться без боя, в одиночку вступив в борьбу, и поэтому, утверждаю я, победа осталась за нею. Прощай же, любезная Пирошка Пфлаум, пусть земля тебе будет пухом и местом отдохновения от трудов. Твой дух, память о тебе и героический твой пример да пребудут с нами, и смерти достанется только плоть. Мы возвращаем тебя родной земле, мы не плачем о том, что косточки твои превратятся в прах, мы не плачем, ибо истинное твое существо мы будем лелеять вечно, и лишь на брентную оболочку набросятся

## *неутомимые труженики распада...*

Неутомимые труженики распада, освободившиеся от оков, временно затаились, ожидая благоприятных условий для продолжения уже было начатого, но тут же прерванного сражения, для беспощадного штурма с заранее понятным исходом, в ходе которого в необратимом безмолвии Смерти они разберут на отдельные части то, что некогда было живым и неповторимым целым. То неблагоприятное обстоятельство, что в течение долгих недель и месяцев наружная или, если точнее, *верхняя* температура держалась на чрезвычайно низком уровне и покидающий этот мир организм промерз до каменной твердости, привело к тому, что бездействующие штурмовые отряды и сама обреченная на уничтожение крепость застыли в общей неподвижности, как в мертвом паноптикуме, где ничего не происходило, где царили идеальное и безукоризненное постоянство, полная заторможенность, необычайная опустошенность времени и лишенное длительности бытие. Но потом началось постепенное, очень медленное пробуждение, тело освободилось из ледяного плена, и направленная против него атака, шаг за шагом набирая темп, продолжилась. В белках мышечной ткани возобновился катаболизм – теперь уже неостановимый односторонний процесс обмена веществ: энзимы-аденозинтрифосфатазы продолжали атаковать АТФ (своего рода универсальный энергетический генератор, аденозинтрифосфорную кислоту), в результате даже в этой, уже беззащитной, крепости высвобождалась энергия, за счет чего повышалась АТФ-азная активность актомиозина, что вело к сокращению мышц. Но беспрерывно разлагающийся и, естественно, убывающий аденозинтрифосфат больше не мог пополняться за счет окисления или гликолиза, запасы его ввиду нулевого ресинтеза неуклонно снижались, и это – при одновременном накоплении молочной кислоты – привело к тому, что мышечное сокращение – в полном соответствии с правилами – закончилось *rigor mortis*, то есть трупным окоченением. Кровь, теперь подчинявшаяся только закону всемирного тяготения и по этой причине скопившаяся в низлежащих отделах венозной системы, точнее сказать, содержащийся в ней

фибрин, который и был – во всяком случае, до полной победы – одной из важнейших целей боевой операции, подвергся атаке одновременно по двум направлениям. На первом этапе – еще до перерыва в штурме – активизировавшийся тромбин отщеплял от белковых молекул фибриногена, которые были растворены в плазме крови, отрицательно заряженные концевые пептиды, и образовавшиеся после утраты заряда молекулы фибрина приобретали способность соединяться с себе подобными, образуя сгустки из устойчивых молекулярных цепочек. Но все это продолжалось недолго, так как вследствие аноксии, сопровождающей *Exitus*, плазминоген переходил в активную форму (плазмин) и путем отщепления трансформировал эти фибриновые цепочки в полипептиды, так что борьба – при поддержке атакующего крупными силами с другого фланга адреналина, способного к растворению сгустков – завершилась восстановлением текучести крови и быстрым и впечатляющим триумфом подразделений, противодействующих гемостазу. Иначе справиться с этими сгустками им было бы затруднительно, и, что еще важнее, на это потребовалась бы уйма времени, а сохранение текучести упростило решение следующей задачи, когда целью была уже ликвидация красных кровяных телец. В результате того, что ткани понятным образом потеряли способность удерживать жидкость, межклеточная субстанция скопилась в свободном пространстве вокруг крупных венозных сосудов, и поскольку мембрана эритроцитов стала легко проницаемой, начался процесс выщелачивания гемоглобина. Вымываемый из эритроцитов пигмент смешивался с межклеточной жидкостью и, просачиваясь сквозь ткани, окрашивал их, демонстрируя очередную внушительную победу беспощадного войска деструкции. А в тылу четко скоординированного генерального наступления с его основными ударами по мышечной ткани и крови, в некогда удивительном царстве организма бушевало тем временем восстание «внутренней оппозиции», которая прямо в момент смерти, едва только рухнули все препятствия и барьеры, организовала нечто вроде дворцового переворота и обрушилась на неповторимую в своей изысканности систему взаимодействия углеводов, жиров и белков. Участниками переворота были так называемые тканевые ферменты, а их акция носила название *autodigestio postmortalis* (посмертное переваривание), однако надо отметить, что это – вполне непредвзятое, впрочем –

название все же скрывает печальную суть явления и было бы правильнее – во всяком случае здесь – говорить о «бунте прислуги». *Вероломной* прислуги, которую и прежде, когда жизнь в крепости еще была ключом, приходилось держать в узде с помощью целой системы тормозов-ингибиторов, ведь в принципе вся ее деятельность ограничивалась лишь расщеплением и первичной обработкой питательных веществ, попадавших в закрома упомянутого царства, и чтобы эта прислуга не заходила дальше положенного и не набрасывалась на сам материнский организм – которому должна была только служить, – требовался постоянный и чрезвычайно строгий контроль. К примеру сказать, протеолитические ферменты (или протеазы) изначально предназначались для катализации гидролиза пищевого белка посредством расщепления пептидных связей, и только благодаря энергичному присутствию муцинов удавалось воспрепятствовать тому, чтобы заодно с желудочной кислотой они не расщепляли и белок клеток. Приблизительно то же можно сказать и о ситуации с углеводами и жирами, где в жестком сопровождении отряда ингибиторов нуждались, с одной стороны, коэнзим А и кофермент НАДФ, а с другой – дегидрогеназа жирных кислот и липаза, поскольку без этой охраны ферменты, призванные расщеплять жиры с углеводами, занимались бы совершенно не свойственными им делами. Конечно, сейчас тормозов и сопротивления уже не было, поэтому с установлением благоприятной температуры начался или скорее продолжился «дворцовый переворот»: кровь, разложившаяся в сосудах слизистой оболочки желудка до кислого гематина, во многих местах разрушила структуру желудочной стенки, и боевой отряд, составленный главным образом из соляной кислоты и пепсинов, прорвавшись к органам брюшной полости, теперь мог обрушиться на их ткани. Так, в результате действий отрядов «ферментной прислуги» распался на элементы гликоген печени, затем в поджелудочной железе начался аутолиз, название которого (самопереваривание!) проливает безжалостный свет на скрывающуюся за ним истину: все живое с момента рождения несет в себе свою гибель. Несомненно, однако, что в связи с ограниченным доступом кислорода львиная доля работы пришлась на медленно, но неудержимо идущий процесс путрефакции, или, проще сказать, гниения – ферментативной деятельности микроорганизмов, в обязанности которых входит разложение

азотосодержащих органических соединений, и прежде всего белков. Объединив усилия с передовыми отрядами, микроорганизмы эти начали деятельность в месте своей наибольшей концентрации – в пищеварительном тракте, чтобы затем постепенно распространить свою власть на весь универсум крепости. Помимо нескольких анаэробных микробов это подразделение в основном состояло из аэробных гнилостных микроорганизмов, но назвать весь состав боевой единицы – задача явно невыполнимая, поскольку кроме *Bacterium proteus vulgaris*, *Bac. subtilis mesentericus*, *Bac. pyocyaneus*, *Sarcina flava* и *Streptococcus pyogenes* еще множество видов бактерий принимало участие в решающих битвах, первая из которых разыгралась вдоль кожных вен сначала в области брюшной стенки и паха, потом – в межреберьях, надключичной и подключичной ямках, где образующийся в ходе путрефакции сероводород, соединяясь с гемоглобином крови, переходил, с одной стороны, в вердоглобин, а с другой – при взаимодействии с железом распавшегося кровяного пигмента – в сульфид железа, чтобы затем тот же самый процесс совершился в мышцах и внутренних органах. И вновь благодаря лишь закону всемирного тяготения смешанная с пигментом крови физиологическая жидкость стала просачиваться сквозь непрерывно разлагающиеся ткани, и эта внутренняя миграция строительных материалов продолжалась, пока влага не достигла кожного покрова, где и начался ее прорыв в глубины. Параллельное событие этой биодеструкции было связано с именем *Clostridium perfringens* – высокоэффективной анаэробной бактерии, начавшей стремительно размножаться в кишечнике с наступлением новой эпохи, каковая бактерия, кроме места происхождения, развернула бурную деятельность в желудке и кровеносных сосудах и вскоре распространилась по всему организму; благодаря этой деятельности появились газовые скопления в желудочках сердца и под легочной плеврой, а также гнилостные волдыри на коже, что в конце концов привело к ее отслоению. К этому времени когда-то неуязвимое и при всей своей сложности подчиняющееся простой и прозрачной логике царство протеинов уже совершенно распалось – сперва на альбумозы и пептоны, на амиды, азотистые и безазотные ароматические вещества и, наконец, на органические жирные кислоты: муравьиную, уксусную, валериановую, пальмитиновую и стеариновую, – а также

неорганические конечные продукты, такие как водород, азот и вода. С помощью нитритных и нитратных бактерий, обитающих в почве, аммиак окислился до азотной кислоты, которая в виде солей, поглощаемых корневыми волосками растений, возвратилась в тот мир, откуда пришла. Один из конечных продуктов распада углеводов перешел в атмосферу в виде углекислого газа, чтобы в дальнейшем – хотя бы пассивным образом – принять участие в фотосинтезе. Так, тоненькими ручейками, мертвая материя возвращалась в более высокую сферу организации, аккуратно распределяемая между органической и неорганической формами бытия, а когда после продолжительного, но безнадежного сопротивления капитулировали соединительные ткани, хрящи и наконец даже кости, от бывшей твердыни не осталось совсем ничего – причем не был утерян ни один атом. Несмотря на то что не сыщется в мире бухгалтер, способный учесть несметные составляющие элементы, все сохранилось, хотя уникальное и неповторимое протеиновое царство безвозвратно исчезло – его смел бесконечный порыв хаоса, увлекающий за собой и кристаллы порядка, вобрало в себя безучастное и неостановимое сообщение между вещами, разложило на углерод, водород, азот и серу, растеребило на ниточки тонкие ткани; оно распалось, его поглотила незримая сила по приговору безумно далекой инстанции, как эту книгу – здесь, в этой точке, сейчас – поглотит последнее слово.

ЛАСЛО КРАСНАХОРКАИ

МЕЛАН

ХОЛМИЯ

СО

ПРОТИВ

ЛЕНИЯ

РОМАН

CoRpus

ОТ ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНОГО БУКЕРА —  
РОМАН, ПОСЛУЖИВШИЙ ОСНОВОЙ ЗНАМЕНИТОГО  
ФИЛЬМА БЕЛЫ ТАРРА “ГАРМОНИИ ВЕРКМЕЙСТЕРА”

18+



# Примечания

## 1

Синий кит (*датско-норв.*) – *Прим. перев.*

[Вернуться](#)

## 2

Надгробная речь (*лат.*)

[Вернуться](#)